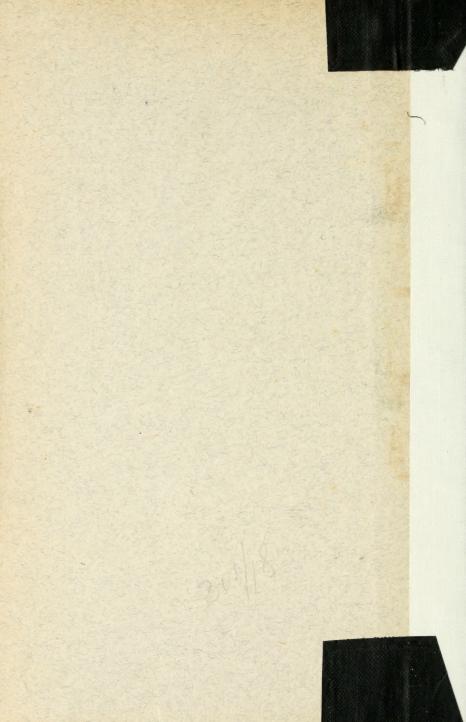
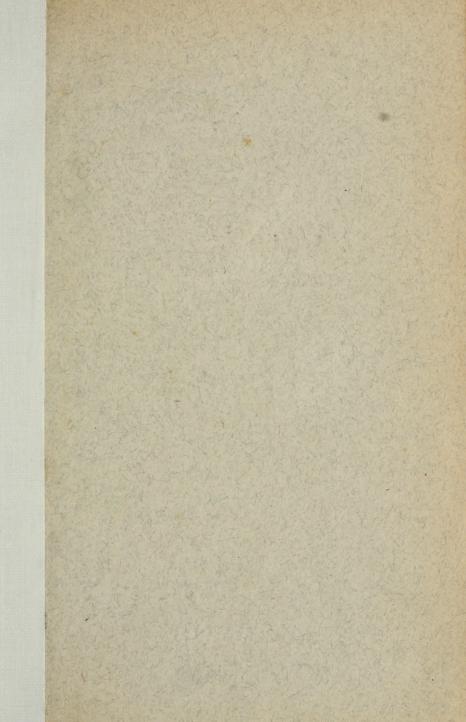
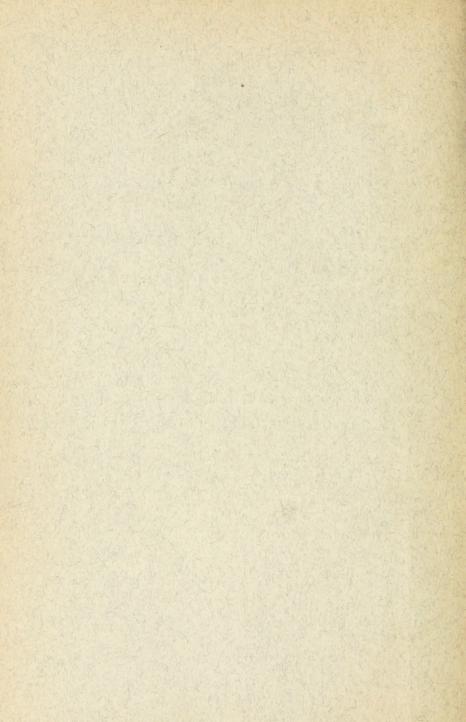
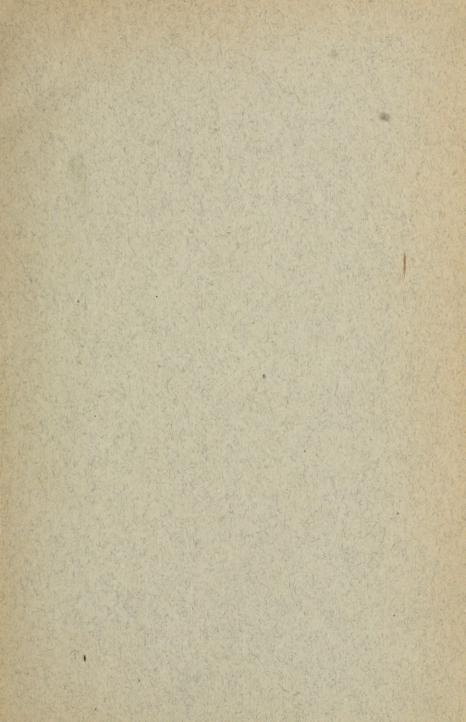


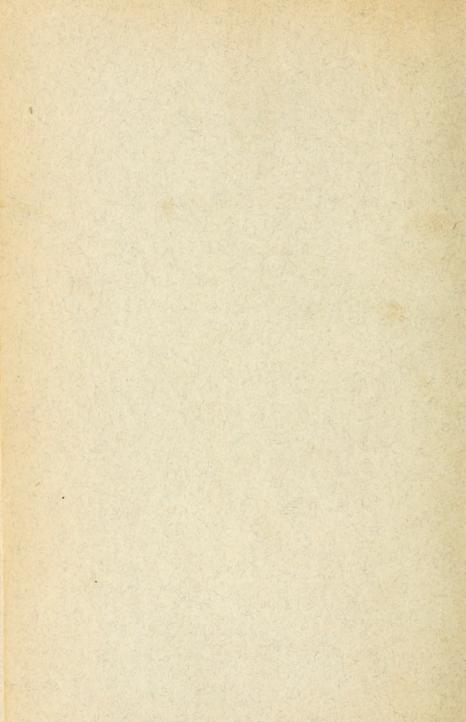
PG 3452 M45











# Л. Андреевъ.

томъ третій.

## МЕЛКІЕ РАЗСКАЗЫ.

Цѣна 1 рубль.

с.-петервургъ. 1906. LIBRARY

AUG 9 1966

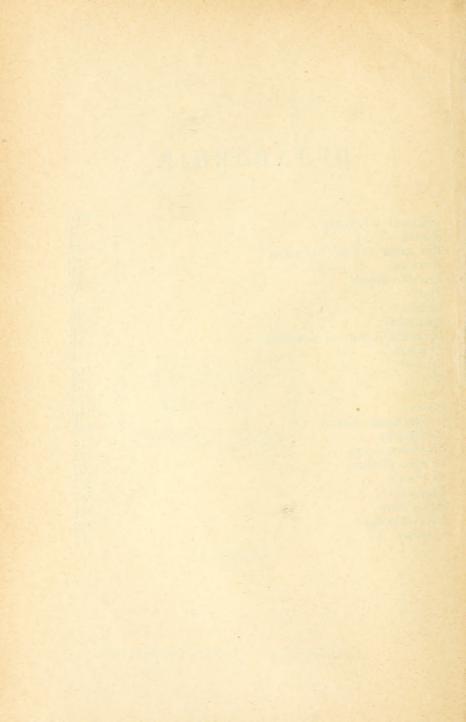
UNIVERSITY OF TORONTO

PG 3452 M45

1103611

### ОГЛАВЛЕНІЕ:

	CTP.
Баргамотъ и Гараська	. 1
Защита	. 14
Изъ жизни шткап. Каблукова	. 26
Молодежь	. 40
Первый гонораръ	. 56
Другъ	. 74
Мелькомъ	. 83
Праздникъ	. 94
Прекрасна жизнь для воскресшихъ	. 110
Гостинецъ.	. 115
Кусака	. 126
Книга	. 136
Весной	. 142
Городъ	. 156
Оригинальный человъкъ.	. 165
Иностранецъ	. 178
Предстояла кража	. 198
Весеннія объщанія	. 207
На станціи	
Марсельеза	. 237
Бенъ-Товитъ	. 241
Нътъ прощения	. 246
Xnucriane	271



#### BAPTAMOTT IN TAPACHKA.

(1898).

Было бы несправедливо сказать, что природа обидъла Ивана Акиндиныча Бергамотова, въ своей оффиціальной части именовавшагося "городовой бляха № 20", а въ неоффиціальной, попросту "Баргомотовъ". Обитатели одной изъ окраинъ губернскаго города Орла, въ свою очередь по отношенію къ місту жительства называвшіеся пушкарями (отъ названія Пушкарной улицы), а съ духовной стороны характеризовавшіеся прозвищемъ "пушкари--проломленныя головы", давая Ивану Акиндиновичу это имя, безъ сомнънія, не имъли въ виду свойствъ, присущихъ столь нѣжному и деликатному плоду, какъ бергамотъ. По своей внѣшности "Баргамотъ" скорве напоминалъ мастодонта, или вообще одно изъ тъхъ милыхъ, но погибшихъ созданій, которыя, за недостаткомъ помъщенія, давно уже покинули землю, заполненную мозгляками-людишками. Высокій, толстый, сильный, громогласный Баргамотъ составляль на полицейскомъ горизонтв видную фигуру, и давно, конечно, достигь бы извъстныхъ степеней, если бы душа его, сдавленная толстыми ствнами, не была погружена въ богатырскій сонъ. Внъшнія впе-

чатлънія, проходя въ душу Баргамота черезъ его маленькіе заплывшіе глазки, по дорогъ теряли всю свою остроту и силу и доходили до мъста назначенія лишь въ видъ слабыхъ отзвуковъ и отблесковъ. Человъкъ съ возвышенными требованіями назваль бы его кускомъ мяса, околоточные надзиратели величали его дубиной, хоть и исполнительной, для пушкарей же, наиболъе заинтересованныхъ въ этомъ вопросъ лицъ,онь быль степеннымъ, серьезнымъ и солиднымъ человъкомъ, достойнымъ всяческаго почета и уваженія. То, что зналь Баргамоть, онь зналь твердо. Пусть это была одна инструкція для городовыхъ, когда-то съ напряженіемъ всего громаднаго тела усвоенная имъ, но зато эта инструкція такъ глубоко засѣла въ его неповоротдивомъ мозгу, что вытравить ее оттуда нельзя было даже кръпкой водкой. Не менье прочную позицію занимали въ его душъ немногія истины, добытыя путемъ житейскаго опыта и безусловно господствовавшія надъ мъстностью. Чего не зналъ Баргамоть, о томъ онъ молчаль съ такой несокрушимой солидностью, что людямъ знающимъ становилось какъ-будто немного совъстно за свое знаніе. А самое главное, — Баргамоть обладаль непомърной силищей, сила же на Пушкарной улицъ была все. Населенная сапожниками, пень-котрепальщиками, кустарями-портными и иныхъ свободныхъ профессій представителями, обладая двумя кабаками, воскресеньями и понедъльниками, всъ свои часы досуга Пушкарная посвящала гомерической дракт, въ которой принимали непосредственное участіе жены, растрепанныя, простоволосыя, растаскивавшія мужей, и маленькіе ребятишки, съ восторгомъ взиравшіе на отвату тятекъ. Вся эта буйная волна пьяныхъ пушкарей, какъ о каменный оплоть, разбивалась о непоколебимаго Баргамота, забиравшаго методически въ свои мощныя длани

пару наиболѣе отчаянныхъ крикуновъ и самолично доставлявшаго ихъ «за клинъ». Крикуны покорно вручали свою судьбу въ руки Баргамота, протестуя лишь для порядка.

Таковъ былъ Баргамотъ въ области международныхъ отношеній. Въ сферъ внутренней политики онъ держался съ неменьшимъ достоинствомъ. Маленькая, покосившаяся хибарка, въ которой обиталь Баргамотъ съ женой и двумя дътишками, и которая съ трудомъ вмъщала его грузное толо, трясясь отъ дряхлости и страха за свое существованіе, когда Баргамоть ворочался, -- могла быть спокойна, если не за свои деревянные устои, то за устои семейнаго союза. Хозяйственный, рачительный, любившій въ свободные дни конаться вь огородь, Баргамоть быль строгь. Путемъ того же физическаго воздъйствія онь училь жену и дътей, не столько сообразуясь съ ихъ дъйствительными потребностями въ наукъ, сколько съ тъми неясными на этотъ счетъ указаніями, которыя существовали гдфто въ закоулкъ его большой головы. Это не мъщало жень его Марьь, еще моложавой и красивой женщинь, сь одной стороны, уважать мужа, какъ человъка степеннаго и непьющаго, а съ другой-вертъть имъ, при всей его грузности, съ такой легкостью и силой, на которую только и способны слабыя женщины.

Часу въ десятомъ теплаго весенняго вечера Баргамотъ стоялъ на своемъ обычномъ посту, на углу Пушкарной и 3-й Посадской улицы. Настроение Баргамота было скверное. Завтра Свътлое Христово Воскресение, сейчасъ люди пойдутъ въ церковъ, а ему стоять на дежурствъ до трехъ часовъ ночи, только къ розговинамъ домой попадешь. Потребности молиться Баргамотъ не ощущалъ, но праздничное, свътлое настроение, разлитое по необычно тихой и спокойной улицъ

коспулось и его. Ему не правилось мъсто, на которомъ онъ ежедневно спокойно стоялъ въ течение десятка годовъ: хотълось тоже дълать что-инбудь такое праздничное, что дълають другие. Въ видъ смутныхъ ощущений поднималось въ немъ недовольство и нетерпъние. Кромъ того, онъ былъ голоденъ. Жена нынче совсъмъ не дала ему объдать. Такъ, только тюри пришлось похлебать. Большой животъ настоятельно требовалъ инщи, а разговляться-то когда еще!

— Тьфу!—плюнулъ Баргамотъ, сдълавъ цыгарку, и началъ нехотя сосать ее. Дома у него были хорошія папиросы, презентованныя мъстнымъ лавочникомъ, но и онъ откладывались до «разговленья».

Вскоръ потянулись въ церковь и пушкари, чистые, благообразные, въ пиджакахъ и жилетахъ поверхъ красныхъ и спнихъ шерстяныхъ рубахъ, въ длинныхъ, съ безконечнымъ количествомъ сборокъ сапогахъ на высокихъ и острыхъ каблучкахъ. Завтра всему этому великолъпію предстояло частью попасть за стойку кабаковъ, а частью быть разорваннымъ въ дружеской схваткъ за гармонію, но сегодня пушкари сіяли. Каждый бережно несъ узелокъ съ пасхой и куличами. На Баргамота никто не обращалъ вниманія, да и онъ съ неособенной любовью посматриваль на своихъ «крестниковъ», смутно предчувствуя, сколько путешествій придется ему завтра совершить въ участокъ. Въ сущности, ему было завидно, что они свободны и идуть туда, гдъ будеть свътло, щумно и радостно, а онъ торчи тутъ, какъ неприкаянный.

«Стой тутъ изъ-за васъ пьяниць!» резюмировалъ онъ свои размышленія, и еще разъ плюнулъ,—сосало подъ ложечкой.

Улица опустъла. Отзвонили къ объднъ. Потомъ радостный переливчатый трезвонъ, такой веселый послъ

заунывных великопостных колоколовь, разнесь по міру благостную въсть о Воскресенін Христа. Баргамоть сняль шанку и перекрестился. Скоро и домой. Баргамоть повесельль, представляя себъ столь, накрытый чистой скатертью, куличи, яйца. Онь, не торопясь, со всъми похристосуется. Разбудять и принесуть Ванюшку, который первымь дъломь потребуеть крашенаго янчка, о которомъ цълую недълю вель обстоятельныя бесъды съ болье опытной сестренкой. Воть-то разинеть онь роть, когда отець преподнесеть ему не линючее окрашенное фуксиномь яйцо, а пастоящее мраморное, что самому ему презентоваль все тоть же обязательный лавочникъ!

"Потвшный мальчишка!" ухмыльнулся Баргамоть, чувствуя, какъ что-то въ родъ родительской ивжности поднимается со дна его души.

Но благодушіе Баргамота было нарушено самымъ подлымъ образомъ. За угломъ послышались неровные шаги и снилое бормотанье. «Кого это несетъ нелегкая?»—подумаль Баргамоть, заглянувь за уголь и всей душой оскорбился! Гараська! Самъ съ своей собственной пьяной особой, -его только недоставало! Гдъ онь поспъль до свъту наклюкаться, составляло его тайну, но что онъ наклюкался, было внъ всякаго сомнъпія. Его поведеніе, загадачное для всякаго посторонняго человъка, для Баргамота, изучившаго душу пушкаря вообще и подлую Гараськину натуру въ частности, было вполив ясно. Влекомый непреододимой силой, Гараська со средины улицы, по которой онъ имълъ обыкновение шествовать, быль притиснутъ къ забору. Упершись объими руками и сосредоточенио вопросительно вглядываясь въ ствпу, Гараська покачивался, собирал силы для повой борьбы съ неожиданными преиятствіями. Пость непродолжительнаго напряженнаго размышленія, Гараська энергично отпихнулся отъ стѣны, допятился задомъ до средины улицы и, сдълавъ рѣшительный поворотъ, крупными шагами устремился въ пространство, оказавшееся вовсе не такимъ безконечнымъ, какъ о пемъ говорятъ, и въ дѣйствительности ограниченное массой фонарей. Съ первымъ же изъ нихъ Гараська вступилъ въ самыя тѣсныя отношенія, заключивъ его въ дружескія и крѣпкія объятія.

- Фонарь. Тпру!—кратко констатироваль Гараська совершившійся факть.—Вопреки обыкновенію, Гараська быль настроень чрезвычайно добродушно. Вмѣсто того, чтобъ осыпать столбъ заслуженными ругательствами, Гараська обратился къ нему съ кроткими упреками носившими иѣсколько фамильярный оттѣнокъ.
- Стой, дурашка, куда ты?!—бормоталь онь, откачиваясь оть столба и снова всей грудью принадая къ нему и чуть не сплющивая носа объ его холодную и сыроватую поверхность. Воть, воть?...—Гараська, уже наполовину скользнувшій вдоль столба, успъль удержаться и погрузился въ задумчивость.

Баргамоть съ высоты своего роста, презрительно скоснвъ губы, смотрълъ на Гараську. Никто ему такъ не досаждалъ, на Пушкарной, какъ этотъ пьянчужка. Такъ носмотришь.—въ чемъ душа держится, а скандалистъ первый на всей окраинъ. Не человъкъ, а язва. Пушкарь напьется, побуянитъ, переночуетъ въ участкъ -и все это выходитъ у него по благородному, а Гараська все неподтишка, съ язвительностью. И билито его до полусмерти, и въ части впроголодь держали, а все не могли отучить отъ ругани, самой обидной и злоязычной. Станетъ полъ окнами какого-инбудь изъ наиболъе почетныхъ лиць на Пушкарной, и начиетъ костить, безъ всякой причины, здорово живешь. При-

казчики ловять Гараську и быоть, — толиа хохочеть, рекомендуя подлать жару. Самого Баргамота Гараська ругаль такь фантастически - реально, что тоть, не понимая даже всей соли Гараськиных остроть, чувствоваль, что онь обижень болье, чъмь если бы его выпороли.

Чѣмъ промышлялъ Гараська, оставалось для пушкарей одной изъ тайнъ, которыми было облечено все его существованіе. Трезвымъ его не видаль никто, даже та нянька, которая въ дѣтствѣ ушибаетъ ребятъ, послѣ чего отъ нихъ слышится спиртной запахъ, — отъ Гараськи и до ушиба несло сивухой. Жилъ, т.-е. кочевалъ, Гараська по огородамъ, по берегу, подъ кусточками. Зимой куда - то исчезалъ, съ первымъ дыханіемъ весны появлялся. Что его привлекало на Пушкарную, гдѣ его не билъ только лѣнивый, —было опятьтаки тайной бездонной Гараськиной души, но выжить его ничѣмъ не могли. Предполагали, и не безъ основанія, что Гараська поворовываетъ, но поймать его не могли и били лишь на основаніи косвенныхъ уликъ.

На этотъ разъ Гараськъ пришлось, видимо, преодолъть нелегкій путь. Отрепья, дълавшія видь, что они серьезно прикрывають его тощее тъло, были всъ въ грязи, еще не успъвшей засохнуть. Физіономія Гараськи, съ большимъ отвислымъ краснымъ носомъ, безспорно, служившимъ одной изъ причинъ его неустойчивости, покрытая жиденькой и неравномърно распредъленной растительностью, хранила на себъ вещественные знаки вещественныхъ отношеній къ алкоголю и кулаку ближияго. На щекъ у самаго глаза виднълась царапина, видимо, недавняго происхожденія.

Гараськъ удалось, наконецъ, разстаться съ столбомъ, когда онъ замътилъ величественно безмолвную фигуру Баргамота. Гараська обрадовался.

- Наше вамъ! Баргамоту Баргамотычу!—какъ ваше драгоцѣнное здоровье?—галантно онъ сдѣлалъ ручкой, но, пошатнувшись, на всякій случай уперся спиной въ столбъ.
  - Куда идешь?-мрачно прогудълъ Баргамотъ.
  - Наша дорога прямая...
- Воровать? А въ часть хочешь? Сейчасъ, подлеца, отправлю.
  - Не можете.

Гараська хотѣть сдѣлать жесть, выражающій удальство, но благоразумно удержался, плюнуль и пошаркаль на одномъ мѣстѣ погой, дѣлая видъ, что растираетъ плевокъ.

- А вотъ въ участкъ поговоришь? Маршъ! Мощная длань Баргамота устремилась къ засаленному вороту Гараськи, настолько засаленному и рваному, что Баргамотъ быль, очевидно, уже не первымъ руководителемъ Гараськи на териистомъ пути добродътели. Встряхнувъ слегка пьяницу и придавъ его тълу надлежащее направленіе и нѣкоторую устойчивость, Баргамотъ потащилъ его къ вышеуказанной имъ цѣли, совершенно уподобляясь могучему буксиру, влекущему за собой дегонькую шкупу, потериввшую аварію у самаго входа въ гавань. Онъ чувствоваль себя глубоко обиженнымъ: вмъсто заслуженнаго отдыха тащись съ этимъ пьянчужкой въ участокъ. Эхъ! У Баргамота чесались руки, но сознаніе того, что въ такой великій день какъ-будто неудобно пускать ихъ въ ходъ, сдерживало его. Гараська шагаль бодро, совибщая удивительнымъ образомъ самоувъренность и даже дерзость съ кротостью. У него, очевидно, была своя мысль, къ которой онъ и началъ подходить сократовскимъ методомъ:
- -- А скажи, госнодинь городовой, какой пынче у насъздель?

- Уже молчалъ бы!—презрительно отвътилъ Баргамотъ.—До свъту нализался.
  - А у Миханла Архангела звонили?
  - Звонили. Тебъ-то что?
  - Христосъ значитъ воскресъ?
  - Ну, воскресъ.
- Такъ позвольте...—Гараська, ведшій этотъ разговоръ въ пол—оборота къ Баргамоту, рѣшительно повернулся къ нему лицомъ. Баргамотъ, заинтригованный странными вопросами Гараськи, машинально выпустилъ изъ руки засаленный воротъ; Гараська, утративъ точку опоры, пошатнулся и упалъ, не успѣвъ показать Баргамоту предмета, только-что вынутаго имъ изъ кармана. Приподнявшись однимъ туловищемъ, опираясь на руки, Гараська посмотрълъ внизъ, потомъ упалълицомъ на землю и завылъ, какъ бабы воютъ по покойникъ.

Гараська воетъ! Баргамотъ изумился. Новую штуку, должно быть, выдумалъ—рфшилъ онъ, но все же заинтересовался, что будетъ дальше. Дальше Гараська продолжалъ выть безъ словъ по-собачьи.

- Что ты, очумѣлъ, что-ли? ткнулъ его ногой Баргамотъ. Воетъ. Баргамотъ въ раздумын.
  - Да чего тебя расхватываеть?
  - --- Яи-ч-ко...
  - Hy?

Гараська, продолжая выть, но уже потише, сфлъ и поднялъ руку кверху. Рука была покрыта какой-то слизью, къ которой пристали кусочки крашеной личной скорлупы. Баргамотъ, продолжая недоумъвать, начинаетъ чувствовать, что случилось что-то нехорошее.

— Я... но благородному... похристосоваться... янчко, а ты...—безсвязно бурлиль Гараська, но Баргамоть по-

нялъ. Вотъ къ чему, стало-быть, велъ Гараська: похристосоваться хотълъ, по христіанскому обычаю, янчкомъ, а онъ, Баргамотъ, его въ участокъ пожелалъ отправить. Можетъ, откуда онъ это япчко несъ, а теперь вонъ разбилъ его. И плачетъ. Баргамоту представилось, что мраморное янчко, которое онъ бережетъ для Ванюшки, разбилось, и какъэто ему, Баргамоту, было жалъ

- Экая оказія—моталь головой Баргамоть, глядя па валявшагося пьянчужку и чувствуя, что жалокь ему этоть человъкь, какъ брать родной, кровно своимъ же братомъ обиженный.
- Похристосоваться хотъль... Тоже душа живая,— бормоталь городовой, стараясь со всею неуклюжестью отлать себъ ясный отчеть въ положени дълъ и вътомъ сложномъ чувствъ стыда и жалости, которое все болъе угнетало его. А я тово... въ участокъ! Ишь ты!

Тяжело крякнувъ и стукнувъ своей "селедкой" по камню, Баргамотъ присълъ на корточки около Гараськи.

- Ну... смущенно гудълъ онъ. Можетъ, оно не разбилось?
- Да, не разбилось, ты и морду-то всю готовъ разбить. Иродъ!
  - А ты чего же?
- Чего? передразниль Гараська. Къ нему по благородному, а онъ въ... въ участокъ. Можетъ, япчкото у меня послъднее? Идолъ!

Баргамотъ пыхтълъ. Его нисколько не оскорбляли ругательства Гараськи: всъмъ своимъ нескладнымъ нутромъ опъ ощущалъ не то жалость, не то совъсть. Глъ-то, въ самыхъ отдаленныхъ нъдрахъ его дюжаго тъла, что-то назойливо сверлило и мучило.

— Да развъ васъ можно не бить? — спроситъ Баргамотъ не то себя, не то Гараську.

— Да ты, чучело огородное, пойми...

Гараська, видимо, входиль въ обычную колею. Въ его ивсколько прояснваемъ мозгу вырисовывалась цвлая перспектива самыхъ соблазнительныхъ ругательствъ и обидныхъ прозвищъ, когда сосредоченно сопвыт Баргамотъ голосомъ, не оставлявшимъ ни малъйшаго сомивнія въ твердости принятаго имъ рвшенія, заявиль:

- Пойдемъ ко мнъ разговляться.
- Такъ я къ тебъ, пузастому чорту, и пошелъ!
- Пойдемъ, говорю!

Изумленію Гараськи не было границъ. Совершенно пассивно позволивъ себя поднять, онъ шелъ, ведомый подъ руку Баргамотомъ, шель-и куда же? не въ участокъ, а въ домъ къ самому Баргамоту, чтобы тамъ еще... разговляться! Въ головъ Гараськи блеснула соблазнительная мысль, — навострить отъ Баргамота лыжи, по хоть голова его и прояснъла отъ необычности положенія, зато лыжи находились въ самомъ дурномъ состояніи, какъ бы поклявшись вічно ціпляться другь за друга и не давать другъ другу ходу. Да и Баргамотъ былъ такъ чуденъ, что Гараськъ, собственно говоря, и не хотълось уходить. Съ трудомъ ворочая языкомъ, прінскивая слова и путаясь, Баргамотъ то излагаль ему инструкцію для городовыхь, то снова возвращался къ основному вопросу о бить в и участкъ, разрѣшая въ его смыслѣ положительномъ, но въ то же время и отрицательномъ.

- Върно говорите, Иванъ Акиндинычъ, нельзя насъ не бить,—поддерживалъ Гараська, чувствуя даже какую-то неловкость: ужъ больно чуденъ Баргамотъ!
- Да ивтъ, не то я говорю...—мямлилъ Баргамотъ, еще менъе, очевидно, чтмъ Гараська понимавшій, что городитъ его суконный языкъ...

Пришли, наконецъ, домой,—и Гараська уже перестать изумляться. Марья сперва вытаращила глаза при видъ необычайной пары, — но по растерянному лицу мужа догадалась, что противоръчить не нужно, а по своему женскому мягкосердечію живо смекнула, что надо дълать.

Вотъ ошалѣвшій и притихшій Гараська сидитъ за убраннымъ столомъ. Ему такъ совѣстно, что хоть сквозь землю провадиться. Совѣстно своихъ отрепій, совѣстно своихъ грязныхъ рукъ, совѣстно всего себя, оборваннаго, пьянаго, сквернаго. Обжигаясь ѣстъ онъ дьявольски горячія, заплывшія жиромъ щи, проливаетъ на скатерть, и хотя хозяйка деликатно дѣлаетъ видъ, что не замѣчаетъ этого, конфузится и больше проливаетъ. Такъ невыносимо дрожатъ эти заскорузлые пальцы съ большими грязными ногтями, которые впервые замѣтилъ у себя Гараська.

- Иванъ Акиндинычъ, а что же ты Ваняткъ-то... сюрпризецъ?—спрашиваетъ Марья.
- Не надо, потомъ...—отвъчаеть торопливо Баргамотъ. Онъ тоже обжигается щами, дуетъ на ложку и солидио обтираетъ усы, но сквозь эту солидность сквозитъ то же изумленіе, что и у Гараськи.
- Кушайте, кушайте,—потчуетъ Марья.—Герасимъ... какъ звать васъ по батюшкъ?
  - Андреичъ.
  - Кушайте, Герасимъ Андреичъ.

Гараська старается проглотить, давится и, бросивъ дожку, падаеть головой на столь прямо на сальное иятно, только что имъ произведенное. Изъ груди его вырывается спова тоть жалобный и грубый вой, который такъ смутилъ Баргамота. Дътишки, уже перестациия было обращать внимание на гостя, бросають свои дожки и дискантомъ присоединяются къ его те

нору. Баргамотъ съ растерянною и жалкою миной смотритъ на жену.

- Ну, чего вы, Герасимъ Андреичъ! Перестаньте, успоканваетъ та безпокойнаго гостя.
- По отчеству... Какъ родился. никто по отчеству... не называлъ...

### BAWUTA.

Исторія одного дня. (1898)

По корридору суда прохаживался высокій, худощавый блондинь, одътый во фракъ. Звали его Андреемъ Навловичемъ Колосовымъ и онъ третій уже годъ состояль въ званіи помощника присяжнаго повъреннаго. Передъ каждымъ крупнымъ дѣломъ Андрей Павловичъ сильно волновался, но на этотъ разъ его дурное состояніе переходило границы обычнаго. Причинъ на то было много. Главнъйшей изъ нихъ были больные нервы. Послъдній годь они прямо-таки отказывались служить, и водяные души, принимаемые Колосовымъ, помогали очень мало. Нужно было бросить курить, но онъ не могъ ръщиться на это, такъ сильна была привычка. И теперь ему захотълось покурить, хотя во рту у него уже образовался тоть непріятный осадокъ, который такъ знакомъ всъмъ курящимъ запоемъ. Колосовъ отправился въ докторскую комнату, оказавшуюся свободной, легъ на клеенчатый диванъ и закурилъ. Охъ, какъ онъ усталъ! Цълую недълю не вылъзаетъ онъ изъ фрака. Да какое недълю! То у мировыхъ судей, то въ съъздъ, вчера цълый день до девяти часовъ вечера промаялся въ окружномъ судъ по пустъйшему гражданскому дѣлу. Товарищи завидують, что онь такъ много зарабатываеть, ставять примѣромъ неутомимости, а куда все это идетъ? Три тысячи рублей въ годъ, которыя онъ съ такимъ трудомъ выколачиваеть, плывутъ между пальцами. Жизнь все дорожаеть, дѣти требують на себя все больше и больше. Долги растутъ. Послѣ завтра срокъ за квартиру, нужно платить пятьдесятъ рублей, а у него въ наличности всего десять. Опять выворачиваться, значитъ. Жена...

При воспоминаніи о долгахъ и женъ Колосовъ поморщился и вздохнулъ.

- —Послушай, куда ты запропастился? Я тебя искаль, искаль!—влетъль въ комнату товарищъ Колосова по сегодняшней защитъ, Померанцевъ, тоже помощникъ присяжнаго повъреннаго, успъвшій пріобръсти репутацію талантливаго криминалиста. Красивый брюнетъ, подвижной, говорливый и жизнерадостный, но нъсколько шумный и надовдливый, Померанцевъ былъ ръдкимъ баловнемъ судьбы. Дома, въ богатой семьъ, его боготворили, счастье сопутствовало ему во всъхъ дълахъ—какъ по рельсамъ катился онъ къ славъ и деньгамъ.
- Намъ нужно условиться относительно защиты быстро говорилъ Померанцевъ.
- Отвяжись, Бога ради. Потомъ, отвътилъ вздрогнувшій Колосовъ.
  - Да какъ же потомъ?

Колосовъ устало махнулъ рукой, и Померанцевъ, передернувъ плечами, торопливо вышелъ.

Дъло, по которому выступали Колосовъ и Померанцевъ, было по фабулъ не сложно. На одной изъокраинъ Москвы, тамъ, гдъ кабакъ смъняетъ закусочную, чайную и снова смъняется кабакомъ, и гдъ

ютятся подонки столичнаго населенія, произошло убійство. Какой-то заъзжій молодець, по видимости приказчикъ или прасоль, кутилъ ночь въ сопровождени двухъ оборванцевт, и гулящей дъвки, Таньки — Бълоручки", показывалъ кошель съ деньгами, а на другое утро быль найдень на огородахъзадушеннымъ и ограбленнымъ. Черезъ недълю "Танька" и оборванцы были задержаны и сознались въ убійствъ. Колосовъ долженъ былъ защищать Таньку—Бфлоручку. Въ тюрьмъ, куда онъ отправился на свиданіе съ обвиняемой, его встрътило нъчто неожиданное. "Танька" или Таня, какъ онъ началъ называть ее, была молоденькая, хорошенькая дъвушка съ гладко-зачесанными русыми волосами, скромная и пугливая. Одиночное ли заключеніе смыло съ ея лица грязь позорнаго ремесла, или жестокія душевныя страданія одухотворили его, но ни въ чемъ не было видно того презръннаго и жалкаго созданія, о какихъ привыкъ слышать Андрей Павловичъ. Только голосъ, нъсколько охрипшій и грубый, говорилъ о ночахъ разврата и пьянства.

Послѣ перваго же свиданія Колосовъ поняль, что Танька ни душой, ни тѣломъ неповинна въ убійствѣ. Страхъ погубилъ ее. Страхъ существа, находящагося внизу общественной лѣстницы и придавленнаго всѣми, кто находится выше. Всякій былъ сильнѣе Тани и всякій обижалъ ее, былъ ли то ея любовникъ, драчливый и жестокій, или городовой, сіяющій всѣми своими значками и бляхами и однимъ своимъ юпитеровскимъ видомъ приводившій въ паническій ужасъ обладательницу желтаго билета. Изъ страстной и порывистой рѣчи Тани, когда ея глаза горѣли и худенькое тѣло вздрагивало отъ накопившейся ненависти къ гонителямъ, Колосовъ увидѣлъ, что Таня способна и на самозащиту. Такъ защищается заспанный звѣрекъ, запроки-

нувшійся на спину и яростно скалящій зубы на поднятую руку,—но въ самой этой напускной ярости болъе ужаса и смертельной тоски, чъмъ въ самомъ отчаянномъ воплъ. Со слезами и сомнъніемъ въ томъ, что кто-нибудь можетъ повърить ея словамъ, Таня разсказывала, какъ произошло убійство. Когда всъ они вышли изъ послъдняго кабака и проходили пустыремъ, Иванъ Горошкинъ, ея любовникъ, и Василій Хоботьевъ накинулись на незнакомца и стали душить его.

— Испугалась я, баринъ, до смерти. Закричала на иихъ: "что вы, душегубы, дълаете?" Ванька на меня только цыкнулъ, а тотъ ужъ хрипъть начинаетъ. Бросилась къ нимъ, а Ванька, злодъй, какъ ударитъ меня ногой по животу. Молчи, говоритъ, а то тебъ тоже будетъ. Пустилась я отъ нихъ бъжать по огородамъ, сама не знаю, какъ у Марфушки до постели довалилась... Платокъ, какъ бъжала, потеряла.

На другой день Таня упрекнула Ивана въ содъянномъ, но тотъ двумя ударами кулака убъдилъ ее въ непреложности совершившагося факта, а черезъ полтора часа Таня пъла пъсни, плакала и пила водку, купленную на награбленныя деньги.

Колосовъ еще раза два былъ у Тани, и послѣ каждаго посѣщенія предстоящая защита казалась ему все труднѣе. Ну, что онъ скажетъ на судѣ? Вѣдь надо разсказать все, что есть горькаго и несправедливаго на свѣтѣ, разсказать о вѣчной, неумолкающей борьбѣ за жизнь, о стонахъ побѣжденныхъ и побѣдителей, одной грудой валяющихся на кровавомъ полѣ... Но развѣ объ этихъ стонахъ можно разсказать тому, кто самъ ихъ не слышалъ и не слышитъ?

Вчера ночью (днемъ онъ былъ занятъ) Андрей Павловичъ готовился къ защитъ. Сперва работа не клеилась, но послъ нъсколькихъ стакановъ кръпкаго чаю

и десятка папиросъ разбросанныя мысли стали складываться въ систему. Все болъе возбуждаясь, взвинчивая себя удачными выраженіями, красивыми фразами, Колосовъ, наконецъ, составилъ горячую, убъдительную ръчь, прежде всъхъ убъдившую его самого. На минуту въ немъ исчезъ страхъ, который какъ бы передался ему отъ Тани, и онъ легъ спать увъренный въ себъ и побъдъ. Но безсонница сдълала свое дъло. Сегодня у него голова тяжела и пуста. Отдъльныя фразы изъ ръчи, которыя онъ набросалъ на бумагъ, кажутся искусственными и слишкомъ громкими. Вся надежда на то, что нервы приподнимутся и въ нужную минуту онъ овладъетъ собой.

Онъ сегодня уже видълся съ Таней и былъ непріятно пораженъ той одеревенълостью, которая сквозила въ ея голосъ.

- Смотрите же, Таня, вы передайте все такъ, какъ и мнъ говорили. Хорошо?
- Хорошо,—отвътила покорно Таня, но въ этой покорности звучалъ тотъ одному ему понятный страхъ, которымъ было проникнуто все ея существо.

Дъло началось.

Когда отворилась дверь, ведущая изъ корридора за ръметку, за которой помъщаются подсудимые, и они начали входить одинъ за другимъ, публика, наскучившая ожиданіемъ, всколыхнулась. Звякнули шпоры жандармовъ, блеснули ихъ обнаженные тесаки, и зрители поняли, что драма начинается. Пронесшійся по залу шорохъ и шопотъ показали, что происходить обмънъ впечатлъній. Ординарная наружность Ивана Горошкина и Хоботьева вызвала нелестныя замъчанія, зато Таня понравилась—настоящая героння драмы.

Послъ обычнаго допроса подсудимыхъ объ ихъ имени

и званіи Таня, на вопросъ предсъдателя объ ея занятін, отвътила:

— Проститутка.

И это слово, брошенное въ середину расфранченныхъ чистыхъ женщинъ, сытыхъ и довольныхъ мужчинъ, прозвучало, какъ похоронный колоколъ, какъ грозный упрекъ умершаго всъмъ живымъ. Но ничья не опустилась голова, ничьи не потупились глаза. Еще болъе жаднымъ любопытствомъ засвътились они—подсудимая такъ хорошо ведетъ свою роль!

Первымъ началъ объясненія Горошкинъ, представлявшій собою смуглаго, довольно красиваго мужчину съ самодовольными манерами признаннаго сутенера. Говорилъ онъ не торопясь, выбирая выраженія и имфя такой видъ, какъ будто онъ хорощо сознаетъ свое превосходство надъ окружающими и стъсняется особенно ярко обнаруживать его. По его словамъ выходило, что всв трое имъли одинаковую долю въ совершении убійства. Онъ держалъ неизвъстнаго за руки, Танька набросила ему петлю на шею, а Хоботьевъ душилъ. Хоботьевь, во всвхъ отношеніяхъ безличный субъекть, повториль ту же исторію, расходясь съ Горошкинымъ лишь въ неважныхъ подробностяхъ относительно дълежа денегъ. Спокойный передъ ожидающей его каторгой, онь не могъ примириться съ тѣмъ, что Ивану досталась львиная доля награбленнаго. Наступила очередь Тани.

Колосовъ со страхомъ ожидалъ ея словъ,—и послъ первыхъ звуковъ ломающагося голоса понялъ, что дъло плохо. Куда-то исчезли та искренность и простота, которыя такъ подкупали его и были, въ сущности, единственнымъ оружіемъ Тани. Путаясь въ пенужныхъ подробностяхъ и отступленіяхъ, оскорбляя слухъ вульгарностью и ръзкостью выраженій, Таня слишкомъ за-

мътно старалась оправдываться и сваливать вину на другихъ, и чъмъ больше старалась, тъмъ худшее производила впечатлъніе. "Лучше совсъмъ бы ужъ молчала!" со злобэй на Таню подумалъ Колосовъ, мучительно улавливая каждую невърную нотку. Онъ не глядълъ на присяжныхъ и публику, но всъмъ тъломъ чувствовалъ, какъ растутъ непріязнь и недовъріе.

— Если вы не виновны въ убійствъ, то почему же вы сознавались въ немъ въ полиціи и у слъдователя?— спросилъ предсъдатель.

Таня замялась и потомъ отвѣтила, что въ полиціи ее били. Въ этомъ отвѣтѣ чувствовалась прямая и "наглая" ложь. Да и дѣйствительно Таня ничего не говорила объ этомъ своему защитнику. Но чѣмъ инымъ, кромѣ битья, могла она объяснить всѣмъ этимъ важнымъ господамъ свой страхъ передъ приставомъ, который на нее только глазомъ повелъ, а ей Богъ знаетъ что почудилось! Развѣ этотъ баринъ съ золотыми пуговицами пойметъ, что можно бояться даже однихъ только свѣтлыхъ пуговицъ? На этотъ разъ не только баринъ, но и Колосовъ не понялъ Тани. Сжавъ со злостью зубы, онъ уткнулся въ пюпитръ, чтобы не видѣть недовѣрчивыхъ улыбокъ.

— А слъдователь васъ тоже билъ?—съ легкой ироніей продолжаль предсъдатель. Въ заднихъ рядахъ публики пронесся подленькій смъшокъ.

Таня молчала.

— А не судились ли вы за кражу портмонэ у пьяпаго? Мировой судья приговорилъ васъ къ двумъ мѣсяцамъ тюремнаго заключенія?

Таня молчала. Къ чему она будетъ говорить? Жаль только, что она разсердила Андрея Павловича, не сумъвши какъ слъдуетъ разсказать.

Начался безконечный допросъ свидетелей. Передъ

все болье туманившимися глазами Колосова проходили въжливые, многоръчивые и благообразные содержатели кабаковъ, заспанные и какъ будто чъмъ-нибудь оглушенные прислуживающіе. Они загромождали свою ръчь тысячью мелкихъ подробностей, и ихъ пельзя было заставить замолчать; изъ другихъ приходилось вытягивать каждое слово. Появился свидътель—симпатичный, чисто одътый мальчикъ, худенькій и застънчивый. Послъ нъсколькихъ ободрительныхъ словъ предсъдатель спросилъ, что дълали Бълоручка и другіе, когда заходили къ его бабушкъ въ хату.

— Калтошку чистили,—отвётиль мальчикь и, взглянувъ исподлобья на председателя, улыбнулся.

Улыбнулся судъ, улыбнулись присяжные, улыбнулась и тихо плакавшая Таня, и слезинки блеснули на ея глазахъ. Колосовъ замътилъ эту любовную улыбку матери, похоронившей своего ребенка, и подумаль: "Ради одной этой улыбки нужно оправдать ее". Часы шли за часами, и Андрей Павловичъ чувствовалъ себя все хуже и хуже. Передъ утомленными глазами его протягивались блестящія нити; слухъ съ трудомъ воспринималь звуки; смысль речей терялся для него, и разъ онъ вызвалъ уже замъчание предсъдателя по поводу вторично предложеннаго одного и того же вопроса. Апатія и скука затягивали его. Онъ пытался расшевелить себя, въ перерывахъ курилъ до головокруженія, выпиль рюмку коньяку, но минутное возбужденіе смінялось полнымъ упадкомъ энергін. "Боже, что со мной?"—приходила минутами мысль, и гдф-то ощущался страхъ, а по спинъ поднимался холодокъ. Померанцевъ, смълый, бойкій, настойчивый, велъ слъдствіе прекрасно: выматываль душу изъ свидътелей, вступаль въ ожесточенныя схватки съ предсъдателемъ и прокуроромъ и вызывалъ въ публикъ одобрительные отзывы. Ръчи начались только въ одиннадцатомъ часу вечера. Прокуроръ, пожилой сутуловатый человъкъ, съ умнымъ, но мало выразительнымъ лицомъ, тихой, спокойной и красивой рѣчью, былъ грозенъ и неумолимъ, какъ сама логика,—эта логика, лживѣе которой нѣтъ инчего на свѣтъ, когда ею мѣряютъ человѣческую дущу. Оставаясь на почвѣ фактовъ и только фактовъ, безъ трескучихъ фразъ и дѣланныхъ эффектовъ, прокуроръ петлю за петлей нанизывалъ на сѣть, опутавшую Таню. Безстрастно, энически начертавъ картину среды, въ которой жили преступники, онъ приступилъ къ описанію самаго злодѣянія.

Колосову, нервно перебиравшему холодными руками свои замѣтки, казалось, что съ каждымъ словомъ обвинителя въ залѣ тухнетъ лампочка и становится темнѣе. Онъ чувствовалъ сзади себя притихшую Таню; ея глаза расширяются при каждомъ словѣ, которое, какъ тяжелый молотъ, гвоздитъ ея голову. Впервые со всей ужасающей ясностью и подавляющей силой Колосовъ понялъ, какая безмѣрно тяжелая лежитъ на немъ отвѣтственность. Сердце замирало у него, руки тряслись, а грозный голосъ твердилъ: "ты убійца! ты убійца!... -Колосовъ боялся оглянуться назадъ: вдругъ онъ встрѣтитъ глаза Тани и прочтетъ въ нихъ мольбу о спасеніи и слѣпую вѣру въ него? Зачѣмъ онъ въ тюрьмѣ успокаивалъ ее и говорилъ о возможности оправданія?...

...Все болъе чериъеть грозная туча обвиненія, нависшая надъ головой Тани. Съ тъмъ же жестокимъ спокойствіемъ прокуроръ говорить о позорномъ прошломъ "Таньки-Бълоручки", запятнавшей свои бълыя ручки въ неповинной крови. Вспоминаеть о кражъ, добавляя, что, быть можеть, она была уже не первой...

Въ притихшемъ залъ не хватаетъ воздуха. Колосовъ

вадыхается. Онъ закрываеть глаза и, какъ преступникъ передъ казнью, видить въ глубокой дали солице, зеленые дуга, голубое чистое небо. Какътихо и спокойно сейчасъ у него дома! Дъти спять въ своихъ кроваткахъ. Хорошо бы пойти къ нимъ. Стать на колъна и припасть головой, ища защиты, къ ихъ чистенькому тыльцу. Бъжать отъ этого ужаса! Бъжать!... Бъжать? Но въдь у нея тоже былъ ребенокъ? Только въ одномъ крикъ, продолжительномъ, отчаянномъ, дикомъ, могъ выразить Колосовъ свое чувство. О, если бы у него быль языкь боговь! Какая громовая, безумная рвчь пронеслась бы надъ этой толной! Растворились бы жестокія сердца, рыданія огласили бы заль, свѣчи потухли бы отъ ужаса, и сами ствны содрогнулись бы отъ жалости и горя! Какъ тяжело быть человъкомъ, только челов комъ!...

Прокуроръ кончилъ свою ръчь. Послъ минутнаго перерыва, наполненнаго кашлемъ, сморканіемъ и шумомъ передвигаемыхъ ногъ, началъ говорить Померанцевъ. Его плавная, красивая ръчь льется, какъ ручеекъ. Здоровый, мягко вибрирующій голосъ какъ бы разсвеваеть тьму. Воть послышался легкій смыхь — Померанцевъ вскользь бросиль остроту по адресу прокурора. Колосовъ смотритъ на полное, красивое лицо товарища, слъдитъ за его округленными жестами и вздыхаеть: "Хорошо тебъ; не знаешь ты горя и не понимаешь его!.." Когда, наконецъ, Колосовъ началъ говорить, онъ не узналъ своего голоса: глухой, надтреснутый, непріятный ему самому. Присяжные, сперва насторожившіеся, посл'в первыхъ фразъ начали двигаться, смотръть на часы, позъвывать. Фразы дъланныя, неестественныя идуть одна за другой, наводя скуку на утомленныхъ судей. Шаблонное, опротивъвшее повтореніе сотенъ ръчей, слышанныхъ ими. Предсъдатель перестаеть слъдить за ръчью и о чемъ-то перешептывается съ членомъ суда. "Хоть бы кончить поскоръе!"—думаетъ Колосовъ.

Присяжные засъдатели отправились въ совъщательную комнату. Какъ мучительно тянутся эти полчаса! Колосовъ старается избъгать товарищей и разговоровъ, по одинъ, молодой, веселый, толстый и не понимающій, что можно говорить и чего нельзя, настигаеть его:

— Что это вы, батенька, такъ плохо нынче? А мы нарочно пришли васъ послушать.

Колосовъ любезно улыбается, бормочетъ что-то, но тотъ, увидъвъ Померанцева, устремляется къ нему, издалека крича:

— Здорово, Сергъй Васильевичъ! Здорово!

Воть и звонокъ. Болтавшая, гулявшая и курившая публика толной валить въ залъ, толкаясь въ дверяхъ. Изъ совъщательной комнаты выходять гуськомъ присяжные засъдатели и залъ замираетъ въ ожидании. Рты полураскрыты, глаза съ жаднымъ любопытствомъ устремлены на бумагу, которую спокойно беретъ предсълатель отъ старшины присяжныхъ, равнодушно прочитываетъ и подписываетъ. Колосовъ стоптъ въ дверяхъ и смотритъ, не отрываясь, на блъдный профиль Тани.

Старшина читаетъ, съ трудомъ разбирая печеткій почеркъ:

— Виновна ли крестьянка московской губерніи, бронницкаго убяда, Татьяна Никанорова Палашова, двадцати одного года, въ томъ, что въ ночь съ 8 на 9 декабря... съ цълью воспользоваться имуществомъ... въ сообществъ съ другими лицами... удушила...

#### — Да, виновна.

Показалось ли это Колосову, или Таня дъйствительно покачнулась? Или покачнулся онъ самъ?

Нужно ждать еще полчаса, пока судъ вынесеть

приговоръ. Андрей Навловичъ не въ состояніи оставаться среди этой оживленной толпы и уходить въ дальніе, пустынные и слабо освъщенные корридоры. Медленно ходитъ онъ взадъ и впередъ, и шаги его гулко раздаются подъ сводами. Вотъ со стороны зала слышится топотъ ногъ, шумъ, голоса—все кончилось. Колосовъ посиъщно идетъ въ разръзъ толиъ, слышитъ громкіе, какъ бы ликующіе возгласы "десять лътъ каторги"... и останавливается у дверей, изъ которыхъ выходятъ преступники. Когда Таня проходитъ мимо него, онъ беретъ ея безжизненно опущенную руку, наклоняется и говоритъ:

#### — Таня! Прости меня!

Таня поднимаеть на него тусклые безъ выраженія глаза и молча проходить дальше.

Колосовъ и Померанцевъ живутъ по сосъдству и поэтому вхали домой на одномъ извозчикъ. Дорогой Померанцевъ очень много говорилъ о сегодняшнемъ дълъ, жалълъ Таню и радовался снисхожденію, которое дано Хоботьеву. Колосовъ отвъчалъ односложно и неохотно. Дома Колосовъ, не торопясь, раздълся, спросилъ, спитъ ли жена, и, проходя мимо дътской, машинально взялся за ручку двери, чтобы, по обыкновенію, зайти поцъловать дътей, пораздумалъ и прошелъ прямо къ себъ въ спальню.

#### изъ жизни шт.-кап. каблукова.

(1898)

Черезъ запушенныя инеемъ и покрытыя алмазными елками стекла оконъ проникали утренніе дучи зимняго солнца и наполняли холоднымъ, но радостнымъ свътомъ двѣ большія, высокія и голыя комнаты, составлявшія вмѣстѣ съ кухней жилище штабсъ-капитана Николая Ивановича Каблукова и его денщика Кукушкина. Видимо, за ночь морозъ окрѣпчалъ, потому что на подоконникахъ у угловъ рамъ образовались ледяные наросты, и при дыханіи поднимался паръ въ холодномъ воздухѣ, за ночь очистившимся отъ запаха табаку.

— Кукушкинъ,—смълымъ баритономъ крикнулъ Николай Ивановичъ, прихлебывая изъ стакана горячій, кръпкій чай. Стаканъ былъ вставленъ въ серебряный, почернъвній въ узорахъ подстаканникъ, вмъстъ съ серебряной ложечкой, составлявшій весь ассортименть имъвшихся у капитана драгоцънныхъ вещей.—Кукушкинъ!

Слегка зацъппвинсь въ дверяхъ, вошелъ ленщикъ, за несообразность, по выраженію фельдфебеля, уволенный отъ строевой службы. Маленькая голова его съ большими лопастыми ушами уныло торчала на длин-

номъ и худомъ туловищѣ, охотно принимавшемъ всякое положеніе, кромѣ требуемаго.

- Экій ты, братецъ, михрютка,—кротко упрекнулъ капитанъ.—Нужно итти сразу, когда зовутъ.
- Такъ точно,—угрюмо пробурчалъ Кукушкинъ и скосилъ глаза.
- Экій ты дуракъ, братецъ. II чего ты морду-то воротишь? Пьянъ былъ?
  - Намъ не на что пить.

Не желая портить настроенія, Николай Ивановичь молча пожаль плечами и велёль подать водки и закуски и затопить печку.

- Это что?—показаль капитань глазами на чайную чашку съ пестрымъ рисункомъ, очевидно, собственность Кукушкина, которую онъ подаль вмъстъ съ графиномъ водки и сардинами.—Рюмка?—капитанъ повелъ глазами на землю.
  - Такъ точно.
  - · Ну, и дуракъ. Возьми у хозяйки.

Пока денщикъ, сидя на корточкахъ, возился у печки и, обжигаясь, подтапливалъ березовой корой сырыя, на концахъ покрытыя снъгомъ, дрова, Николай Ивановичъ всесторонне обдумалъ свои планы на завтрашній вечеръ. Наступающій праздникъ требовалъ отъ него чего-нибуть праздничнаго, и завтра, въ сочельникъ, капитанъ ръшилъ устроить у себя пирушку, по количеству напитковъ, очевидно, не предназначенную для женскаго пола. Да женскій полъ давно уже и не входилъ въ расчеты капитана, такъ какъ полковыхъ дамъ, съ которыми ему приходилось ръзаться въ стуколку, онъ за женщинъ не считалъ, а съ другими сталкиваться не приходилось. Капитанъ составилъ реестрикъ винъ и закусокъ и съ нъкоторымъ чувствомъ неудовольствія передалъ его денщику, который вмъ-

сто ожидаемаго одобренія отвічаль, какъ попугай: "такъ точно" и "слушаю", но чъмъ болъе онъ "слущалъ", тъмъ разсъяннъе и мрачнъе становилось выраженіе его глазь; капитань сказаль бы, что въ нихъ просвъчиваеть даже пронія, если бы не зналь доподлинно, что Кукушкинъ глупъ и къ проніи неспособенъ. Покунки было рублей на десять, но у капитана имълась только двадцати-пяти-рублевая бумажка, которую онъ и передалъ денщику. Не теряя все еще надежды оживить Кукушкина и вызвать въ немъ болъе активное отношение къ дъйствительности, Николай Ивановичь поднесь ему чашку водки, мотивируя свое предложение ссылкой на моровъ. Кукушкинъ, перекрестившись, выниль водку, но не крякнуль и не сплюнуль и не поблагодарилъ, какъ то слъдовало по его установившимся привычкамъ, но лишь обтеръ губы съ такимъ ожесточеніемъ, какъ будто ему хотьлось уничтожить всякій слъдъ своей покорной уступчивости. Черезъ нъсколько минутъ съ силой хлопнула кухонная дверь.

— Что это за муха его укусила?—подумалъ капитанъ.—Былъ малый, какъ малый, а теперь прямо ощальный какой-то, третьяго дня сгрубилъ. Хозяйка жалуется. Ну, да чортъ съ нимъ. Буду лучше думать о томъ, какъ хорошо и весело пройдетъ завтра вечеръ.

Выпивъ еще двъ рюмки водки, погулявъ по комнатъ, заглянувъ въ замерзшее окно, съ подоконниковъ котораго уже начала стекать вода, Николай Ивановичъ взялъ маленькій ящикъ и присълъ на немъ у бурчавшей и шипъвшей печки. Въ открытую дырку на него нахнуло жаромъ. Шипъніе стихло, и желтые языки иламени, лъниво нагибаясь, облизывали обуглившіяся польнья.

Прошло двадцать лътъ съ тъхъ поръ, какъ Николай Ивановичъ такимъ же образомъ, на ящикъ, сидълъ у печки. Тогда онъ только еще попаль въ этоть мерзкій городишко и въ эту несчастливую дивизію, гдъ офицеры такъ живучи и движеніе впередъ такъ медленио. Тогда у него не было лысины и этого краснаго обрюзглаго лица. Другимъ языкомъ говорилъ тогда этотъ огонь, такимъ пріятнымъ жаромъ обдающій лицо. Тотъ языкъ былъ менѣе понятенъ, чѣмъ настоящій; глупый и смѣшной то былъ языкъ. Онъ говорилъ объ академіи, куда поѣдетъ учиться Николай Ивановичъ; онъ тихо и загадочно шепталъ о какой-то красивой и хорошей дѣвушкѣ, которая его полюбитъ; онъ рисовалъ живыя картины веселаго шумнаго бала, на которомъ стройный офицеръ съ затянутой таліей ловко отбиваетъ тактъ мазурки и ведетъ остроумную и интересную бесѣду. Танцы... Какая смѣшная вещь танцы!

Николай Ивановичь оглядёль свой округлившійся животь и, вообразивь себя танцующимь и бесёдующимь съ барышней, улыбнулся.

— А развъ теперь не хорошо? Ей-Богу хорошо!—
возразиль кому-то капитань и въ доказательство, что
ему хорошо, выпиль еще рюмку водки, но къ печкъ
присаживаться не сталь. Ходить по комнатъ оказалось
разумнъе. Мысли пришли обычныя, спокойныя, лънивыя—о томъ, что жидъ Абрамка поручику Ильину
лакированные сапоги испортиль; о томъ, сколько онъ
будетъ получать денегъ, когда будетъ ротнымъ командиромъ, и что казначей хорошій человъкъ, даромъ
что полякъ.

Послъдніе годы Николаю Ивановичу усиленно приходилось доказывать, что ему живется хорошо, такъ, какъ и нужно жить. Но доказательства принимались туго, пока капитанъ не обзавелся могучимъ союзникомъ—графиномъ. Когда съ утра онъ выпивалъ двътри рюмки водки, все становилось яснымъ, понятнымъ

и простымъ. Не поражала своимъ убожествомъ грязная, пустая комната; не замъчалось и того, что самъ онъ сталъ нечистоплотенъ и лѣнивъ: по недълямъ не мъняетъ бълья, лънится чистить ногти, а когда и замъчалось, то туть же опровергалось резоннымъ соображеніемъ: "въдь мнъ за барышнями не ухаживать?" Легче было и дъло дълать спустя рукава; не такъ обидно казалось и то, что онъ въ иятьдесять латъ штабсъ-капитанъ, тогда какъ иные товарищи его по выпуску уже полковники, а то и генералы. Переставало грызть безплодное сожальное о томъ, что онъ четверть въка убилъ на безсмысленную шагистику, въ мелкой погонт за завтрашнимъ днемъ, растерялъ по дорогъ по частямъ свою душу. Легкій, пріятный тумант волновался передъ Николаемъ Ивановичемъ, застилая отъ глазъ все, что не есть четвертая рота хоронскаго резервнаго батальона съ ея жидомъ Абрамкой, преферансомъ но маленькой, приказами но полку и другими злободневными интересами.

Но было раза два въ году, что союзникъ капитана обращался въ его зтъйшаго врага. Съ мучительной яркостью и болью передънимъ вставало сознаніе ужасной безсмысленности его жизни,—и тогда Николай Ивановичъ пилъ запоемъ по двъ недѣли, въ одномъ бѣльѣ просиживая дома съ одувшейся багровой физіономіей. Съ пьяными слезами онъ жаловался товарищамъ, что его загубили, а когда товарищи покидали оличавшаго, полубезумнаго отъ алкогольнаго яда человѣка, онъ ставилъ въ притолокѣ денщика и, съ послѣдними попытками сохранить свое достоинство, суровымъ голосомъ разсказывалъ ему, что онъ, капитанъ, человѣкъ хорошій, только не понятый. Гогда и денщикъ уходилъ отъ сумасшедшаго "его благородія", его благородіе, положивъ голову на столъ, шлакалъ и

одинъ, не зная, о чемъ онъ плачеть, но тъмъ горше, тъмъ искреннъе и больнъе. По минованіи запоя, капитанъ, совъстившійся вспомнить и говорить о немъ, не могъ все же отдълаться отъ ряда смутныхъ, тяжелыхъ воспоминаній. Однимъ изъ нихъ, наименте тяжелымъ, было воспоминание о томъ, что Кукушкинъ въ чемъ-то помогаль и сочувствоваль капитану. Быль ли онъ кръпче на ногахъ другихъ денщиковъ и долъе въ состоянін быль впитывать въ себя капитанскія изліянія (летъвшія на него иногда со стаканомъ или другою вещью, подвернувшейся Николаю Ивановичу подъ руку), или въ чемъ-нибудь иномъ проявлялъ свое заботливое къ нему отношение, капитанъ въ точности уяснить себъ не могъ, по чувствовалъ къ Кукушкину благодарность. Ради нея онъ до сихъ поръ не прогонялъ Кукушкина и мирился съ его оффиціально признанной глупостью и совершенно отрицательнымъ значеніемъ въ капитанскомъ хозяйствъ; чего Кукушкинъ не могъ разбить, то онъ портилъ другимъ, болъе или менъе остроумнымъ способомъ. Капитанскія приказанія онъ толковаль такъ превратно, что даже другіе денщики смъялись.

Вынивъ еще рюмочку, Николай Ивановичъ отправился пройтись по знакомымъ, передавъ ключъ и заботы о квартирѣ хозяйкѣ, жившей черезъ сѣни. Вернулся капитанъ поздно вечеромъ, но Кукушкина еще не было. Прошла ночь, а за нею слѣдующій день—Кукушкина все не было.

Заложивъ капитанскій реестрикъ за общлагъ рукава, Кукушкинъ вышелъ и, охваченный крѣпкимъ морознымъ воздухомъ, невольно ускорилъ свой гусиный шагъ, за который удалили его изъ роты. На морозъ особенно почувствовалась теплота выпитой водки, но это не улучшило его настроенія. Пославъ значительное количество чертей толкнувшей его бабъ, въ свою очередь, съ нѣкоторымъ уваженіемъ, сообщившей ему, что она такого длиннаго дьявола еще не видала, Кукушкинъ демонстративно прошелъ передъ самымъ носомъ разогнавшейся извозчичьей клячи, на укоризненное замъчаніе возницы бросивъ ему въ слѣдъ:

— Эка носять туть вась черти, гужевдовь!

Все дальнъйшее, встръчавшееся Кукушкину на пути, вызывало въ немъ протестъ и ѣдкія замъчанія. Чъмъ благообразнъе, сытнъе и по праздничному радостно-озабочениъе была встръчавшаяся физіономія, тъмъ съ большею ненавистью смотрълъ онъ на нее. "Разлопался жирный песъ", привътствовалъ онъ мысленно купца, сидъвшаго въ широкихъ саняхъ и принимавшаго отъ мальчика кульки и кулечки. "Мало еще: ишь чрево-то разъълъ". Соображеніе о томъ, что капитанъ послалъ его на другой край города, какъ будто тутъ не было хорошихъ магазиновъ, повергло Кукушкина въ состояніе полнаго человъко-пенавистничества. "Съ жиру-то бъсится"— "у Мотыкина селедокъ купи, слышишь?" передразнилъ онъ капитана и съ отвращеніемъ плюнулъ.

- А вотъ ежели я въ кабакъ зайду? спросилъ Кукушкинъ кого-то, не дававшаго ему покоя и, презрительно ткнувъ ногой захватанную дверь трактирнаго заведенія, скрылся за нею.
- Вотъ и зашелъ, и выпилъ!—торжествующе подтвердилъ онъ, выходя изътрактира и выпустивъ струю вонючаго воздуха. Какъ бы вызывая на бой весь міръ, Кукушкинъ гордо оглядълся и, увидъвъ офицера, моментально вытянулся и отдалъ ему честь.

Съ крутой горы Кукушкину надо было спуститься

на мость. По ту сторону рѣки, за рядомъ дымовыхъ трубъ города, выпускавшихъ густые бѣлые и прямые столбы дыма, виднѣлось далекое бѣлое поле, сверкавшее на солнцѣ. Несмотря на даль, видна была дорога и на ней длинный, неподвижный обозъ. Направо синеватой дымкой поднимался лѣсъ. При видѣ чистаго снѣжнаго поля, бурный и горькій протестъ съ новой силой прилилъ къ безпокойной головѣ Кукушкина. "А ты тутъ сиди!"—со злобой, не то съ отчаяніемъ подумалъ онъ.

Недвли три тому назадъ Кукушкинъ встрвтился на базаръ съ однимъ землякомъ, который, разсказавъ всь новости деревни Собакиной, погрузиль его въ заколдованный міръ деревенскихъ интересовъ-заколдованный, потому что и родился, и жилъ Кукушкинъ, и взять быль изъ деревни-все по щучьему вельнью. Интересы эти были денщикомъ слегка призабыты, но даже легкое напоминание о нихъ заставило ходуномъ ходить мужицкую кровь, звавшую Кукушкина къ тяжелому мускульному труду-къ землъ и сохъ. Разсказалъ ему землякъ и о томъ, что у него, Кукушкина, родилась дочка, но что молодайка больна и ребенка кормять соской. Далве оказалось, что отецъ Кукушкина безъ работника, съ однимъ братомъ Иваномъ не можетъ сладить съ хозяйствомъ и совсемъ ослабель; хлеба педохвать и къ Рождеству придется занимать у Ильи Иваныча, ежели Илья Иванычъ дастъ. "И слезно просять любезнаго сына Петрушу прислать денегь, потому смерть приходитъ". Кукушкинъ послалъ съ землякомъ цълковый, но впалъ въ отчаяніе. Передъ взбудораженнымъ воображеніемъ его носилась яркая картина горькой домашней нужды и чёмъ ближе было къ празднику, темъ ярче и нуднъе становилась она. Непривычный къ разсужденіямь мозгь денщика тяжело шевелился, сосредоточивая всѣ свои силы на уразумѣніи факта, заключавшагося въ простомъ сопоставленіи: "дома безъ рукъ и безъ хлѣба сидять, а я у Мотыкина селедокъ голландскихъ покупаю".

И теперь Кукушкинъ созерцаль во всей наготъ этотъ фактъ и, не умъя разсуждать, отплевывался и всъмъ своимъ существомъ безплодно протестовалъ—къ собственному удивленію и даже къ нъкоторому огорченію, потому что это состояніе казалось ему непріятнымъ и напущеннымъ на него извить, со стороны. Въ первое время онъ помышляль о бъгствъ, но бъгство было такъ глупо, что Кукушкинъ цълыхъ два дня послъ своихъ помысловъ съ особенной проніей относился къ капитану и до срока потребовалъ у своего коллеги денщика Тютькина уплаты занятаго двугривеннаго, а когда тотъ, по соображеніямъ формальнаго свойства, не отдалъ, обругалъ его деревенщиной и подлецомъ.

Кукушкинъ подходилъ къ магазину, когда вмѣстѣ съ воспоминаніемъ о деньгахъ что-то извнутри съ силой толкнуло его, и самъ собою, какъ дергачъ изъ травы, выскочилъ вопросъ:

### — А ежели я украду?

"Съ нами крестиая сила!"—испугался Кукушкинъ и перекрестился. "Во всемъ роду воровъ не было, а я украду. Да расказнить его мало за это. И что человъкъ придумаеть"—неискренно улыбнулся Кукушкинъ и ускорилъ шаги. Но четвертная бумажка шевелилась въ карманъ, а извнутри что-то толкало, толкало—и вытолкнуло отвътъ!

#### — Скажу, что потерялъ.

"Съ нами крестная сила!" еще разъ воскликнулъ Кукушкинъ и съ испугомъ бросился въ первыя попавпіяся двери. То были двери трактирнаго заведенія. Разгиванный и обезпокоенный Николай Ивановичь оповъстиль собиравшихся къ нему офицеровъ, что денщикъ его съ деньгами пропаль и, вернувшись домой, нашелъ пропавшаго денщика въ кухиъ. Кукушкинъ сидълъ на лавкъ и, покачиваясь и клюя носомъ, усердно ваксилъ капитанскій сапогъ.

- Ты гдф это, мерзавецъ, пропадалъ? Пьянъ?
- Ни-к-какъ нътъ, вашбродь.
- Какъ стелька... Да какъ же это ты смълъ напиться? а?
  - На свои пилъ, не на ваши.
  - Что? Грубіянить? А покупка гдѣ, а деньги гдѣ?
  - Потерялъ. Вотъ какъ передъ Истиннымъ...

Капитанъ всплеснулъ руками и безмолвно устремилъ на денщика свои заплывшіе глазки. Если капитанъ въ этотъ моментъ напоминалъ собою Наполеона, то Кукушкинъ былъ Оксаномъ, безтрепетно сносившимъ взглядъ владыки міра. Осоловълые глаза денщика съ кроткимъ спокойствіемъ безвинно обиженнаго человъка были устремлены на Николая Ивановича.

- Укралъ? Говори!
- Что-жъ, судите. Можетъ, и укралъ. Человъка всегда обидъть можно.—Кукушкинъ заплакалъ.

Капитанъ, чувствуя, что гнѣвъ душитъ его, сквозь зубы прошипѣлъ:

- Спать ложись, скотина. З-завтра въ полкъ.
- Воля ваша, но только я занапрасно гибну.
- М-молчать! Молчать, я говорю!

Топнувъ ногою, капитанъ вышелъ изъ кухни, а Кукушкинъ попытался снова приняться за сапогъ, но, не принявъ въ расчетъ силы инерціи, послѣдовалъ за движеніемъ щетки и повалился на лавку.

Гнѣвъ капитана достигъ высшаго напряженія и, вылившись въ безсвязныхь восклицаніяхъ, вскорѣ уто-

пуль въ нѣсколькихъ рюмкахъ водки и смѣнился чув ствомъ жестокой обиды. "Праздника" — и того не дадуть, какъ слѣдуетъ встрѣтить", —сокрушался капитанъ, пробѣгая взглядомъ по свѣтлой картинѣ несостоявшагося веселья. "Какъ было бы все это хорошо." Взглядъ капитана пристально остановился на картинѣ несостоявшагося веселья, и она какъ будто потускнѣла. "Но я докажу, что было бы хорошо!" воскликнулъ капитанъ и началъ доказыватъ. Но странное дѣло: чѣмъ усиленнѣе капитанъ доказывалъ, чѣмъ чаще вливалъ онъ въ себя аргументъ изъ графина, тѣмъ сомнительнѣе становилась истина.

"Запой!"-съ ужасомъ подумалъ Николай Ивановичъ, но сейчасъ же ужасъ этотъ смѣнился радостью, радостью человъка, который бросается въ пропасть, чтобы избавиться отъ головокруженія. Какъ бы порвавъ сковывавшія ихъ цёпи, передъ капитаномъ понеслись образы, мрачные, тяжелые и томительно грустные. Образъ милой девушки, долженствовавшей составить счастье капитана, всплыль передъ нимъ чистый, плънительный. "Голубушка!" — съ нѣжностью сложилъ толстыя губы Николай Ивановичь. А за нимъ поплыли, поилыли другіе. Капитанъ сидълъ на берегу этой ръки, уносившей въ бездну его надежды и мечты о человъческомъ счастьъ, и все грустиве и жалче становилось ему себя. Водка убывала въ графинъ, претворяясь въ чувства, которыя ей ръдко суждено будить въ душт человъческой: чувства жалости, любви и раскаянія. Никому онъ, капитанъ, не нуженъ: ничья не просвътлъеть душа при видъ его расилывшейся пьяной и грязной физіономіи. Не обовьются вокругъ его толстой, апоплексической шен мягкія дітскія ручки, не прижмется ижжная щека къ его колючему подбородку. У другихъ хоть собака есть, которую они

любять и которая любить ихъ. По странному сцёпленію мыслей капитану вспомиился Кукушкинъ. За что Кукушкинъ будеть любить его? Кукушкинъ... а что такое собственно этотъ Кукушкинъ?

Грузно поднявшись со стула, капитанъ взялъ лампу и отправился въ кухню. Денщикъ спалъ, запрокинувъ голову. Въ лѣвой рукѣ онъ еще держалъ сапогъ, правая, тяжелая, свѣсилась съ лавки. Лицо было
блѣдно и болѣзненно. Капитанъ первый разъ видѣлъ,
какъ спитъ Кукушкинъ, и онъ показался ему другимъ
человѣкомъ. Впервые онъ замѣтилъ на этомъ молодомъ безусомъ лицѣ морщинки, и это лицо съ морщинками, съ одной нѣсколько приподнятой бровью,
казалось капитану незнакомымъ, но болѣе близкимъ,
чѣмъ то, которое онъ видѣлъ ежедневно, потому что
было лицомъ человѣка. Впечатлѣніе было настолько
ново и странно, что Николай Ивановичъ на цыпочкахъ
вышелъ изъ кухни и съ недоумѣвающимъ видомъ
оглядѣлся вокругъ: ему показалось, что и комната не
та.

Прошло полчаса. По комнатамъ пронесся зычный зовъ:

— Кукушкинъ!

Но въ сипломъ голосъ звучали новыя, незнакомыя ноты.

Кукушкинъ зашевелился и послѣ новаго крика, осторожно стукая каблуками, вошелъ въ комнату. Потупивъ голову, онъ сталъ у порога и замеръ. И на этого жалкаго человъка капитанъ могъ сердиться!

- Кукушкинъ!

Пальцы денщика слегка зашевелились и снова оцъпенъли.

- Укралъ деньги?
- Укралъ... не... не...

Голосъ Кукушкина дрогнулъ и пальцы зашевелились быстръе. Капитанъ молчалъ.

- Значить, теперь судить тебя будемь?
- Ваше благородіе... Не дайте погибнуть.

Капитанъ быстро вскочилъ и, подойдя къ Кукушкину, взялъ его за плечи.

- Дуракъ ты, дуракъ. Да развъ же я и вправду? Эхъ ты! Капитанъ дернулъ Кукушкина и, повернувшись, подошелъ къ окошку, точно въ эту темную рождественскую ночь можно было хоть что-нибудь увидъть на улицъ. Но капитанъ увидълъ, и, поднеся руку къ лицу, смахнулъ что-то, что мъшало видъть яснъе.
  - Ваше благородіе...

Въ голосъ деніцика слышалось то самое, что такъ удачно смахнулъ капитанъ. Жирная спина капитана была неподвижна.

- Ну что? глухо донеслось отъ окна.
- Ваше благородіе... Накажите меня.
- Будетъ, будетъ глупости говорить.

Николай Ивановичь обернулся, и Кукушкинъ, съ размаха бросившись на колѣни, хотѣлъ обнять его ноги. Съ выраженіемъ растерянности, страданія и умиленія на оплывшемъ красномъ лицѣ капитанъ приподняль его, неловко поцѣловалъ въ стоявшіе дыбомъ волосы и, отрывая руку отъ его губъ, шутливо и сконфуженно отпихнулъ отъ себя.

- Пошелъ, пошелъ!.. Что я попъ, что-ли. Налейка водки въ графинчикъ! Живо! Одна нога тамъ, а другая здъсь.
- (), ужасъ! Толстопузый графинъ, десять лѣтъ служившій капитану вѣрой и правдой, подхаченный ловкой рукой денщика, взлетѣлъ на воздухъ, показалъ свое пустое дно, нѣкоторое время повертѣлся около руки и, окончательно рѣшившись, упалъ и разлетѣлся на куски.

- Ничего, брать. Тащи четверть!
- ... Длинна и темна рождественская ночь. Давно уже спить крещеный міръ. Только въ окнахъ капитанскаго домика еще свътится огонекъ, бросая желтоватый отблескъ на снътъ...
  - Такъ ты говоришь, деньги домой отослаль?
- Такъ точно, вашебродь. Я вамъ, вашебродь, зараб...
  - Но, но! Что за глупости?

Капитанъ пыхнулъ папироской и, глубже усъвшись въ разодранное кресло, блаженно закрылъ глаза. Кукушкинъ сидълъ на кончикъ стула и, полуоткрывъ ротъ, ловилъ каждое движеніе капитана.

- Такъ ты, думаешь, они рады?
- Помилуйте, вашбродь, да это я, ужъ это...
- Да, да.
- ... Длинна и темна зимняя ночь, но и она уступаетъ передъ силою всепобъждающаго свъта... Бълъетъ востокъ...

Въ капитанскомъ домикѣ укладываются спать. Кукушкинъ стягиваетъ съ капитана сапоги, и увлекаемый усердіемъ, тащитъ съ кровати и капитана. Капитанъ упирается и побѣждаетъ усердіе денщика. Нѣжно прижимая къ себѣ сапоги, конфузливо смотрящіе на свѣтъ продырявленной подошвой, Кукушкинъ на пыпочкахъ выхолитъ.

- Постой... Такъ ты говорить, дочь?
- Такъ точно, вашбродь. Авдотья.
- Ну, иди, иди.

Удивительно, что горькія мысли, предзнаменовавшія начало запоя, на этоть разъ солгали; ни на слъдующій, ни на другіе дни запой не являлся.

## молодежь.

Ученикъ восьмого класса Шарыгинъ далъ пощечину своему товарищу Аврамову и чувствовалъ себя правымъ и оттого радостнымъ и гордымъ. Аврамовъ получилъ пощечину и былъ въ отчаяніи, смягчавшемся лишь сознаніемъ, что онь, какъ и многіе другіе въжизни, пострадалъ за правду.

Дъло было такъ. На классной стънъ съ начала учебнаго года висъло въ черной рамкъ росписание уроковъ. Его не замъчали до тъхъ поръ, пока Селедка, какъ звали надзирателя, подойдя однажды къ стънъ, не обратилъ вниманія класса на то, что листь съ росписаніемъ исчезъ и рамка пуста. Очевидно, это была ребяческая шалость, на которую солидная часть класса, обладавшая растительностью на лицахъ и убъжденіями, отвъчала добродушно-снисходительной улыбкой, той улыбкой, которая появлялась у нихъ, когда Окуньковъ ин съ того, ин сего становился на руки, поднималь ноги и въ такомъ видъ обходилъ комнату. Хотя всъ считали себя взрослыми, но никто не былъ увърень, что въ сабдующую минуту и ему не вздумается прогуляться на рукахъ. Селедка, кипятившійся изъза такихъ пустяковъ, какъ исчезнувшее росписаніе вызываль къ себъ юмористическое отношение. Былъ вставленъ новый листь-но на другой день рамка была опять пуста. Это становилось уже глупымъ, и потому когда Селедка въ безмолвномъ гнъвъ растопырилъ длинныя руки передъ ствикой, къ нему обратились съ серьезнымъ предположениемъ, что росписание стащили, въроятно, первоклассники. На третій день, въ рамкъ вмъсто росписанія быль вставлень листь, на которомь выдълялся тщательно оттушеванный кукишъ. На предложение сознаться, классъ, не менфе начальства удивленный появленіемъ рисунка, отв'ятиль недоумъвающимъ молчаніемъ. Было произведено слъдствіе, но оно не привело ни къ чему: хотя въ классъ художниковъ было мало, но кукишъ умъли рисовать всъ. Послъднимъ созерцалъ рисунокъ сторожъ Семенъ, вынимавшій его изъ рамки; и тому показалось что-то оскорбительное въ кукишъ, относившемся какъ будто прямо къ нему, къ Семену. Будучи по природъ толстъ, добръ и глупъ, Семенъ впервые сталъ на сторону начальства и посовътовалъ классу сознаться, но быль посланъ къ чорту. Наступилъ четвертый день-и еще болве изящный, крупный и насмъщливый кукишъ снова пятналъ ствну.

Ръчь инспектора у класса успъха не имъла. Горячій и вспыльчивый чехъ, говорить онъ начиналь спокойно, но послъ двухъ фразъ наливался кровью и, какъ ошпаренный, принимался выкрикивать фальцетомъ бранныя слова:

— Мальчишки!.. Молокососы!..

Директоръ произнесъ суховатую, но убъдительную ръчь. Онъ разъяснилъ притихшимъ ученикамъ безцъльность подобной дътской шалости, которая, однако, перешла уже границы. Шарыгинъ, въ критическія минуты говорившій отъ имени класса съ начальствомъ, всталъ и отвътилъ директору:

Мы всѣ виолнѣ согласны съ вами, Михаилъ Ивановичъ, и уже толковали объ этомъ. Но только никто среди насъ этого не дѣлалъ, и всѣ удивлены.

Директоръ недовърчиво пожалъ плечами и сказалъ, что если виновные сознаются, они наказанію подвергнуты не будутъ. Въ противномъ же случать, онъ, директоръ, поставитъ за эту четверть тройку изъ поведенія всему классу и, что важнте всего, не освободитъ отъ платы за право ученія вступь трубу кто въ первое полугодіе былъ освобожденъ. Ученики должны знать, что онъ свое слово держать умфетъ.

— Но если же никто не хочетъ сознаваться!

Михаилъ Ивановичъ замѣтилъ, что въ этомъ случаѣ классъ долженъ найти виновнаго. Это не будетъ нарушеніемъ товарищескихъ отношеній, такъ какъ, не желая сознаться изъ упорства или ложнаго самолюбія, виновный подводитъ другихъ подъ очень строгое наказаніе и ео ірѕо самъ исторгаетъ себя изъ товарищеской среды.

Директоръ ушелъ, и классъ занялся бурнымъ обсужденіемъ вопроса, въ которомъ начальствомъ была открыта новая сторона. Изъ-за того, что какой-то осель, устроившій всю эту дурацкую шутку, не хочетъ сказать двухъ словъ, нѣсколько бѣдняковъ должны вылетьть изъ гимназіи! На большой перемѣнѣ директоръ былъ вызванъ изъ кабинета Шарыгинымъ и двумя другими воспитанниками. Директоръ вышелъ въ корридоръ съ папиросой въ зубахъ: у него былъ важный посѣтитель, и онъ торопился. Шарыгинъ отъ имени класса заявилъ, что виновныхъ они точно указать не могутъ, но подозрѣваютъ троихъ: Аврамова, Валича и Основскаго. Классъ полагаетъ, что этимъ заявленіемъ онъ снимаетъ наказаніе съ остальныхъ.

Быстро, но внимательно взглянувъ на Шарыгина.

Михаилъ Ивановичъ похвалилъ его и сказалъ, что о заявленіи класса опъ подумаетъ. Похвала директора была пріятна Шарыгину, хотя раньше опъ гордился тъмъ, что начальство считаетъ его вреднымъ для класса элементомъ.

Когда Шарыгинъ подходилъ къ классу, павстрѣчу ему выбъжалъ Рождественскій. Во время дебатовъ онъ суетился и кричалъ больше всъхъ и всъмъ надоъдалъ.

— А Аврамовъ тебя подлецомъ назвалъ!—съ поспъшностью сообщилъ онъ, радуясь продолженію суматохи и безпорядковъ.

Аврамовъ стоялъ, прислонившись къ печкѣ, блѣдный, какъ сама печь, и презрительно, поверхъ головъ, смотрѣлъ въ сторону.

- Аврамовъ! Ты назвалъ меня подлецомъ?
- Назвалъ.
- -- Прошу тебя извиниться.

Аврамовъ молчалъ. Классъ съ напряженнымъ вниманіемъ слъдилъ за происходящимъ.

#### — Hv?

Тутъ вошель батюшка (быль его урокъ), и всъ неохотно разошлись по мѣстамъ. Минуты тянулись страшно медленно. Какъ будто время не хотѣло двигаться съ мѣста, предвидя то нехорошее, что должно сейчасъ произойти. Шарыгинъ, сидѣвшій на послѣдней нартѣ, раскрылъ передъ собою какой-то романъ и дѣлалъ видъ, что читаетъ, но изрѣдка смотрѣлъ впередъ, съ новымъ для него чувствомъ любопытства разсматривая согнутую спину и опущенную надъ книгой голову Аврамова. Волосы у Аврамова были черные, прямые, и пальцы руки, на которую онъ опирался, рѣзко бѣлѣли. Думаетъ ли онъ сейчасъ, что черезъ нѣсколько минутъ на его щеку обрушится ударъ, отъ котораго

щекъ будетъ больно, и она покрасиветъ? Какая это боль: ръзкая, жгучая или тупая? Сердце у Шарыгина начинаетъ тяжело и медленно колотиться, и ему смертельно хочется, чтобы ничего этого не было: ни класса, ин Аврамова, ни необходимости ударить его. Но онь должень ударить. Онь чувствуеть себя правымь. Товарищи перестануть уважать его, если онъ оставить незаслуженное оскорбленіе безнаказаннымъ. Шарыгинъ перебираеть всв рвчи, свои и чужія, которыя сегодня говорились въ классъ, и ему все яснъе становится, какъ незаслуженно, несправединво Аврамовъ оскорбилъ его. Чувство злобы къ этой черной головъ и бѣлымъ пальцамъ подинмается и растеть. Шарыгину немного страшно, потому, что Аврамовъ-сильный и, конечно, отвътить ударомъ, но онъ долженъ ударить, и ударить. Ръзкій продолжительный звонокъ по корридорамъ. Батюшка медленно идетъ къ двери. За нимъ, разминая усталые члены, идутъ ученики, когда нервный, до странности громкій голосъ Шарыгина останавливаеть TXII.

### — Господа! Одну минуту!

Нъкоторые изъ господъ, забывшіе, что было на перемънъ, оборачиваются и съ удивленіемъ смотрять на Шарыгина. Что это у него такая дикая физіономія? Шарыгинъ подходитъ къ Аврамову.

#### — Такъ ты не хочешь извиниться?

Ахъ, да!.. Непріятная дрожь пробъгаеть по спинамъ, и лица блъднъють. Всъмъ хочется отвернуться, но инкто не имъеть силь сдълать этого, и всъ, моргая учащенно глазами, смотрять на безмолвную группу, думая лишь о томъ, чтобы это поскоръе кончилось. "Философу" Мартову хочется толкнуть Аврамова, чтобы опъ извинился. Наклоняясь впередъ, Мартовъ глазами старается выжать необходимый отвъть.

#### - Нътъ, - отвъчаетъ Аврамовъ. - Ты...

ППарыгинъ не сознаетъ, какъ онъ поднимаетъ руку и бъетъ, и не чувствуетъ силы удара. Онъ видитъ только, какъ пошатнулся Аврамовъ. Поднявъ лѣвую руку для защиты лица, Шарыгинъ бросаетъ взглядъ въ сторону и замѣчаетъ курносое и обыкновенно смѣшное, а теперь побѣлѣвшее и страдальческое лицо философа Мартова. "А онъ—то чего?" думаетъ Шарыгинъ. Его возвращаетъ къ сознанію дъйствительности прерывающійся голосъ, въ которомъ слышится и кроткій упрекъ, и жгучее страданіе. Бѣлые пальцы поднятыхъ рукъ скрывають лицо и не даютъ понять, что говоритъ Аврамовъ.

#### — Богъ... тебя Богъ...

Шарыгинъ презрительно передергиваетъ плечами и отходитъ, засунувъ руки въ карманы.

Солнце ослъпительно сіяло, когда Шарыгинъ возвращался домой. На плохо очищенныхъ тротуарахъ провинціальнаго городка стояли лужи растопленнаго снъга, отражая въ себъ фонарные столбы и подъ ними голубую бездну безоблачнаго неба. Весна быстро приближалась, и острый, свёжій воздухь, пахнущій талымъ снъгомъ и далекимъ полемъ, очищалъ легкія отъ классной пыли. Какимъ темнымъ и душнымъ казался этотъ классъ! Душнымъ и тяжелымъ сномъ казалось и то, что часъ тому назадъ произошло въ классъ, и что не могло бы и произойти здъсь, гдъ такъ радостно сіяетъ солнце и задорно-весело чирикають воробы, ополоумъвшіе отъ весенняго воздуха. Но мысль невольно возвращалась назадъ, и чувство брезгливой жалости къ Аврамову омрачало свътлое настроеніе Шарыгина. Можно ли быть такимъ трусомъ, какъ этотъ несчастный Аврамовъ! Не онъ одинъ, а и весь классъ увлекался грандіозно-величавымъ ученіемъ о непротивленін злу, но примѣнять это ученіе въ жизни можеть лишь дряблая натура, неспособная къ протесту. Всѣми силами отстанвай каждую свою мысль, свое правое дѣло. Зубами, ногтями борись за него. Быть же битымъ и молчать сумѣетъ и мерзавецъ.

Шарыгинъ чувствуетъ, что у него, какъ у новаго Плън Муромца, сила переливается по всему тълу. Такъ и бросился бы въ рукопалиную съ этимъ пока еще смутно сознаваемымъ зломъ, и бился бы съ нимъ стиснувъ зубы и сжавъ кулаки, бился бы до послъдняго издыханія. Ахъ, поскоръе бы кончить эту гимназію! А пока... пока только особенно твердая поступь, да болъе обыкновеннаго выдвинутая впередъ грудь показывали, что это идетъ человъкъ, побъдоносно отстоявшій свое право на званіе честнаго человъка.

Солнце, такъ много видъвшее на своемъ въку, съ любовной лаской согръвало молодую голову, надъ которой, невъдомо для нея, уже висъло первое серьезное горе.

Оно началось въ тотъ же вечеръ.

Первый, кому Шарыгинъ разсказалъ о происшедшемъ случат, была Александра Николаевна, гимназистка восьмого класса, которую онъ любилъ и считалъ
умной и "развитой". Вирочемъ умной она казалась ему,
пока соглашалась и не спорила. Споря, она такъ легко
разставалась съ логикой, становилась такъ пристрастна
и нелъпо упряма, что Шарыгинъ начиналъ удивляться,
та ли это женщина, при поддержкт которой онъ намъревался "бороться съ рутиной жизни". Другимъ она
правилась именно во время спора, но Шарыгинъ не
понималъ ихъ вкуса. Кромъ того, она обладала непріятной способностью подмѣчать то, что желательно
было бы не обнаруживать.

— Напрасно ты гордишься,—отвътила Александра Николаевна.—Ты поступилъ подло.

Онъ гордится! Что за нелъпость! Онъ просто исполниль свой долгъ честнаго, именно честнаго человъка. Думая, что Александра Николаевна пе поняла, онъ вновь подробно остановился на тъхъ фактахъ, которые неопровержимо устанавливали его правоту въ этой "непріятной" исторіи. Весь классъ уговаривалъ Аврамова и другихъ сознаться, выставляя на видъ, что иначе изъ-за глупой шутки понесутъ наказаніе неповинные. Тройка поведенія— ерунда, но въ классъ есть двое учащихся на казенный счетъ, которые должны будутъ уйти изъ гимназіи. Отсюда Шурочка должна видъть, что онъ лично, человъкъ состоятельный, въ дълъ не заинтересованъ.

- Пустяки. Директоръ просто вралъ, какъ іезуитъ, а вы ему повърили, какъ дураки. И шутка вовсе не такъ глупа. Этотъ кукишъ мнъ очень нравится, ръшила безапелляціонно Шурочка, не подозръвая, какой она дълаетъ скачекъ въ сторону съ строго логическаго пути, по которому шествовалъ Шарыгинъ. Выразивъ нетериъніе и едва за кончикъ хвоста успъвъ схватить ускользавшую мысль, онъ началъ развивать дальнъйшія положенія. Весь классъ ръшилъ сообщить...
  - То-есть донести, —поправила Шурочка.
- ... Сообщить, что подозрѣваетъ такихъ-то. Понимаетъ ли Шурочка, что рѣшилъ именно классъ, а онъ былъ уполномоченнымъ, передававшимъ рѣшеніе класса?

Оказалось, что Шурочка этого не понимаеть. Шурочка полагаеть, что уполномоченный долженъ передавать только хорошія ръшенія, а не дурныя.

Это уже былъ такой скачекъ въ сторону, что IIIарыгинъ не успълъ схватить ускользнувшую мысль и казался вовлеченнымъ въ дебри пенужнаго спора о правахъ и обязанностяхъ уполномоченныхъ. Споръ быль бы безконечнымъ, если бы Шарыгинъ не восползовался прісмомъ почтеннаго противника и, махнувъ рукой, не перескочилъ на ту мысль, которая была нужна ему. Разъ онъ быль простымъ выполнителемъ воли класса, почему именно онъ подлецъ, а не Потанинъ и не весь классъ?

— Да и вет подлецы,—ртипла, не задумываясь, Александра Николаевна.

Шарыгинъ сердито разсмъялся.

- Ну, а почему же онъ именно меня назваль подлецомъ?
- Въроятно, ты больше всъхъ настапвалъ, чтобы итти къ директору. Во всякомъ случаъ, это фискальство, гадость!

Логика полетъла къ чорту. Шарыгинъ потерялъ подъ собою почву и безпорядочно началъ выдвигать тъ и другія орудія, повторяясь, путаясь, здясь на себя, на Шурочку, на міръ, создающій Шурочекъ. И онъ объясняль и доказываль до тъхъ поръ, пока самъ не пересталь понимать, кто онъ, что онъ и чего ему нужно.

— Да это не споръ, а какой-то танецъ дикихъ!—съ отчаяніемъ воскликнулъ онъ.

Шурочка разсмѣялась и спросила:

- А каковъ онъ собой-этотъ Аврамовъ?
- Прикажите познакомить?
- Это глупо—сердиться изъ-за пустяковъ.
- Пустяки! Назвать человъка подлецомъ и говорить: "Пустяки!"

Шарыгинъ сердито отдернулъ свою руку и съ ненавистью взглянулъ на раскраснъвшееся на морозъ хорошенькое личико. Какъ приличествуетъ гимназисту и гимназистиъ, они видътись на улицъ тайно отъ родителей, хотя никто не мъщалъ имъ видъться явно. — Ну, будетъ, будетъ! Вашу руку, маркизъ Поза! — Шурочка взяла руку Шарыгина, согнула ее кренделемъ и, вложивъ свою ручку, тронулась въ путь. Шарыгинъ подергалъ руку, но ее держали кръпко. Пришлось подчиниться. Такъ вотъ всегда бываетъ съ этими женщинами!

Вернувшись домой, Шарыгинъ пошелъ къ отцу въ кабинетъ и, закуривъ папироску, разсказалъ ему, подробно останавливаясь на мотивахъ, всю исторію. Къ его удивленію и отецъ замътилъ, что здѣсь припахиваетъ фискальствомъ. Страдая отъ непониманія, Петръ повторилъ свои доводы, стараясь обосновать ихъ теоретически. Онъ говорилъ, что когда одинъ предастъ всѣхъ, это дурно, но когда всѣ предаютъ одного, это означаетъ торжество принципа большинства.

— Такъ-то оно такъ, а все-таки какъ-то... Да ты не волнуйся. Все это пустяки, а вы завтра же помиритесь съ этимъ, какъ его...

И этотъ говоритъ пустяки!

Какъ они всё не могутъ понять, что это не пустяки, что онъ страдаетъ, что онъ готовъ убить себя, такъ ему больно. Но онъ не поддастся имъ! Онъ еще докажетъ имъ, какъ глубоко всё они ошибаются. За нимъ стоитъ еще весь классъ! Шарыгинъ ложится спать, останавливаясь на тёхъ мысляхъ, которыя онъ еще не успёлъ сказать и скажетъ завтра. Что-то мучительное, однако, сосетъ его сердце. "Но развё поступать честно всегда пріятно?"—успокоиваетъ онъ себя. "Есть честность ума и честность инстинкта, вотъ какъ у папы и у... этой женщины. Конечно, непріятно, когда идешь противъ инстинкта, но развё инстинктъ не лжетъ?" Придумано было красиво, и Петръ на минуту успокоился, но вспомнивъ, какъ его похвалилъ сегодня директоръ, почувствовалъ, что лицо его и шею охва-

тило жаромъ. Краска стыда залила его щеки. Безсознательнымъ движеніемъ Шарыгинъ натянулъ на голову одъяло, какъ будто въ этой пустой и темной комнатъ кто-нибудь могъ видъть его.

Прошло три дня. Начальство не сочло почему-то нужнымъ придавать значеніе коллективному заявленію класса и "заподозрънные" беззаботно разгуливали по корридору. По безмодвному соглашенію классь ни словомъ не вспомнилъ о происшедней исторіи и съ особенной предупредительностью относился къ Аврамову. Посторонній наблюдатель едва-ли бы замітиль, что въ классъ что-то случилось. Но Шарыгинъ чувствоваль это. Двое заподозрънныхъ, охотно говорившіе со всъми своими обвинителями, не замъчали Шарыгина и не отвъчали на его попытки вступить въ примирительную беседу. Остальные съ виду держались попрежнему, но одна мелочь глубоко кольнула Шарыгина. Прежде, каждую почти перемфну, на Камчаткф, гдъ сидълъ Шарыгинъ, собиралась кучка товарищей и вступала въ споры самаго разнообразнаго содержанія, начиная Писаревымъ и кончая теоріями мірозданія. Теперь же никто не приходиль, и Шарыгинь, любившій говорить и слушать себя и видіть, какъ внимательно слушають его другіе, остался одинь. Философъ Мартовъ съ выраженіемъ какой-то глупой боязни сторонился отъ него, точно драка составляла постоянное свойство шарыгинскаго характера. Однажды Шарыгинъ поймалъ на себъ взглядъ преданнаго ему Преображенскаго, и въ этомъ взглядъ сквозило не восхищеніе, къ которому онъ привыкъ, а, противно сказать... сожалѣніе.

-- Мерзавцы!—думать Шарыгинь, включая въ это понятіе весь классъ и всѣхъ, кто находился за нимъ. Ему было нестерпимо больно и обидно, что въ предательствъ виноваты всъ, а наказаніе несеть онъ

- За что мерзавцы? со злостью спрашиваль Шарыгинь, чувствуя, что даже Преображенскій, который больше всего суетился и кричаль въ пользу доноса, теперь презираеть его. Шарыгинъ вызывающе смотрълъ на товарищей, говорилъ ръзкости и толкалъ заподозрънныхъ, не вызывая отпора и лишь возбуждая недоумъніе, такъ какъ большинство и сами не замъчали, какъ они перемънились къ нему. Однажды онъ громко заговорилъ о томъ, что странно, почему директоръ до сихъ поръ не принимаетъ никакихъ мъръ, но вст разошлись, притворяясь, что не слышатъ, а Преображенскій, котораго онъ прижалъ къ стънкъ, согласился съ нимъ, но имълъ такой жалкій видъ, что Шарыгинъ отпустилъ его.
- Экія все дряни!—крикнуль онь, но отвѣта не получиль. Шарыгину хотѣлось, чтобы кто-нибудь поговориль съ нимь, убѣдиль его, что онъ быль неправь, даже побиль его, но только не молчаль.

Учителя, казалось Шарыгину, тоже косились на него. Бочкинъ, преподаватель исторіи, рѣзкій и независимый господинъ, потѣшавшій классъ своими шуточками, а директора въ совѣтѣ доводившій до чертиковъ, сказалъ:

— Доносиками заниматься вздумали? О, будущіе граждане россійскіе!

Онъ обращался ко всему классу, но Шарыгинъ подумаль, что это относится къ нему одному. Обычный "колъ", третій по счету, украсившій въ этотъ день клѣтку журнала противъ фамиліп Шарыгина, не сопровождался шутливыми замѣчаніями, показывавшими, что хотя Бочкинъ и ставитъ единицу за незнаніе урока, все же считаетъ его развитымъ и знающимъ.

- До сажени много еще осталось? -спросилъ Шарыгинъ, но Бочкинъ не отвътилъ.
- Скотина! подумалъ Шарыгинъ, и ему захотълось заплакать. Дома тоже было не лучше. На свиданія къ Шурочкъ онъ не ходилъ, и та прислала уже записочку (съ двумя орнографическими ошибками), справляясь объ его здоровь и настроеніи. "Милый!" — хорошъ "милый" — подумалъ Шарыгинъ и, выбравъ на диванъ мъстечко поудобнъе, ноплакалъ, удивляясь, какъ это онъ, умный малый-а до сихъ поръ не зналъ, что плакать составляеть такое удовольствіе. Это было въ субботу. Въ воскресенье Шарыгинъ, противъ обыкновеннія, никуда не пошель, и весь день посвятиль страннымъ занятіямъ, которыя окончательно могли бы дискредитировать его въ глазахъ класса и всвхъ серьезныхълюдей. Овъ шалилъ. Первый разъ въ жизни сестренка его испытала завидное наслаждение кататься верхомъ на мужчинъ, и надо полагать впослъдствіи, когда она вышла замужъ, мужъ ея не разъ проклиналълегкомысленнаго братца. Почтенному старому коту, необыкновенно жирному и важному, Петръ привязалъ на хвость бумажку. Онъ хотълъ доставить удовольствіе все той же сестренкъ, но смъялся самъ гораздо больше ея.

Въ понедъльникъ на второй перемънъ Шарыгинъ послъ звонка попросилъ всъхъ остаться въ классъ и ввошелъ на кафедру.

— Господа!—началъ онъ дрогнувшимъ голосомъ и смотря на Аврамова.—Товарищи, чортъ васъ возьми, а не господа. Слушайте. Аврамовъ оскорбилъ меня названіемъ подлеца...

Аврамовъ, покраснъвъ, смотрълъ внизъ.

...П онъ былъ неправъ. Да, неправъ. Онъ долженъ былъ сказать: "вст вы подлецы!" А такъ какъ онъ этого

не сказалъ, то я говорю: всѣ мы были подлецами! Предателями, негодяями...

Глаза Шарыгина попали въ восторженно раскрытый ротъ философа Мартова.

...Н скотами. Одинъ за всѣхъ, всѣ за одного! Вотъ какъ нужно жить, братцы. А что я... я... ударилъ Аврамова, то я такой... такой!...

Красноръчивый ораторъ всхлипнулъ и, сбъжавъ съ кафедры, устремился къ дверямъ, но чьи-то руки, безчисленное множество рукъ, схватили его и закружили.

— Задушили! Пустите, черти! Опять къ директору пойду.

На большой перемѣнѣ многіе искали Шарыгина, но онъ куда-то пропаль. Когда классъ былъ отпертъ и восьмиклассники гурьбой, выжимая другъ изъ друга масло, ворвались въ него, ихъ пораженнымъ глазамъ представилось чудное произведеніе искусства. На классной доскѣ было нарисовано росписаніе съ заключеннымъ въ него кукишемъ, а передъ нимъ въ недоумѣвающихъ позахъ инспекторъ и директоръ, а за ними сторожъ Семенъ. Носъ директора художникъ пе могъ вмѣстить на доскѣ и окончилъ мѣломъ на стѣнѣ. Впизу была подпись: "И. И. (услужливо): не огорчайтесь, И. М., этотъ кукишъ мнѣ. Директоръ (благосклонно): благодарю васъ, И. И.!—Сторожъ Семенъ (глубокомысленно): а я такъ полагаю, что вамъ обоимъ".

- Сотри, сотри! раздались голоса, но Шарыгинъ не подпускалъ никого къ доскъ. Да и поздно было. Селедка уже видъла рисунокъ. Никогда она такъ быстро не бъгала, даже когда пріъзжалъ попечитель и она метала икру. Вошелъ директоръ, а за нимъ на цыпочкахъ Иванъ Ивановичъ.
- Кто?—лаконически спросиль директорь, оцѣнивъ хуложественность исполненія и широту замысла артиста.

- Я-отвътилъ Шарыгинъ.
- Ты? хорошо. Ты будешь исключенъ.

Но директора смягчили. Наказаніе было ограничено четырехдневнымъ арестомъ. Когда въ слъдующее воскресенье замокъ щелкнулъ въ двери и Шарыгинъ остался въ классф одинъ, онъ впервые почувствовалъ, что "грязь прошлаго" совершенно смыта съ него. Часа черезь два, когда онь уже началь скучать, у стеклянной двери показалось чье-то дружески мигавшее лицо. То быль философъ Мартовъ. За нимъ последоваль Преображенскій. И цълый день одна дружеская физіономія сміняла другую, и всі оні мигали, кричали въ замочную скважину и дружески скалились. Подъ дверь была просунута записка, кратко возвѣщавшая: "Не робъй!" Ночью, когда Шарыгинъ собирался укладываться спать на принесенной постеди, внезапно дзинькнулъ замокъ. Аврамовъ, Мартовъ и еще пара друзей осторожно вошли въ классъ, издали показывая хлъбъ, длинную колбасу, такую длинную, какъ нарисованный носъ у директора, и horribile dictu... пол бутылки водки.

Друзья разошлись поздно ночью. Наибольшее удовольствіе отъ импровизированнаго банкета получиль сторожь ('емень. Онъ любиль вынить, – большая часть пол-бутылки пришлась на его долю. Онъ не прочь быль посмѣяться, если кто-инбудь съ положительнымъ юмористическимъ талантомъ изображалъ Ивана Ивановича, который неоднократно грозился его выгнать за потачки гимназистамъ, – Мартовъ же за изображеніе инспектора давно стяжалъ заслуженные лавры. Наконецъ, распространенное мивніе о томъ, будто бы Семенъ глупъ, было по меньшей мърѣ опрометчиво. Десять лътъ прислуживая при опытахъ въ физическомъ кабинетъ, Семенъ обогатилъ свой умъ изряднымъ количествомъ непонятныхъ словъ, дававшихъ ему возможность съ

честью поддерживать всякій умственный разговоръ. И такъ какъ въ горячемъ разговоръ гимназистовъ постоянно попадались непонятныя слова, напоминавшіе Семену дорогую физику, какъ то: прогрессъ, человъчность, идеалы, онъ всей душой устремлялся за своими пріятелями туда, гдъ, по ихъ увъренію, эти слова постоянно раздаются съ высоты кафедры, живуть и дышать—въ далекій, желанный и загадочный университетъ.

Проводивъ посътителей, Семенъ возвращался по темному корридору. Колеблющійся огонь свъчи трепетнымъ свътомъ озарялъ красное, усатое лицо, вырисовывая на стънкъ чудовищную движущуюся тънь. Смутная грусть и сожальніе наполняли глупую голову Семена.

— Ахъ, кабы и сторожамъ можно было оканчивать гимназію и переходить въ университетъ.

# первый гонораръ.

(1899)

Помощникъ присяжнаго повъреннаго Толпенниковъ выслушаль въ засъданіи суда двъ ръчи, выпиль въ буфетъ стаканъ пустого чаю, поговорилъ съ товарищемъ о будущей практикъ и направился къ выходу, дъловито хмурясь и прижимая къ боку новенькій портфель, въ которомъ одиноко болталась книга: "Судебныя ръчи". Онъ подходилъ уже къ лъстницъ, когда чья-то большая, холодная рука просунулась между его туловищемъ и локтемъ, отыскала правую руку и вяло пожала ее.

- Алексъй Семеновичъ! воскликнулъ Толпенниковъ съ выраженіемъ радости и почтенія, такъ какъ холодная рука принадлежала его патрону.
- Куда?—вяло спросилъ патронъ, высокій, сутоловатый челов'єкъ. Спрашивая, онъ не смотр'єль на Толпенникова, и взглядъ его усталый и безпредметный, былъ устремленъ куда-то въ глубину длиннаго корридора, гдё мелькали у св'єтлыхъ дверей темныя т'єни, шуршали по камню ногами, поднимая еле зам'єтную пыль, и болтали.

- Да домой!-оживленно и громко отвътилъ Тол-

пенниковъ.—Я тутъ съ утра. Ахъ, если бы вы знали, какъ все это интересуетъ меня!

Съ тѣмъ же оживленіемъ онъ началъ передавать свои впечатлѣнія отъ рѣчи Пархоменко, которая очень понравилась ему, между тѣмъ какъ тяжелая холодная рука незамѣтно увлекла его наверхъ, въ комнату совѣта присяжныхъ повѣренныхъ. Тамъ Алексѣй Семеновичъ молча раскрылъ свой туго набитый портфель, покопался въ немъ и протянулъ помощнику бумаги въ синей обложкѣ съ крупной надписью "дѣло".

- Вотъ. Завтра въ съвздв. Тутъ и дов френность. Толпенниковъ покраснвлъ и, протягивая обв руки, запинаясь, спросилъ:
  - Какъ завтра? И я... А вы?
- Я сегодня вду въ Петербургъ—равнодушно и устало говорилъ патронъ, медленно опускаясь въ кресло. Тяжелыя ввки едва приподнимались надъ глазами и все лицо его, желтое, стянутое глубокими морщинами къ свдой щетинистой бородкв, похоже было на старый пергаментъ, на которомъ не всвмъ понятную, но печальную поввсть начертала жестокая жизнь.
- Но какъ же?—отталкивалъ Толпенниковъ бумаги.—Въдь я... Это завтра?

Послѣднее слово онъ выговорилъ съ особеннымъ страхомъ и особеннымъ почтеніемъ.

- Да. Тутъ все есть. Приговоръ мирового. Черновикъ моей апелляціонной жалобы. Ну да все. Постарайтесь не провалить. Фракъ есть?
- Есть, т.-е. нътъ, но я достану. Но въдь я... боюсь. Какъ это вдругъ?...

Алексъй Семеновичъ медленно поднялъ свои усталые глаза на помощника, все еще державшаго въ рукахъ бумаги, и какъ будто знакомое что-то, старое и давно забытое увидълъ въ этомъ молодомъ, испуганно-

торжественномъ лицъ. Выраженіе усталости исчезло и гдъ-то въ глубинъ глазъ загорълись двъ маленькія звъздочки, а кругомъ появились тоненькія лучеобразныя морщинки. Такое выраженіе бываетъ у взрослыхъ людей, когда они случайно увидятъ играющихъ котятъ, что-нибудь маленькое, забавное и молодое.

— Бонтесь?—улыбался онъ.—Это пройдеть.

Алексъй Семеновичъ поднялся, медленно расправилъ согнутую синну и, смотря поверхъ головъ прежнимъ безпредметнымъ взглядомъ, повторилъ равнодушно и устало:

— Да, пройдетъ. Ну, мит пора.

Снова Толиенниковъ ощутилъ прикосновеніе холодной вялой руки и увидълъ согнутую покачивающуюся синну патрона. Однимъ изъ адвокатовъ бросая отрывистые кивки, другимъ на ходу пожимая руки, Алексъй Семеновичъ большими ровными шагами прошелъ накуренную, грязную комнату и скрылся за дверью, мелькнувъ потертымъ локтемъ не новаго фрака,— а помощникъ все еще смотрълъ ему вслъдъ и не зналъ, иужно ли догонять патрона, чтобы отдать ему бумаги, или уже оставить ихъ у себя.

И оставилъ ихъ у себя.

Вечеромъ Толиенниковъ готовился къ защитъ и думалъ, что онъ никогда не станетъ защитникомъ. Съ вифиней стороны дъло было ясно и просто, и всей своей яспостью и простотой говорило, что жена д. с. с. Пелагея фонъ-Брезе виновна въ продажъ изъ своего магазина безбандерольныхъ напиросъ. Мировой судья, осудившій ее, былъ совершенно правъ, и непонятно было только одно, какъ могъ ее защищать Алексъй Семеновичъ, а послъ обвиненія какъ онъ могъ написать жалобу слабую по аргументамъ и больше, казалось, чъмъ самъ обвинительный приговоръ, уличавшую

г-жу фонъ Брезе. Таково было первое впечатлъніе отъ прочитанныхъ бумагъ, и Толпенниковъ, утромъ еще такой счастливый, представлялся себъ стоящимъ передъ глубокой и темной ямой и такимъ жалкимъ, что не върилось въ недавнее счастье. На стулъ въ углу висълъ распяленный фракъ, добытый у знакомого помощника, вызывающе льзъ въ глаза своей матовочерной поверхностью и напоминалъ тъ мысли и мечты, которыя носились въ головъ Толпенникова какихънибудь два часа тому назадъ. Онъ были ярки, образны и наивно благородны, эти мысли и мечты. Не кургувымъ, нелъпо комичнымъ одъяніемъ представлялся фракъ, а чъмъ-то въ родъ рыцарскихъ латъ, равно какъ и самъ Толпенниковъ казался себъ рыцаремъ какого-то новаго ордена, призваннаго блюсти правду на землъ, защищать невинныхъ и угнетенныхъ. Самое слово "защитникъ" до сихъ поръ вызывало въ немъ сдержанно горделивый трепеть и представлялось большимъ, звучнымъ, точно оно состоитъ не изъ буквъ, а отлито изъ благороднаго металла. Только въ мысляхъ иногда осмъливался Толпенниковъ примънять его къ себъ и всякій разъ испытываль при этомъ страхъ, и, какъ влюбленный ожидаетъ перваго свиданья, такъ и онъ ожидалъ первой защиты.

Толпенниковъ не зналъ, что ему теперь дѣлать, и въ отчаяніи снова усѣлся за бумаги. Онѣ лежали все такія же, четко переписанныя, ясныя, но Толпенниковъ не понималъ ихъ и невольнымъ движеніемъ спустилъ еще ниже висѣвшую надъ столомъ электрическую лампочку. Номеръ, въ которомъ онъ жилъ, былъ малъ и грязенъ, но освѣщался электричествомъ и это особенно ставилось на видъ Толпенникову, когда два дия тому назадъ его пригласили въ контору для объясненій и настоятельно потребовали денегъ за два прожи-

тыхъ мѣсяца. Постепенно туманъ передъ глазами разсъявался и Толиенниковъ сталъ вдумываться въ смыслъ того, что беззвучно выговаривали его зубы. И тогда на лѣвой страницѣ, внизу, онъ замѣтилъ одну пропущенную подробность, которая была въ пользу г-жи фонъБрезе и давала нѣсколько иное освѣщеніе дѣлу. И хотя это была подробность, благопріятное сочетаціе словъ, а не фактъ, но онъ обрадовался и сразу почувствовалъ себя бодрымъ, сообразительнымъ, какъ всегда, и виноватымъ передъ патрономъ и г-жей фонъ-Брезе.

Толпенниковъ улыбнулся, почесалъ себъ носъ и зачъмъ-то слегка покачалъ его двумя пальцами, поддернулъ брюки, которыя у него всегда сползали, и вышелъ прогуляться въ длинный корридоръ. Вернувшись оттуда, онъ внимательно осмотрълъ фракъ сверху и съ подкладки, улыбнулся и подумалъ, что фракъ великъ для его роста и широкъ. Потомъ съ нъкоторой боязнью сълъ за бумаги и сталъ внимательно читать ихъ, дълая на поляхъ отмътки, свъряясь съ акцизнымъ уставомъ и часто почесывая носъ то пальцемъ, то карандашемъ. Онъ еще не пріучилъ чертъ своего лица къ серьезной неподвижности, и улыбался, и покачивалъ головой, и чмокалъ губами, маленькій, худенькій и наивно великодушный.

Къ двънадцати часамъ Толиенниковъ сложилъ бумаги въ портфель, зная дъло такъ, какъ не зналъ его никогда патронъ, не понимая своихъ сомивній и колебаній. Невинность г-жи фонъ-Брезе была очевидна и приговоръ мирового судьи былъ ошибкой, легко понятной, такъ какъ и самъ Толиенниковъ вначалъ ошибался. Довольный собой, довольный дъломъ и патрономъ, онъ еще разъ осмотрълъ фракъ. сверху и съ подкладки, и первно потяпулся при мысли, что завтра надънеть его и будеть защищать. Доставъ изъ стола

почтовой бумаги, Толпенниновъ началъ писать отцу:

"Дорогой папаша! Ты можешь не высылать мнф денегь и лучше перешли ихъ Алешф, который нуждается, вфроятно, и въ обмундировкф и въ учебникахъ. Я получилъ отъ патрона дъло (послъдняя фраза была подчеркнута) очень интересное и буду завтра защищать"...

Надъ послъднимъ словомъ Толпенниковъ остановился, и, подумавъ, отложилъ начатый листокъ въ сторону и взялъ другой. Улыбнувшись, энергично почесавъ носъ, онъ ближе нагнулся къ столу и началъ писать, не разгонистымъ почеркомъ, какъ отцу, а мелкимъ и убористымъ:

"Любимая моя Зина! Можешь ты вообразить меня во фракъ, стоящимъ передъ судьями и защищающимъ? Одна рука на груди, другая впередъ... Нътъ, не могу шутить, я слишкомъ счастливъ сейчасъ и если бы только была здъсь ты, моя родная, неизмънная, терпъливая Зиночка. Сейчасъ 12 часовъ и я только что кончилъ"...

Электрическая лампочка потухла. Съ секунду краснѣла еще тонкая проволочка, а потомъ стало темно и только изъ корридора, черезъ стеклянное окно надъдверью, лился слабый свѣтъ. Было не двѣнадцать часовъ, а часъ, когда въ номерахъ тушилось электричество.

— Чортъ бы васъ побралъ съ вашимъ электричествомъ, — обругался Толпенниковъ, осторожно, чтобы не разлить чернилъ, нащупывая письмо и кидая его въ столъ.

Улегшись, Толпенниковъ долго не засыпаль и думаль о генеральшъ фонъ-Брезе, которая представлялась ему съдой величественной дамой, объ акцизномъ уставъ и сърыхъ далекихъ глазахъ. Между глазами и уставомъ была какая-то связь и становилась все кръпче и загадочнъе, и стараясь понять ее. Толпенниковъ уснулъ, маленькій, худенькій и паивно счастливый.

#### H.

Дъйствительный статскій совътникъ въ отставкъ, г. фонъ-Брезе, бритый какъ актеръ, величественно повелъ большимъ носомъ въ сторону Толпенникова и сухо пояснилъ, что жена его быть на судъ не можетъ вслъдствіе болъзни.

— Эта гнусная исторія потрясла организмъ моей супруги—сказаль фонъ-Брезе, смотря на кончикъ носа Толпенникова. Вы помощникъ Алексъя Семеновича?

Толиенниковъ подумать, что генераль не довъряеть ему и считаеть слишкомъ молодымъ для отвътственнаго дъла. Сконфуженно, но въ то же время задорно онъ сказалъ:

- Хотите довъренность посмотръть?
- Ахъ, что вы!—отмахнулся рукой фонъ-Брезе, но мы говорили о генеральшѣ. Она потрясена, молодой человѣкъ. По-тря-сена. Вы понимаете...

Фонъ-Брезе отвелъ Толпенникова немного въ сторону, хотя въ этомъ не видълось надобности, наклонился къ самому его лицу и поднялъ палецъ.

— Вы понимаете? Полиція—утвердительно киваль онъ головой, поднимая кверху брови и губы, такъ что послѣднія почти коснулись красноватаго носа. На счеть... понимаете? — онъ отвелъ назадъ руку съ растопыренными пальцами и открытой ладонью, показывая, какъ берутся взятки. Затѣмъ откачнулся назадъ и еще разъ кивнулъ головой: да-да. Представьте.

Толпенниковъ сочувственнио покачалъ головой, думая "экая цаца"! Генералъ пристально и задумчиво посмотрътъ на носъ Толпенникова и съ внезаннымъ приливомъ дружеской пріязни взяль его подъ руку и еще на два шага отвель въ сторону.

- Я уже не разъ представляль ей: зачъмъ намъ магазинъ? Какая-то та-бач-ная торговля? А?—спрашивалъ генераль, отводя рукой въ сторону воображаемую торговлю. Но она: хочу. А?
- Да, ужъ это—неопредъленно сочувствовалъ Толпенниковъ.
- Да? откачнулся назадъ фонъ-Брезе. Но не угодно-ли?

Къ Толпенникову протянулась рука съ раскрытымъ серебрянымъ портсигаромъ.

- Спасибо, я не курю.
- Да? Но я закурю, если позволите.

Двумя пальцами, большимъ и указательнымъ, генералъ досталъ папиросу, постучалъ ею о крышку портсигара и закурилъ. Голубоватый дымъ тонкой струйкой поднимался вверхъ. Фонъ-Брезе плавнымъ движеніемъ руки направляетъ дымъ къ себъ и, щурясь, нюхаетъ его.

- Мон папиросы—говорить онъ удовлетворенно.— Другихъ не выношу. А онъ нашелъ тамъ нъсколько...
- Четыре тысячи, однако вставляеть Толпенниковъ.
- Да? Я люблю запасъ. И говоритъ: без-бан-дерольныя. Смътно!

Толпенникову непріятень генераль и немного жаль, что приходится выступать по такому сухому дізу о нарушеніи акцизнаго устава. Но несправедливость—всегда несправедливость, думаеть онь, и горячо берется за допрось свидітелей. Онь не замічаеть, что многіе изъ публики улыбаются его фраку, фалды котораго спускаются ниже подколівннаго сгиба; по привычкі поддергиваеть сползающія брюки, не думая о

неприличін этого жеста, и смотрить прямо въ ротъ говорящему свидътелю. Какъ маленькая злая ищейка, онъ тормошитъ толстаго околоточнаго надзирателя. Тотъ, не отрываясь, глядитъ на судей, бросая въ сторону адвоката отрывистыя и гулкія слова. Онъ весь половъ скрытаго негодованія; шея его, сдавленная твердымъ воротникомъ, краснветъ и багровой полосой ложится на узкій серебряный галунь, голова его неподвижно обращена къ судьямъ, -- но коротенькій круг лый нось его, оттопыренныя губы, усы, все это сдвигается въ сторону ненавистнаго молокососа. Толпенниковъ слъдить за глухой борьбой толстяка съ гнъвомъ и дисциплиной и наслаждается; чисто по-студенчески онъ ненавидитъ полицію и не допускаетъ мысли о человъчности полицейскихъ. Толстые, тонкіе, —они равны въ его глазахъ. За свидътелями обвиненія идетъ чередъ свидътелей защиты, и невинность г-жи фонъ-Брезе устанавливается съ очевидностью. Слово предоставлено защитнику. Толпенниковъ подробно и дъльно анализируеть свидътельскія показанія и очень много и горячо говорить о мукахъ этой женщины, надъ съдой головой которой нависло такое позорное обвинение. Искренность молодого защитника заражаетъ судей, они благосклонно смотрять на него и одинь, справа, даже киваеть въ такть речи головой.

Пока судьи совъщаются, Толпенниковъ выкуриваетъ съ генераломъ напиросу, о чемъ то смъется, кому-то пожимаетъ руку и уходитъ въ глубину залы къ окну, чтобы еще разъ пережить свою ръчь. Она звучитъ еще въ его ушахъ, когда его настигаетъ толстякъ околоточный.

— Позвольте вамъ доложить—начинаетъ онъ вѣжливо, дотрогиваясь до плеча Толпенникова. Тотъ оборачивается, и ненавистный видъ молодого, дерзкаго лица

выводить околоточнаго изъ себя. Округливъ глаза, носъ и роть, околоточный выбрасываеть, какъ изъ мортиры.

— Стыдно-съ!

Толпенниковъ улыбается и на выцвътшихъ глазахъ околоточнаго показывается какая-то муть.

— Стыдно-съ, молодой человъкъ. Я вамъ... въ отцы гожусь.

Онъ еще хочетъ что-то сказать, но не можеть придумать ничего достаточно сильнаго и выразительнаго.

— Стыдно-съ—повторяетъ онъ, съ ненавистью глядя на улыбающееся лицо, круто поворачивается, какъ на смотру, и отходитъ.

Какъ и ожидалъ Толпенниковъ, съвздъ отмъняетъ приговоръ судьи и признаетъ г-жу фонъ-Брезе по суду оправданной. Генералъ важно пожимаетъ руку защитника.

Благодарю васъ, г. Толпенниковъ.

Въ рукъ Толпенникова что-то остается. Подчиняясь странному, плохо сознаваемому чувству необходимости принять то, что передали въ его руку, онъ нъкоторое время держитъ руку сжатой, потомъ съ любопытствомъ открываетъ ее, и видитъ на ладони два золотыхъ, не то десяти, не то пятнадцати-рублеваго достоинства. Толпенникова непріятно передергиваетъ, онъ срывается съ мъста и бъжитъ по лъстницъ, крича:

— Эй, послушайте! Какъ васъ!.. Генераль!

Но фонъ-Брезе нътъ въ прихожей, не видно его и на улицъ. Толпенниковъ еще разъ разсматриваетъ золотые—они по пятнадцати рублей,—и словно не чувствуя уваженія къ деньгамъ, которыя достались ему такимъ непріятнымъ путемъ, кладетъ ихъ не въ портмонэ, а небрежно опускаетъ въ жилетный карманъ.

На секуплу задумавшись, онъ снова идеть наверхъ, такъ какъ ему жаль разстаться съ тъмъ мъстомъ, гдъ онъ испыталъ такія пріятныя и горделивыя чувства. Въ залѣ онъ вилить одного изъ свидѣтелей защиты, приказчика фонъ-Брезе. Это пестро одѣтый человѣкъ, съ острымъ лицомъ, острой рыжеватой бородкой и толстымъ перстнемъ-печаткой на указательномъ пальцъ, покрытомъ, какъ и вся рука, частыми крупными веснушками. Острые глаза его косятъ и весь онъ дышитъ фальшью, угодинчествомъ и нестерпимой фамильярностью, но Толпенниковъ чувствуетъ къ нему расположеніе и подходитъ.

- Ну, какъ?-спрашиваетъ онъ, улыбаясь.
- Ловко обработали дъльце--одобряетъ приказчикъ, и подмаргивая въ ту сторону, куда ушелъ генералъ, добавляетъ: удралъ нашъ-го. Супругу поздравлять полетълъ.
- Еще бы, конечно, тяжело. Двъ недъли отсидъть пришлось бы.
- Еще какъ! Ну да и то сказать, бъда-то не велика. Она уже разъ отсиживала, да разъ штрафъ заплатила.
  - Отсиживала? не понимаетъ Толпенниковъ,
- Ну-да, отсиживала. Ее тогда Иванъ Петровичъ ващищаль, ну да пришель пьяный и такого нагородиль! Нашъ-то взбъленился, жаловаться на него хотълъ. Да что ужъ!—и приказчикъ махнулъ веснущатой рукой.

Толпенниковъ мучительно краснъетъ, не ръшаясь понять того, что такъ ясно, и вмъстъ съ тъмъ понимая и ужасаясь.

- ()тенживала?—еще разъ повторяеть онъ пошлое ръзкое слово.—Эта почтенная дама!
- Почтенная! Изъ кухарокъ дама-то эта. На кухаркъ нашъ женился, Палашкой звать. Вотъ и они объ этомъ знаютъ. Върно, Абрамъ Петровичъ?

Абрамъ Петровичъ одътъ прилично, но ботинки его запылены и тамъ, гдъ выпираетъ мизинецъ, — порваны и все его иятнистое, хотя такъ же приличное, лицо имъетъ такой видъ, точно опъ каждую минуту собирается подойти и благородно попросить на бъдность. Онъ протягиваетъ Толпенникову толстую потную руку и потомъ уже отвъчаетъ на вопросъ приказчика голосомъ хриплымъ отъ водки и отъ простуды.

- Вѣрно. Сына изъ-за этой швали, извините за выраженіе, на улицу выгналъ.
- А ловко вы это на счетъ съдой головы подпустили!—хвалитъ приказчикъ. — А у нея голова запросто рыжая, чистый шиньонъ.
  - Върно, -- хвалитъ Абрамъ Петровичъ.
- А папироску нашъ-то вамъ давалъ? спрашишиваетъ приказчикъ и глаза его сближаются въ готовности къ смъху.

Толпенниковъ сердито киваетъ головой и приказчикъ смъется. Смъется хриплымъ басомъ и Абрамъ Петровичъ.

- Дуракъ-дуракъ, а поди какіе фокусы выкидываетъ! А самъ и курить не умъетъ, только дымъ пущаетъ. Ну, и жохъ!—удивляется приказчикъ.
- Но какъ же вы, —говоритъ сурово Толпенниковъ, хмуря брови и подтягивая сползающія брюки, какъ же вы сами показывали, что онъ папиросы эти для себя держитъ?

Приказчикъ и Абрамъ Петровичъ переглядываются и смѣются. Затѣмъ приказчикъ внезапно становится серьезнымъ и протягиваетъ руку:

— А засимъ до свиданья-съ. Дозвольте и напредки быть знакомымъ. Ежели когда мимо случится, такъ ужъ не обойдите. Для васъ всегда сотенка найдется. Пойдемъ, Абрамъ Петровичъ. Съдая голова... Ахъ ты,

Боже мой!—еще разъ напоминаетъ онъ Толпененкову его удачное выражение и уходитъ.

Толпенниковъ все еще стоитъ на мѣстѣ, опустивъ голову и заложивъ руки въ карманы. Когда передъ его глазами загадочная фигура Абрама Петровича, Толпенникову кажется, что онъ хочетъ чего-то попросить и вопросительно смотритъ на его грязное, осклабленное лицо.

- А я къ вамъ, господинъ Толпенниковъ, говорить Абрамъ Петровичъ почти шопотомъ и наклоняясь къ помощнику.
- Если когда понадобится, такъ ужъ будьте милостивы, не откажите воспользоваться услугами, спросите только у Ивана Сазонтыча приказчика; они знають, гдъ меня найти.
- На что понадобится? удивленно спрашиваетъ Толпенниковъ.

На лицѣ Абрама Петровича мелькаетъ удивленіе, потомъ сомнѣніе, и смѣняется понимающей примирительной улыбкой.

- Ужъ не оставьте—повторяеть онъ. Они знають. Прямо такъ и спрашивайте Абрама Петровича.
- Вонъ!—вскрикиваетъ Толпенниковъ такимъ фальцетомъ, и Абрамъ Петровичъ отходитъ, низко кланяясь, но не протягивая на этотъ разъ руки. На лъстницъ онъ оборачивается и еще разъ говоритъ:
  - Такъ ужъ не оставьте.

Время еще раннее, и до разговора съ приказчикомъ Толпенниковъ намъревался пойти въ совъть, чтобы натолковаться между своими и подълиться впечатлъніями первой защиты, но теперь ему совъстно себя и совъстно всего міра и кажется, что всякій, только взглянувъ на его лицо, догадается о происшедшемъ. И по улицъ идти совъстно и хотълось бы спрятать порт-

фель, чтобы никто не догадался о его званіи "защитника". Придя домой, Толпенниковъ боязливо отложилъ въ сторону этотъ портфель, въ которомъ онъ чувствоваль присутствіе изученнаго имь діла, осторожно повъсиль жилеть, не ръшаясь достать изъ его кармана золотые и еще разъ взглянуть на нихъ, и отвернулся оть стола, въ которомъ лежали начатыя письма къ отич и къ Зинъ. И все въ этой маленькой комнаткъ казалось чуждымъ ему, странно угловатымъ и грубымъ и смотръло на него, какъ незнакомый, пошлый и враждебно настроенный человъкъ. Толпенниковъ попробовалъ читать книгу, но не могъ сосредоточиться на ней и вздрагиваль отъ непріятнаго чувства, какъ будто кто-то непріятный стоить у него за плечами или сейчась войдеть въ дверь. И только улегшись въ постель, повернувшись къ стънъ и натянувъ на голову одъяло, онь почувствоваль себя спокойнье и пересталь бояться міра, который вошель ему въ душу, такой грязный. отвратительный и жестокій.

Вечеромъ, когда стемнъло, Толпенниковъ пошелъ къ патрону, но тотъ не вернулся еще изъ Петербурга. Ни къ кому другому идти онъ не хотълъ. Близкихъ людей у него не было, и Толпенниковъ до поздней ночи шатался по бульварамъ. Дома, куда Толпенниковъ вернулся очень поздно, было все такъ же неуютно, угловато и враждебно. Раньше онъ любилъ посидъть за самоваромъ, помечтать и попъть тонкимъ пріятнымъ теноркомъ, разгуливая по номеру и съ любовью посматривая на полку съ книгами и на фотографіи на стънахъ, но теперь было противно все это и ото всего хотълось уйти: и отъ самовара, и отъ книгъ, и отъ фотографій.

— Ду-ракъ! — искренно и серьезно пожалълъ себя Толпенниковъ, ложась въ постель и сжимаясь въ ма-

ленькій круглый комокъ, какъ продрогшій ребенокъ. Но сонъ не приходиль, не приходиль вмѣстѣ съ нимъ и покой. Отчетливо, какъ галлюцинація, видѣлось пятнистое, приличное лицо Абрама Петровича и близко наклонялось, осклабленное, фамильярное, и оно было не одно, а со всѣхъ сторонъ назойливо лѣзли другія такія же лица и такъ же осклаблялись и подмигивали и предлагали свой услуги. И, какъ маленькому, хотѣлось отбиваться отъ этихъ призраковъ руками, плакать и просить у кого-то защиты.

На слъдующій день Толпенниковъ засталь Алексъя Семеновича дома. Пріемъ кліентовъ еще не окончился, несмотря на поздній чась, и изь кабинета глухо доносился незнакомый голосъ, что-то разсказывавшій и о чемъ-то спрашивавшій. Въ большой пріемной чувствовалось недавнее присутствіе людей, нахло табачнымъ дымомъ, альбомы на кругломъ столъ были разбросаны и нъкоторые раскрыты, и кресла вокругъ стола разставлены въ безпорядкъ. Толпенниковъ успълъ разсмотръть нѣсколько альбомовъ съ видами Швейцаріи и Парижа, и эти дурно исполненныя картинки, одинаковыя во всъхъ пріемныхъ, докторскихъ и адвокатскихъ, наполнили его чувствомъ терпъливой скуки и какого-то безразличія къ себъ и къ собственному дълу, когда дверь изъ кабинета раскрылась и выпустила запоздавшаго кліента-невысокаго, толстаго мужчину, съ широкой русой бородой и маленькими сърыми глазами. Онъ еще разъ повернулся къ захлопнувшейся уже двери, точно желая сказать что-то забытое, но раздумалъ и быстро двинулся къ передней, не глядя на Толпенникова и чуть не сбивъ его.

Что хорошенькаго скажете?—спросиль патронь. Онь только что вышель изъ-за своего стола и, стоя возль, усталымъ и медленнымъ движеніемъ подносилько рту

стаканъ кръпкаго чаю. Но, повидимому, чай былъ совсъмъ холодный, потому что Алексъй Семеновичъ поморщился и такъ же медленно поставилъ стаканъ на мъсто.

- Ничего хорошаго, Алексъп Семеновичъ.
- Проиграли?—поднялъ брови патронъ.
- Нътъ, не проигралъ, но...

Словно не слыша помощника, Алексъй Семеновичъ обычнымъ движеніемъ взяль его подъ руку и сказаль:

- Пойдемте въ столовую. Нужно фортку открыть.
- Нътъ, позвольте мнъ здъсь сказать, уперся Толпенниковъ.
- -- Здѣсь? Ну, выкладывайте,—согласился патронъ и, оставивъ руку Толиенникова, опустился на диванъ. Въ своемъ короткомъ пиджачкѣ, безъ значка, онъ казался помощнику проще и добрѣе, и вызывалъ къ откровенности. Не садясь, часто поддергивая сползающія брюки, Толпенниковъ съ волненіемъ передалъ случившеся, не умолчавъ ни объ Абрамѣ Петровичѣ, ни даже о "сѣдой головѣ" Пелагеи фонъ-Брезе. Патронъ слушалъ молча, не поднимая глазъ и слегка покачивая ногой съ высокимъ старомоднымъ каблукомъ, и только при разсказъ о сѣдой головѣ улыбпулся и посмотрѣлъ на помощника добрыми, но немного насмѣшливыми глазами.
- Ну?—спросилъ онъ, когда тотъ кончилъ разсказъ, и добавилъ:—вы все равно бъгаете по комнатъ. Позвоните, голубчикъ.

Когда явилась горничная, Алексът Семеновичъ спросилъ ее, давно-ли уъхала жена, и приказалъ открыть фортки въ пріемной.

- Hy? еще разъ спросилъ онъ помощника. Дальше.
  - Думаю выйти изъ сословія, мрачно отвітилъ

Толиенниковъ. По правдъ, онъ не думалъ выходить изъ сословія, но его обидъло равнодушіе патрона и хотълось чъмъ-нибудь особенно ръзкимъ оттънить свое состояніе.

- Пустое, отвътилъ Алексъй Семеновичъ съ проблескомъ обычной усталости. Но какой гусь этотъ фонъ-Брезе, а съ виду положительный дуракъ.
  - Но въдь это...
  - Что это? Въдь судьи оправдали?
  - Оправдали, но...
- И никакихъ "но". Оправдали,—значитъ, имѣли данныя оправдать. Вы-то причемъ? Вѣдь вы не искажали показаній? Не подкупали этого приказчика или кого тамъ? А относительно того, что вамъ тамъ чтото говорили, такъ кому до этого дѣло?

Патронъ номолчалъ и продолжалъ устало и равнодушно:

— Не надо вотъ было денегъ въ руки брать. Это нехорошо. И онъ нарочно въ руку сунулъ, чтобы подешевле отдълаться. Вы мит сейчасъ деньги эти возвратите, а денька черезъ два я вамъ отдамъ, сколько стоитъ. У пасъ съ нимъ свои счеты. И не надо было о "съдой головъ" говорить, въдь объ этомъ въ дълъ ничего пътъ.

Толленниковъ покрасивлъ и мрачно отвътилъ:

- Самъ не знаю, какъ это меня дернуло. Но я быль увъренъ, что голова съдая.
- Ну, это не такъ важно, улыбнулся патронъ, хотя другой разъ будьте осторожнѣе. У васъ есть бумаги, есть свидѣтели, надъ этимъ вы и орудуйте. А отъ себя—зачѣмъ же?
  - Но въдь въ лъйствительности она виновна?
- -- Въ дъйствительности! -- нетерпъливо сказалъ Алексъй Семеновичъ. -- Откуда мы можемъ знать, что

происходить въ дъйствительности? Можеть быть, тамъ, чортъ знаетъ что, въ этой дъйствительности. И нътъ никакой дъйствительности, а есть очевидность. А другой разъ вы только съ приказчиками не разговаривайте. Вы свободны сегодня вечеромъ?

- Да, свободенъ.
- Перепишите-ка мнѣ одну копійку. А дѣйствительность оставьте, нѣтъ никакой дѣйствительности.

Толпенниковъ переписалъ копію и не одну только, а цёлыхъ три. И когда, согнувъ голову на бокъ и поджавъ губы, онъ трудолюбиво выводилъ послёднюю строку, патронъ заглянулъ черезъ плечо въ бумагу и слегка потрепалъ по плечу.

— Дъйствительность! Ахъ, чудакъ, чудакъ! На секунду выраженіе усталости исчезло съ его лица, и глаза стали мягкими, добрыми и немного печальными, какъ будто онъ снова увидълъ что-то давно забытое, хорошее и молодое.

## ДРУГЪ.

(1899)

Когда поздней ночью онъ звонилъ у своихъ дверей, первымъ звукомъ послѣ колокольчика былъ звонкій собачій лай, въ которомъ слышалась и боязнь чужого и радость, что это идетъ свой. Потомъ доносилось шлепанье галошъ и скрипъ снимаемаго крючка.

Онъ входилъ и раздъвался въ темнотъ, чувствуя недалеко отъ себя молчаливую женскую фигуру. А колъна его ласково царапали когти собаки, и горячій языкъ лизалъ застывшую руку.

- Ну, что?—спрашивалъ заспанный голосъ тономъ оффиціальнаго участія.
- Ничего. Усталь, коротко отвъчаль Владимірь Михайловичь и шель вь свою комнату. За нимь, стуча когтями по вощеному полу, шла собака и вспрыгивала на кровать. Когда свъть зажженной лампы наполняль комнату, взоръ Владиміра Михайловича встръчаль упорный взглядь черныхъ глазъ собаки. Они говорили: приди же, приласкай меня. И чтобы сдълать это желаніе болье понятнымь, собака вытягивала переднія лапы, клала на пихъ бокомъ голову, а задъ ея потъшно поднимался и хвость вертълся, какъ ручка у шарманки.
  - Другъ ты мой единственный!-говорилъ Влади-

міръ Михайловичъ и гладилъ черную, блестящую шерсть. Точно отъ полноты чувства, собака опрокидывалась на спину, скалила бълые зубы и легонько ворчала, радостная и возбужденная. А онъ вздыхалъ, ласкалъ ее и думалъ, что нътъ больше на свътъ никого, кто любилъ бы его.

Если Владиміръ Михайловичъ возвращался рано и не уставаль отъ работы, онъ садился писать, и тогда собака укладывалась комочкомъ гдѣ-нибудь на стулѣ, возлѣ него, изрѣдка открывала одинъ черный глазъ и спросонья виляла хвостомъ. И когда взволнованный процессомъ творчества, измученный муками своихъ героевъ, задыхающійся отъ наплыва мыслей и образовъ онъ ходилъ по комнатѣ и курилъ папиросу за папиросой, она слѣдила за нимъ безпокойнымъ взглядомъ и сильнѣе виляла хвостомъ.

- Будемъ мы съ тобой знамениты, Васюкъ?—спрашивалъ онъ собаку, и та утвердительно махала хвостомъ.
  - Будемъ тогда печенку ъсть, ладно?
- -- Ладно, -- отвъчала собака и сладко потягивалась: она любила печенку.

У Владиміра Михайловича часто собирались гости. Тогда его тетка, съ которой онъ жилъ, добывала у сосъдей посуду, поила чаемъ, ставя самоваръ за самоваромъ, ходила покупать водку и колбасу и тяжело вздыхала, доставая со дна кармана засаленный рубль. Въ накуренной комнатъ звучали громкіе голоса. Спорили, смъялись, говорили смъшныя и острыя вещи, жаловались на свою судьбу и завидовали другъ другу; совътовали Владиміру Михайловичу бросить литературу и заняться другимъ, болъе выгоднымъ дъломъ. Одни говорили, что ему нужно лъчиться, другіе чокались съ ними рюмками и говорили о вредъ водки для его

здоровья. Онъ такой больной, постоянно нервинчающій. Оттого у него припадки тоски, оттого онъ ищеть въ жизни невозможнаго. Всё говорили съ нимъ на "ты" и въ голосё ихъ звучало участіе, и они дружески звали его съ собой ѣхать за городъ продолжать попойку. И когда онъ, веселый, кричащій больше всёхъ и безпричинно сміющійся, уъзжаль, его провожали дві пары глазъ: сёрые глаза тетки, сердитые и упрекающіе, и черные безпокойно ласковые глаза собаки.

Онъ не помнилъ, что онъ дълалъ, когда пилъ и когда къ утру возвращался домой выпачканный въ грязи и мълу и потерявшій шляпу. Передавали ему, что во время попойки онъ оскорбляль друзей, а дома обижалъ тетку, которая плакала и говорила, что не выдержить такой жизни и удавится, и мучиль собаку за то, что она не идеть къ нему ласкаться. Когда же она, испуганная и дрожащая, скалила зубы, то биль ее ремнемъ. Наступилъ слъдующій день; всъ уже кончали свою дневную работу, а онъ просыпался больной и страдающій. Сердце неровно колотилось въ груди и замирало, наполняя его страхомъ близкой смерти, руки дрожали. За стъной, въ кухнъ, стучала тетка и звукъ ея шаговъ разносился по пустой и холодной квартиръ. Она не заговаривала съ Владиміромъ Михайловичемъ и молча подавала ему воду, суровая, непрощающая. И онь молчаль, смотръль на потолокъ, въ одно давно имъ замъченное пятнышко и думалъ. что онъ сжигаетъ свою жизнь, и никогда у него не будетъ ни славы, ни счастья. Онъ созналь себя вичтожнымъ и слабымъ и одинокимъ до ужаса. Безконечный міръ кишѣлъ движущимися людьми и не было ни одного человъка, который пришель бы къ нему и раздълиль его муки, безумно-горделивые помыслы о славъ и убійственное сознаніе ничтожества. Дрожащей, ошибающейся рукой

онъ хватался за холодный лобъ и сжималъ вѣки, но какъ ни крѣпко онъ ихъ сжималъ, слеза просачивалась и скользила по щекѣ, еще сохранившей запахъ продажныхъ поцѣлуевъ. А когда онъ опускалъ руку, она падала на другой лобъ, шерстистый и гладкій, и затуманенный слезой взглядъ встрѣчалъ черные, ласковые глаза собаки, и ухо ловило ея тихіе вздохи. И онъ шепталъ, тронутый, утѣшенный:

— Другъ, другъ мой единственный!..

Когда онъ выздоравливалъ, къ нему приходили друзья и мягко упрекали его, давали совъты и говорили о вредъ водки. А тъ изъ друзей, кого онъ оскорбилъ пьяный, переставали кланяться ему. Они понимали, что онъ не хотълъ имъ зла, но они не желали натыкаться на непріятность. Такъ въ борьбъ съ самимъ собой, неизвъстностью и одиночествомъ протекали угарныя, чадныя ночи и строго карающіе свътлые дни. И часто въ пустой квартиръ гулко отдавались шаги тетки и на кровати слышался шопотъ, похожій на вздохъ:

— Другъ, другъ мой единственный!..

И, наконець, она пришла, эта неуловимая слава, пришла нежданная, негаданная и наполнила свётомъ и жизнью пустую квартиру. Шаги тетки тонули въ тоноте дружескихъ ногъ, призракъ одиночества исчезъ и замолкъ тихій шопотъ. Исчезла и водка, этотъ зловещій спутникъ одинокихъ, и Владиміръ Михайловичъ боле не оскорблялъ ни тетки, ни друзей. Радовалась и собака. Еще звонче сталъ ея лай при позднихъ встречахъ, когда онъ, ея единственный другъ, приходилъ добрый, веселый, смеющійся, и она сама научилась смеяться; верхняя губа ея приподнималась, обнажая белые зубы и потешными складками морщился носъ. Веселая, шаловливая, она начинала играть, хва-

тала его вещи и двлалавидь, что хочеть унести ихъ, а когда онъ протягиваль руки, чтобы поймать ее, подпускала его на шагъ, и снова убъгала, и черные глаза ея искрились лукавствомъ. Иногда онъ показывалъ собакъ на тетку и кричалъ "куси", и собака съ притворнымъ гнъвомъ набрасывалась на нее, тормошила ея юбку и, задыхаясь, косилась чернымъ лукавымъ глазомъ на друга. Тонкія губы тетки кривились въ суровую улыбку, она гладила зангравшуюся собаку по блестящёй головъ и говорила:

— Умная собака, только воть супу не любить.

А по ночамъ, когда Владиміръ Михайловичъ работалъ и только дребезжаніе стеколъ отъ уличной взды нарушало тишину, собака чутко дремала возлѣ него и пробуждалась при малъйшемъ его движеніи.

- Что, братъ, печенки хочешь?—спрашивалъ онъ.
- Хочу,—угвердительно вилялъ хвостомъ Васюкъ. Ну погоди, куплю. Что, хочешь, чтобы приласкалъ? Некогда, братъ, некогда. Спи.

Каждую ночь спрашиваль онь сабаку о печенкь, но постоянно забываль купить ее, такъ какъ голова его была полна планами новыхъ твореній и мыслями о женщинь, которую онь полюбиль. Разъ только вспомниль онь о печенкь; это было вечеромь, и онь проходиль мимо мясной лавки, а подъ руку сь нимъ шла красивая женщина и плотно прижимала свой локоть къ его локтю. Онъ шутливо разсказаль ей о своей собакь, хвалиль ея умъ и понятливость. Немного рисуясь, онь передаль о томь, что были ужасныя, тяжелыя минуты, когда онъ считаль собаку единственнымь своимь другомь, и шутя разсказаль о своемь объщаніи купить другу печенки, когда будеть счастливъ... Онъ плотнье прижаль къ себь руку дъвушки.

- Художникъ!-смъясь, воскликнула она, -вы даже

камни заставите говорить; а я очень не люблю собакъ: отъ нихъ такъ легко заразиться.

Владиміръ Михайловичъ согласился, что отъ собаки легко можно заразиться, и промолчалъ о томъ, что онъ иногда цъловалъ блестящую, черную морду.

Однажды днемъ Васюкъ игралъ больше обыкновеннаго, а вечеромъ, когда Владиміръ Михайловичъ пришелъ домой, не явился встрвчать его, и тетка сказала, что собака больна. Владиміръ Михайловичъ встревожился и пошелъ въ кухню, гдв на тоненькой подстилкъ лежала собака. Носъ ея былъ сухой и горячій и глаза помутнъли. Она пошевелила хвостомъ и печально посмотръла на друга.

— Что, мальчикъ, боленъ? Бѣдный ты мой.

Хвостъ слабо шевельнулся и черные глаза стали влажными.

— Ну, лежи, лежи.

"Надо бы къ ветеринару отвезти, а мив завтра некогда. Ну, да такъ пройдетъ",—думалъ Владиміръ Михайловичъ и забылъ о собакв, мечтая о томъ счастъв, какое можетъ дать ему красивая дввушка. Весь слвдующій день его не было дома, а когда онъ вернулся, рука его долго шарила, ища звонка, а найдя, долго недоумвала, что двлать съ этой деревяшкой.

— Ахъ да, нужно же позвонить,—засмѣялся онъ и запѣлъ: отворите!

Одиноко звякнуль колокольчикъ, зашленали галоши и скрипнулъ снимаемый крючекъ. Напъвая, Владиміръ Михайловичъ прошелъ въ комнату, долго ходилъ, прежде чъмъ догадался, что ему нужно зажечь лампу, потомъ раздълся, но еще долго держалъ въ рукахъ снятый сапогъ и смотрълъ на него такъ, какъ будто это была красивая дъвушка, которая сегодня сказала такъ просто и сердечно: да, я люблю васъ. И улегшись,

онъ все продолжалъ видъть ея живое лицо, пока рядомъ съ нимъ не встала черная, блестящая морда собаки, и острой болью кольнулъ въ сердце вопросъ: а гдъ же Васюкъ? Стало совъстно, что онъ забылъ больную собаку, но не особенно: въдь не разъ Васюкъ бывалъ боленъ, и ничего же. А завтра можно пригласить ветеринара. Но во всякомъ случаъ не нужно думать о собакъ и о своей неблагодарности—это ничему не помогаетъ и уменьшаетъ счастье.

Съ утра собакъ стало худо. Ее мучила рвота, и, восинтанная въ правилахъ строгаго приличія, она тяжело поднималась съ подстилки и шла на дворъ, шатаясь, какъ пьяная. Ея маленькое черное тъло лоснилось, какъ всегда, но голова была безсильно опущена и посъръвшіе глаза смотръли печально и удивленно. Сперва Владиміръ Михайловичъ самъ вмъстъ съ теткой раскрывалъ собакъ ротъ съ пожелтъвшими деснами, и вливалъ лъкарство, но она такъ мучилась, такъ страдала, что ему стало тяжело смотръть на нее, и онъ оставилъ ее на попеченіе тетки. Когда же изъ-за стъны доходилъ до него слабый безпомощный стонъ, онъ закрывалъ уши руками и удивлялся, до чего онъ любить эту бъдную собаку.

Вечеромъ онъ ушелъ. Когда передъ тѣмъ онъ заглянулъ въ кухню, тетка стояла на колѣняхъ и гладила сухой рукой шелковистую горячую голову. Вытянувъ ноги, какъ палки, собака лежала тяжелой и неподвижной, и только наклонившись къ самой ея мордѣ, можно было услышать тихіе и частые стоны. Глаза ея, совсѣмъ посѣрѣвшіе, устремились на вошедшаго, и когда онъ осторожно провелъ по лбу, стоны сдѣлались явственнѣе и жалобнѣе.

— Что, братъ, плохо дѣло? Ну, погоди, выздоровѣешь, печенки куплю.

— Супъ всть заставлю, — шутливо пригрозила тетка. Собака закрыла глаза, и Владиміръ Михайловичь, ободренный шуткой, торопливо ушель и на улицѣ наняль извозчика, такъ какъ боялся опоздать на свиданіе съ Натальей Лаврентьевной.

Въ эту осеннюю ночь такъ свѣжъ и чистъ быль воздухъ, такъ много звѣздъ сверкало на темномъ небѣ. Онѣ падали, оставляя огнистый слѣдъ, и вспыхивали, и голубымъ свѣтомъ озаряли краснвое женское лицо, и отражались въ темныхъ глазахъ—точно свѣтлякъ появлялся на днѣ чернаго глубокаго колодца. И жадныя губы беззвучно цѣловали и глаза эти, и свѣжія, какъ воздухъ ночи, уста, и холодную щеку. Ликующіе, дрожащіе любовью голоса, сплетаясь, шептали о радости и жизни.

Подъвзжая къ дому, Владиміръ Михайловичъ вспомнилъ о собакъ, и грудь его запыла отъ темнаго предчувствія. Когда тетка отворила дверь, онъ спросиль:

- Ну, что Васюкъ?
- Околёль. Черезь чась послё твоего ухода.

Околъвшую собаку уже вынесли и выбросили кудато, и подстилка была убрана. Но Владиміръ Михайловичъ и не хотълъ видъть трупа: это было бы слишкомъ тяжелое зрълище. Когда онъ улегся спать и въ пустой квартиръ замокли всъ звуки, онъ заплакалъ сдерживая себя. Безмолвно кривились его губы и слезы набухали подъ закрытыми въками и быстро скатывались на грудь. Ему было стыдно, что онъ цъловалъ женщину въ тотъ мигъ, когда здъсь, на полу, одиноко умиралъ тотъ, кто былъ его другомъ. И онъ боялся, что подумаетъ тетка о немъ, серьезномъ человъкъ, услышавъ, что онъ плачетъ о собакъ.

Съ тъхъ поръ прошло много времени. Слава ушла отъ Владиміра Михайловича такъ же, какъ и пришлазагадочная и жестокая. Онь обмануль надежды, которыя возлагали на него, и всф были злы на этоть обманъ и выместили его негодующими рфчами и холодными насмъшками. А потомъ, точно крышка гроба, опустилось на него мертвое, тяжелое забвеніе.

Женщина покинула его: она также считала себя обманутой.

Проходили угарныя, чадныя ночи и безпощадно карающіе бѣтые дни, и часто, чаще, чѣмъ прежде гулко раздавались въ пустой квартирѣ шаги тетки, а онъ лежалъ на своей кровати, смотрѣлъ въ знакомое пятнышко на потолкѣ и шепталъ:

— Другъ, другъ мой единственный...

И безсильно падала на пустое мъсто дрожащая рука.

## мелькомъ.

(1899)

По одному непріятному и скучному ділу я быль вызванъ изъ Москвы и освободился только къ десяти часамъ вечера, развинченный и злой. Другого дъла у меня не было, но я торопливо шелъ на станцію, по привычкъ человъка, у котораго лежитъ въ боковомъ карманъ записная книжка, а въ ней противъ каждаго дня отмъчены десятки мъстъ, куда нужно поспъть, и ругаль, ругаль... право, не знаю, кого. Весь свъть ругаль: и тыхь, кто вызваль меня по этому глупому дылу, и себя за то, что повхаль, и собакь, существование которыхъ въ этой мъстности я предполагалъ, и дождливое лъто, и ночной мракъ, который уже царилъ всюду, особенно сгущаясь въ узенькихъ путаныхъ переулкахъ, пролегавшихъ между дачами. По серединъ еще свътлъла дорога, но по краямъ, гдъ подъ тънью высокихъ деревьевь проходила ившеходная тропинка, было такъ же черно, какъ и у меня на душъ. По времени свъту полагалось больше, -- это происходило въ последнихъ числахъ іюня, -- но передъ тёмъ только что пронеслась сильная гроза, съпроливнымъ дождемъ и вътромъ, и посъръвшія тучи еще не успъли разсъяться, точно имъ было такъ же трудно и непріятно двигаться въ тепломъ и сы-

ромъ воздухф, какъ и миф. Минутами онф спохватывались, какъ пьяница, который вспоминаетъ, что въ одномъ изъ кармановъ у него еще завалялся непропитый пятакъ, и возвратившись, съ трескомъ бросаеть его удивленному цёловальнику, - и посылали на землю редкія, запоздавшія капли, льниво ударявшіяся о листья и траву и наполнявшія окрестность тихимъ шуршаніемъ. Деревья не шевелились, и только, когда я съ усиленной бранью налеталь плечомь на темный стволь сосны или задъваль ногой кустарникъ, на меня сыпались частыя, теплыя брызги. У меня уже начинала являться пріятная догадка о томъ, что вмѣсто станцін я иду къ чорту на кулички, когда деревья внезапно раздвинулись, точно провалились, и въ нъсколькихъ шагахъ на просвътлъвшемъ пространствъ тускло блеснули мокрые рельсы.

Маленькая, крытая платформочка, задавленная окружающимъ лъсомъ и ежеминутно пугаемая громыхающими поъздами, робко прижималась къ землъ. На ней не было даже кассы, и въ продолжительной агоніи кончался холостякъ-фонарь, не только не разсъивая тьмы, но скоръе увеличивая ее. На стънъ висъло большое, оборванное по краямъ и никогда не читаемое росписаніе какихъ-то повздовъ съ мудреными линіями и червыми ободами, авъ углу стояла единственная лавка, на которую я плотно усълся. До поъзда оставалось еще болье часу, и я приготовился теривливо ждать. Для этихъ случаевъ у меня всегда бывала принасена газета или книга, но читать было темно да и не хотвлось. Эти чужіе и выдуманные люди, о которыхъ будеть говорить газета или книга, давно уже вызывали во мит скуку и зависть. Что мит до того, что тамъ гдъ-то гремять витін, кипить жизнью шумная толпа и крики побъды, и яростные вопли побъжденныхъ поднимаются къ небу, -когда вокругъ меня спить самый воздухъ, и самъ я кисну и буду киснуть въ этой неподвижной духотъ? А въ книгъ еще хуже: сочиненные Петры будутъ любить и цъловать выдуманныхъ Марій, во имя проклятаго реализма порокъ будетъ торжествовать, а слюнявая добродътель ныть и киснуть, киснуть и ныть! Да и не все ли равно, быстро и медленно пройдетъ время? За этимъ часомъ пройдутъ другіе, и ихъ тоже нужно будетъ убивать, —такъ пусть они умираютъ сами, а я буду только подсчитывать трупы.

Увлеченный нытьемъ, я не замътиль, какъ на платформу вышли изъ разныхъ концовъ двъ пары. Первую составляли два подвыпившіе господина. Одинъ изъ нихъ быль высокій худощавый старикъ съ желтымъ лицомъ и реденькой седой бороденкой, отъ тонкаго и широкаго рта спускавшейся клочками на гусиную шею. Изъ-подъ котелка, оставлявшаго въ тъни верхнюю часть лица, спускался тонкій и длинный нось, на концв острый, какъ у покойника. Спутникъ его обладалъ широкимъ и краснымъ лицомъ, подобнымъ ломтю зрълаго арбуза, при чемъ роль зеренъ выполняли маленькіе черные глазки, -- стриженой круглой головой, на которой торчаль бёлый картузъ. Надъ пухлыми губами чернъли маленькіе усики. Отъ всей его молодой, толстой фигурки несло нестерпимымъ блаженствомъ и какой-то обидной кротостью. Старикъ усълся возлъ меня и заговорилъ высокимъ хриплымъ фальцетомъ, которому онъ старался придать язвительность и иронію.

- Будьте, Семенъ Семенычъ, солидарнъе! Васъ немного намочило, вы и починяйтесь.
- Но чъмъ же я починюсь, Василь Игнатычъ? Буфета нътъ.
  - Это дъло ваше. Толците и отверзится.
  - Чему отверзаться-то? Стъна.

Молодой человъкъ въ подтверждение своихъ словъ стукнулъ кулакомъ въ тонкую стъну, издавшую звукъ пустого пространства, и откачнулся назадъ, но сдълавъ при этомъ такой видъ, какъ будто ему давно уже хотълось откачнуться, и онъ только пользуется удобнымъ случаемъ.

- Но зачъмъ утруждаете вы меня вашими гнусными воплями? — спросилъ старикъ. Весь онъ былъ преисполненъ въжливости, ироніп и яда, которымъ особую силу придавали частые знаки препинанія.
- Сердце у меня золотое, съ хорошимъ человъкомъ поговорить желательно. Покуримъ, старина?
- Это дъло ваше. А только я не старина, я Василь Игнатычъ, и всякой пьяной свиньъ не товарищъ.
  - -- А сами-то вы не пили?-оскорбился тотъ.
  - Это дъло наше.

Другая пара стояла между тъмъ въ неръшимости.

- Уйдемъ, Саша, тутъ пьяные.
- Ничего, они тихіе, сядемъ вонъ тамъ въ углу.

Высокая женская фигура въ съромъ клеенчатомъ плащъ медленно тронулась, и за ней послъдовалъ тотъ, кого называли Саша. Когда они проходили мимо фонаря, свътъ упалъ на красивое женское лицо и юношу съ длинными волосами и въ синей съ косымъ воротомъ рубашкъ. Видомъ своимъ онъ напоминалъ ителлигентнаго рабочаго или студента, снявшаго форму. Дъвушка держалась спокойно и говорила ръшительно, мало придавая значенія тому, что ее услышатъ. Голосъ ея—чистый и мягкій—звучалъ лаской въ самомъ простомъ словъ. Такія женщины, съ ласковымъ голосомъ и увъренными движеніями, особенно хорошо ухаживаютъ за больными.

Разостлавъ на полу клеенчатый плащъ, они усълись, тъсно прижавшись другъ къ другу, и изъза лохматой головы на плечо легла тонкая бълая рука.

Милый, тебъ не холодно?

— Конечно, нътъ, — отвътилъ онъ съ тъмъ пренебреженіемъ, какимъ мужчины отвъчаютъ на женскую заботливость.

А мит уже становилось холодно, и я зябко ежился въ своемъ одинокомъ и жесткомъ углу.

- А какъ насъ знатно вымочило!—продолжаль тотъ же ласковый голосъ со скрытымъ смъхомъ.—И какъ страшно въ лъсу, когда гроза.
- Ну, что тамъ страшнаго. Скорѣе пріятно. А твои тамъ, дома не будутъ безпокоиться о тебъ? Запронала невъдомо куда.
- Пусть ихъ,—отвътила дъвушка и счастливо разсмъялась, но тотчасъ же перешла въ серьезный тонъ: а странно, правда, что время такъ долго тянется безъ тебя. Ты когда былъ здъсь?
  - Вчера.
- Вчера?—протянулъ голосъ.—И то въдь вчера. Вотъ потъха-то! Я думала, что они врутъ.
  - Кто они?
  - Да вотъ тъ, что романы пишутъ.
- Кстати, кончилаты Каутскаго? У меня просили его. Отвъта я не слыхалъ. Уже давно доносился издали гулъ, тихій и неотзывчивый въ съромъ воздухъ, поглощающемъ звуки. То шелъ не то нассажирскій, не то курьерскій поъздъ, не останавливающійся на этой платформъ. Постепенно гулъ возрасталъ, и изъ-за стъны, закрывавшей отъ меня правую сторону пути, внезанно вырвалось черное и огненное чудовище и промчалось, какъ вихрь, съ громомъ и лязгомъ таща за собой тяжелые вагоны. Освъщенныя окна сливались въ одну блестящую полосу съ мелькающими силуэтами головъ.

Съ низенькой платформы, стоявшей почти на одномъ уровнъ съ рельсами, видно было, какъ торопливо вертятся колеса, кажущіяся легкими и прозрачными.

Наступила минутная тишина, нарушенная блаженнымъ молодымъ человъкомъ, въ которомъ этотъ пронесшійся ураганъ, видимо, пробудилъ новыя силы. Отчаянно фальшивымъ голосомъ онъ запълъ:

- Блъдный мъсяцъ... плыветъ надъ ръ-ъ-кою...
- Врешь—комментироваль старикъ съ язвительпостью.—Возьмите глаза въ зубы, и вы увидите тучи.

...Все въ а-объятьяхъ... ночной тишины...

- -- Хороша тишина! Оретъ, какъ пришпандоренный. ...Ничего мив на свътъ... не надо-о-о...
- И опять врете. Пол-бутылки надо.

...Только видъть... тебя одное!..

- -- Эту рожу-то? Тьфу,—съ омеравніемъ плюнулъ старикъ.
- Послушайте! Почему вы говорите, что у нея рожа? Вы сами видъли, какая у нея прелестная личность.
- Къ вашей пьяной рожѣ никакая личность не подойдетъ.

Молодой человѣкъ задумался и рѣшительно произнесъ:

- За эти слева я больше съ вами не знакомъ.
- Дѣло ваше.

Съ другой стороны слышалось:

- Ты понюхай, Саша, какъ хорошо пахнетъ: листьями и еще чъмъ-то.
  - Да ужъ нюхалъ.
  - Нътъ, пожалуйста, еще.

Юноша съ шинъніемъ потянулъ воздухъ, и оба разсмъялись. На блаженнаго молодого человъка молчаніе дъйствовало удручающе и онъ заговорилъ, подражая проническому тону старика.

- А вотъ съ какимъ повздомъ мы повдемъ?
- Ни съ какимъ.
- H-ну?—изумился молодой человъкъ и икнулъ.— Почему же это, хотълъ бы я знать?
- Потому что не пустятъ. Скажутъ: куда, пьяная морда, лъзешь?
- Это кто же морда то? Скажемъ: двъ пьяныя морды.
  - Да еще по шев накладуть, ехидничаль старикъ
  - 0?
  - Да протоколъ составять.
- 0?—все больше таращились глаза молодого человвка.
- Да въ титы. Посиди, голубчикъ, охладись, а то чувствителенъ больно.

Молодой человъкъ задумался и торжественно провозгласилъ:

— Я съ вами больше не знакомъ, потому что вы вредный человъкъ.

Несмотря на то, что эту торжественную формулу онъ заключиль новой звучной икотой, видно было, что онъ огорчился и весь какъ-то потускнъль, точно по его блаженству прошлись сапожной щеткой. Я поняль теперь и причину этого омраченнаго блаженства: оно было тъмъ отпечаткомъ, который накладывають на человъка ласки и поцълуи любимой женщины. Но на что злился старикъ?

- Какой мрачный господинъ,—сказала шопотомъ дъвушка, очевидно намекая на меня. Мнъ было пріятно, что я замъченъ и что, главное, замъчена моя мрачность. Пусть хоть пожалъють меня, эти милые люди,—меня, у котораго нъть любви.
  - Бабушку схорониль,—предположиль юноша. Это предположение было поразительно глупо. Кто

бываеть такъ мраченъ, схоронивъ бабушку, и почему именно бабушку, а не дъдушку?

— Ха-ха-ха!—звонко раземъялась дъвушка, но сейчасъ же, съ своимъ обычнымъ переходомъ къ милой серьезности, добавила раскаивающимся голосомъ: — быть можетъ, онъ боленъ, а мы смъемся.

Это была эпитафія, съ которой меня снова опустиливъ пучину небытія, откуда извлекли на одну минуту, чтобы моя мрачность ярче сттънила ихъ свътлое счастье. И снова повелся ими серьезный, дфловой разговорь о заграницф, о медицинскомъ институтъ, о правилахъ пріема въ него, о книжкахъ прочитанныхъ и тъхъ, которыя нужно еще прочесть, а въ этотъ разговоръ врывалась шаловливымъ лучомъ милая и пустая болтовня, легкая и красивая, словно бълая пъна на поверхности золотистаго крфпкаго вина. Весь міръ казался имъ пустякомъ, и каждый пустякь быль целымь міромь. Чувствовалось то благоговъйное вниманіе, съ которымъ эта высокая, красивая дъвушка ловила каждое слово, которое скупо, какъ драгоцвиность, выпускаль длинноволосый юноша. Какимъ благодарнымъ смъхомъ отвъчала она, когда это слово оказывалось умнымъ и острымъ! Разсыпь сейчасъ передъ ней Цицеронъ всв самые пышные цвъты изъ своего неувядаемаго вънка, блистай передъ ней Гейне всъми перлами язвительной насмъшки и мистически-страстной нъжности, плачь и хмурься передъ нею Данте, соберись туть, наконець, всв великіе умы и сердца и положи къ ногамъ ея дары свои, она, эта красивая дъвушка, не обернула бы къ нимъ головы и жаднымъ ухомъ ловила бы каждое слово длинноволосаго молодца. Она смъется, счастливая и благодарная, точно все это: и ея возлюбленный, и смѣшные пьяные, и сумрачный господинь, схоронившій свою бабушку, существують лишь для полноты ея счастья. Мы не были живые люди,—мы были лишь тъни, картинки.

— Какъ быстро бъжить время!-жаловалась она.

А я не зналъ, какъ убить это время!

— Можетъ быть, мои часы спъшатъ?

Маленькіе золотые часики сблизились съ большими серебряными часами и объ головы склонились надъними. Но, въроятно, кромъ часовъ, сблизилось чтонибудь другое, потому что слищкомъ уже долго не опредълялся настоящій часъ.

- Кажется, върно? смущенно сказалъ женскій голосъ съ легкой дрожью.
  - Върно!-авторитетно сказалъ юноша.

Върно! Какъ слъпы эти счастливые люди. Невърно! Тысячу разъ невърно! И проклянете тотъ день, когда ваши часы пойдутъ такъ правильно, что ни въ одной убитой минутъ вы не ошибетесь, и маленькіе часики далеко отъ васъ будутъ отбивать такія же грустныя и пустыя секунды.

Тучи уже проходили, и на западѣ, прямо противъ платформы свѣтлой полосой проступило чистое, прозрачное небо. На немъ чернѣли, какъ вырѣзанные изъ плотной бумаги, силуэты разбросанныхъ деревьевъ. Свѣжѣе и суше сталъ воздухъ, на ближайшей дачѣ глухо зарокоталъ рояль, и къ нему присоединились согласные стройные голоса.

— Пойдемъ слушать, —быстро вскочила дъвушка и потащила за рукавъ неуклюже поднимавшагося юношу.

Пойдемъ и мы,—пусть до конца оттаиваетъ застывшее сердце. Пъли хорошо, какъ ръдко поютъ на дачахъ, гдъ каждая безголосая собака считаетъ себя обязанной къ вытью. И пъсня была грустная и нъжная. Мягкій, красивый баритонъ гудълъ сдержанно и взволнованно, какъ будто подтверждая то, на что страстно жаловался высокій и звучный теноръ. А жаловался онъ на то, что дни и ночи думаеть все о ней одной.

- Объ одной тебъ думу думаю, плакалъ теноръ.
- Думу думаю, грустно соглашался баритонъ.
- Объодной тебѣ, моя душечка, звенълъ слезами теноръ.
  - Душечка, -- мягко подтверждалъ баритонъ.
- II умру я, жизнь проклинаючи, объ одной тебъ вспоминаючи...
- Объ одной тебъ вспоминаючи, съ глубокою тоскою подтвердилъ баритонъ. и все стихло. Впереди меня молча и неподвижно стояла парочка, и когда пъсня кончилась, разомъ вздохнула—и поцъловалась. И отправился на платформу, откуда послышался отчаянно-фальшивый голосъ, беззаботно обходившійся всего двумя нотами, одинаково скверными: простымъ крикомъ и дикимъ крикомъ. Молодой человъкъ съ золотымъ сердцемъ не могъ остаться нечувствительнымъ къ любовному призыву и отвъчалъ, какъ умѣлъ...

Ничего мнѣ... на свѣтѣ... не нада-а... Только видѣть тебя одное...

— Врете! — шипълъ старикъ, пытаясь заглушить кричащаго.—Дубину хорошую надо!

Бъдный старикъ! Теперь я понялъ почему онъ такъ злился. Онъ завидовалъ, какъ и я.

Потрещалъ звонокъ, извъщающій о выходъ поъзда, и вскоръ послышался тотъ же ровный и тихій гуль. Сейчась онъ унесеть меня отсюда, и навъки исчезнеть для меня эта низенькая и темная платформочка, и только въ воспоминаніи увижу я милую дъвушку. Какъ песчинка, скроется она отъ меня въ моръ человъческихъ жизней и пойдетъ своею далекой дорогой къ жизни и счастью.

Снова изъ-за стъны вырвалось черное чудовище и, сдержанное могучей властью, остановило, вздрагивая, свой стремительный бъгъ. Находя другъ на друга и треща и скрипя тормазами, проползали вагоны и остановились съ глухимъ стукомъ. Стало тихо, и только шипълъ воздухъ, выходя изъ тормазныхъ трубъ.

Пьяныхъ, дъйствительно, на поъздъ не пустили, и старикъ съ злорадствомъ говорилъ:

- Что? Пофхали?
- -- Нич-чево. Поъдемъ на слъдующемъ.
- А на слъдующемъ и по шеъ накладутъ.

Я стояль на площадкъ вагона, противь длинноволосаго юноши, пристально смотръвшаго на высокую, стройную фигуру, такимъ же продолжительнымъ взглядомъ впившуюся въ него. Поъздъ дернулся и плавно пошелъ, отрывисто стуча и покачиваясь на стыкахъ рельсъ.

- До свиданья, Саша, сказала дъвушка.
- До свиданья, отвътилъ онъ.
- Прощай, —тихо молвиль я, склоняя голову.
- До завтра!—донеслось уже издали и глухо.
- До завтра, —крикнулъ онъ.

"Навсегда",—отвътилъ тихо я. "Навсегда"—прощались со мной черные силуэты деревьевъ и убъгали назадъ. "Навсегда",—сказала платформа и скрылась за поворотомъ.

Однако, пойти въ вагонъ, а то становится холодновато: мечты мечтами, а насморкъ насморкомъ. Да заглянуть заодно и въ записную книжку: куда и куда бъжать мнъ завтра спозаранку.

## правдникъ.

(1900)

T.

Съ половины Великаго поста Качеринъ почувствоваль, что въ мірь надвигается что-то крупное, свѣтлое и немного страшное въ своей торжественности. И хотя оно называлось старымъ словомъ "праздникъ" и для встхъ другихъ было просто и понятно, Качерину оно казалось новымъ и загадочнымъ, -- такимъ новымъ, какъ сознаніе своего существованія, и такимъ же загадочпымъ, какъ это существованіе. Послідній годъ Качерину казалось, что онъ только-что появился на свътъ, и все удивляло и интересовало его, а то, что было раньше и называлось дътствомъ, представлялось смъшнымъ, веселымъ и къ нему не относящимся. И онъ помниль моменть, когда началась его жизнь. Онъ сидъль въ своемъ классъ на урокъ и скучалъ, когда внезапно, съ удивительной ясностью, ему представилось, что вотъ этотъ, который сидить на третьей партв, подперъ голову рукой и скучаеть, есть онъ, Николай Николаевичъ Качеринъ, а вотъ эти-тотъ, что бормочетъ съ каоедры, и другіе, разсфвшіеся по партамъ, --совсъмъ иные люди и иной міръ. Представленіе это было ярко, сильно и мгновенно, и потомъ Качеринъ уже не могъ вызвать его, хотя часто дѣлалъ къ тому попытки: садился въ ту же позу и подпиралъ голову рукой. Но зато все стало новымъ и полнымъ загадочности: товарищи, отецъ и мать, книги и онъ самъ.

Качеринъ былъ ученикомъ седьмого класса гимназіи и одни изъ знакомыхъ, старые, называли его просто "Коля", а всё новые звали Николаемъ Николаевичемъ. Онъ былъ невысокаго роста, тоненькій и хрупкій, съ очень нёжнымъ цвётомъ лица и вёжливой тихой рёчью. Усики у него только-что стали пробиваться и темной пушистой дорожкой проходили надъ свёжими и красными губами. Родители Качерина были очень богатые люди и имёли на одной изъ дальнихъ улицъ города свой домъ, при которомъ находился большой, въ двё десятины садъ, громадные сараи и конюшни, и даже колодецъ, изъ котораго вся почти улица брала для себя воду.

У Качерина было много пріятелей и одинъ другъ, Меркуловъ, котораго онъ любилъ горячо и нъжно и каждую недвлю отсылаль ему по большому, мелко-исписанному письму. Меркуловъ былъ старше его двумя годами и съ осени находился въ юнкерскомъ училищъ, откуда прівзжаль только на большіе праздники. Имвлись у Качерина и враги, по крайней мъръ — одинъ врагъ-реалистъ, съ которымъ онъ однажды подрался еще маленькій, и съ тэхъ поръ косился при встрэчэ и одно время даже носиль въ карманъ кастеть. Была у него и возлюбленная-молодая, красивая и веселая горничная, однажды овладъвшая имъ. Въ гимназіи, дома и у знакомыхъ всв считали его очень счастливымъ юношей, но самъ онъ находилъ себя глубоко несчастнымъ. И причиной несчастія было то, что онъ сознаваль себя порочнымъ и лживымъ, а жизнь свою никому и ни на что не нужной. И много неразръщимыхъ вопросовъ приходило ему въ голову и выталкивало оттуда латынь и математику: нужно-ли ему жить и зачѣмъ? Какъ сдѣлать, чтобы быть довольнымъ собой и чтобы всѣ любили его? За послѣднюю учебную четверть онъ получилъ двѣ двойки и это грозило ему оставленіемъ въ классѣ на другой годъ. И то, что онъ такъ плохо учился и скрывалъ это отъ родителей, которые съ своей стороны добродушно хвалили его, дѣлало его окончательно негоднымъ въ его глазахъ. А если бы еще всѣ, хвалившіе его, знали, гдѣ онъ бываеть съ товарищами и что онъ дѣлаетъ тамъ!

И надвигавшееся на міръ что-то крупное, свътлое и немного страшное, называвшееся старымъ именемъ "праздникъ", какъ будто несло съ собой и отвътъ. И Качеринъ думалъ, что не можетъ быть печальнымъ этотъ отвътъ и что обязательно явится иъкто и скажетъ, какъ нужно жить и для чего нужно жить. Будетъ-ли это Меркуловъ, который пріъдетъ къ Святой, или кто-нибудь другой, а, можетъ быть, даже и не ктонибудь, а что-нибудь—Качеринъ не зналъ. Но онъ ждалъ.

И праздникъ наступилъ.

## Π.

Праздничное и новое началось съ первыхъ дней Страстной недъли, но Качеринъ не сразу почувствоваль его. Онь ходилъ въ гимназическую церковь, видъль тамъ товарищей и учителей и все это было будничное и старое. Надзиратель, носившій странное названіе Глиста, поймаль его, когда онъ курилъ, и хотълъ жаловаться инспектору. Все было скучно и съро, и всъ тица казались тусклыми и на нихъ не было видно того, что замъчалось рапьше, —того же ожиданія какой-

то необычной радости, какъ и у него. Быть можеть, на всѣхъ вліяла дурная погода: на вербное воскресенье шель снѣгь, а потомъ три дня стояли холодъ и слякоть и нельзя было открыть ни одного окна. Но все же въ воздухѣ носилось что-то раздражающее. На улицахъ экипажей и людей стало больше, чѣмъ всегда, и двигались они быстрѣе и говорили громче, и всѣ обязательно толковали не о текущемъ днѣ, а о томъ, что они будутъ дѣлать тогда, на праздникахъ. Настоящее точно провалилось куда-то и люди думали объ одномъ будущемъ.

И когда въ пятницу появилось солнце и сразу нагрвло и подсущило землю, надвигающійся праздникъ овладълъ всъмъ живущимъ и Качеринъ почувствовалъ его во всемъ. Но это все было только ожиданіемъ, и раздражало, и мучало. Качеринъ пошелъ въ конюшню,-тамъ кучеръ и дворникъ мыли экипажи и чистили лошадей, и были злы и неразговорчивы. Онъ нъсколько разъ заглядывать на кухню-тамъ происходило что-то необыкновенное. И всегда въ будни Качерины ъли очень много и хорошо, но теперь все готовили и готовили, и ни до чего изъ приготовляемаго нельзя было касаться, такъ какъ оно предназначалось для праздника. И мать, и отецъ увзжали на старенькой пролегкъ и привозили все новые кульки, и опять уважали, и по всему дому разносили раздражающій, необычный запахъ ванили, свъжаго тъста и яицъ. Всюду передъ иконами горфли лампадки, и нянька ругалась съ маленькими дътьми и не пускала ихъ въ залъ и гостиную, гдв полы были начищены и уже все убрано. Завтрака совсемъ не было, а обедъ подали такой плохой, какъ будто всть теперь совсвиъ было не нужно. Горничная Даша столкнулась съ Качеринымъ въ буфетной, когда тамъ никого не было, и хотя поцъловала его, но быстро и небрежно. Волосы у нея были не причесаны и отъ голыхъ рукъ шелъ тотъ же раздражающій запахъ ванили.

- Выйди въ садъ, —сказалъ Качеринъ.
- II пи-ни-ни! --замотала головой Даша.—Вотъ! -растопырила она руки, показывая, сколько у нея дъла.

Качеринъ вышелъ въ садъ, и садъ показался ему полнымъ того же страстнаго ожиданія. Около террасы дорожки были уже вычищены и посынаны желтымъ нескомъ, но дальше въ глубинъ сада, было сыро и запущено, какъ это бываетъ послф зимы. На дорожкахъ лежаль, придипая къ земль, прошлогодній листь, темный и промоченный насквозь; въ углахъ у заборовъ бълълъ поздреватый снъгъ и изъ-подъ него сочились струйки воды, чистой и прозрачной, какъ слеза. Мъстами темнозелеными иучками сидфла молодая крапива и недалеко отъ нея выглядываль на свъть остренькій стебелекъ травы, одинокій и пугливый. Награтыя солицемъ скамейки жгли руку, а весь неподвижный воздухъ казался до густоты насыщеннымъ солнечнымъ тепломъ, ароматомъ земли и невидимой молодой зелени. Радостно и тихо было въ саду, и отчетливо доносилось съ улицы сприпаніе ворота, подвимающаго изъ колодца бадью. Но Качеринъ не могъ наслаждаться этимъ покоемъ, и ему назалось, что сейчасъ и нельзя дълать этого, а нужно ждать того, что называется "праздникомъ". И онъ переходиль отъ одной скамейки къ другой, присаживался ненадолго и снова шель. Такъ онъ обощелъ весь саль, чего-то ожидая и ища, опять побыль въ конюшняхъ и нъсколько разъ выглянулъ на улицу, точно праздникъ долженъ былъ притти именно оттуда. II до поздней ночи онъ ходилъ по дому и по двору и всвыть мышаль, и встхъ молча допрашиваль: скоро ли, наконецъ, придетъ онъ, вашъ праздникъ?

Въ субботу днемъ мать сказала ему:

— Прівхаль твой Меркуловь, сейчась видели его на Московской. Об'вщаль вечеромь притти.

Качеринъ вспыхнулъ и улыбнулся.

— И я рада,—отвътила на его улыбку мать.—Скучать и мъщаться не будешь.

Все кругомъ стало теперь ясно и понятно для Качерина и онъ терпъливо сталъ ожидать, зная, кого онъ теперь ждетъ: Меркулова. Онъ думалъ о томъ, что онъ будетъ разсказывать своему другу, и ему чудилось, что одного простого разсказа достаточно для того, чтобы распутать и разръшить узелъ, въ который завязалась его жизнь и который минуту тому назадъ представлялся неразръшимымъ. И онъ сдълалъ приготовленія для пріема Меркулова: добылъ черезъ Дашу бутылку краснаго вина и двъ рюмки и все это поставилъ на окнъ въ своей комнатъ. Въ эту минуту онъ забылъ, что однимъ изъ пороковъ, внушавшихъ ему отвращеніе къ себъ, была пріобрътенная въ этомъ году привычка къ вину.

Наступаль вечерь и большой домъ началь успокаиваться. Рѣже хлопала дверь изъ кухни и умолкли въ дѣтской ворчливые звуки нянькиныхъ нотацій и звонкіе голоса дѣтей. Качеринъ прошелся по чистымъ и торжественно молчаливымъ комнатамъ, сумеречно освѣщеннымъ вздрагивающимъ огнемъ лампадъ. Бѣлыя кисейныя занавѣси у оконъ также, казалось, вздрагивали, и было все немного и страшно, и весело, полно тихаго и свѣтлаго ожиданія,—такъ, какъ и должно быть въ такой большой и хорошій праздникъ.

Сейчасъ придетъ Меркуловъ. Что-нибудь задержало его.

Тихо было на дворѣ и, въ саду, куда прошелся Качеринъ. Въ конюшнѣ громко стукнула копытомъ лошадь, и онъ вздрогнуль отъ этого звука и подумаль: сейчасъ придетъ Меркуловъ. У раскрытыхъ дверей сарая горълъ фонарь и кучеръ Евменъ мазалъ чъмъ-то свои сапоги.

— Скоро и къ утрени, а?—ласково спросилъ онъ, узнавъ барчука въ смутно темнъвшей тоненькой фигуркъ и добродушно подмигнулъ:—а Дашку съ куличами уже услали!

Онъ зналъ о любви Качерина къ Дашъ, какъ знали это и всъ въ домъ, кромъ родителей, и покровительствовалъ ей.

Почему же не идетъ Меркуловъ?

Еще разъ Качеринъ прошелся по всъмъ мъстамъ, гдь онь уже быль въ этоть вечерь и, стыдясь самого себя, отправился къ калиткъ. Онъ былъ увъренъ, что когда откроетъ ее и выглянеть на улицу, увидить подходящаго Меркулова и услышить его милый голось: "Здравствуй, Коля". Осторожно, медленно Качеринъ открыль скрипнувшую калитку, выглянуль, потомъ вышель на улицу и съль на холодныя ступени каменнаго крыльца. Безлюдно и тихо было на улицъ. Издалека послышался звукъ экипажа и Качеринъ приподнялся. Ближе. Всъми своими желъзными частями забренчала разбитая пролетка, и уже по одному звуку онъ догадался, что это возвращался одинъ, безъ свдока, запоздавшій извозчикъ. Слышно стало, какъ ухають колеса въ промытыхъ водой колдобинахъ дороги и расплескивается подъ конытами жидкая грязьи вновь настала глубокая тишина апръльской темной ночи. Долго еще сидълъ Качеринъ и много разъ обманывался, думая, что вотъ, наконецъ, идетъ Меркуловъ.

Не пришелъ Меркуловъ.

Словами не могъ опредълить Качеринъ того чувства, которое охватило его, когда онъ, нахолодавшійся.

вернулся въ свою чистую и свътлую комнату. Онъ задыхался отъ гнъва, тоски и слезъ, комкомъ собравшихся въ горлъ. Онъ мысленно произносилъ упреки, которые онъ сдълалъ бы теперь, если бы пришелъ Меркуловъ, но они не складывались въ фразы и пере ходили въ дикій и неосмысленный крикъ:

# — Подлецъ! подлецъ!

Развъ стоитъ послъ этого житъ? Полгода не видались они; полгода днемъ и ночью думалъ онъ о той минутъ, когда увидитъ своего друга и все разскажетъ ему, какъ тяжело и мучительно жить, когда нътъ смысла въ жизни, когда нътъ души кругомъ, съ которой можно было бы подълиться своимъ горемъ. Полгода не видълись—и онъ не могъ притти и остался съ другими пошлыми людьми, которые интересны ему, дороги и милы! И Качерину кажется, что все страстное ожиданіе, которое такъ долго томило его, которое онъ видълъ начертаннымъ на всъхъ лицахъ и вещахъ, относилось къ одному Меркулову. Одинъ онъ, и только онъ, несъ съ собой отвътъ на всъ мучительные вопросы и объщалъ свътъ и радость, и успокоеніе. О, если бы онъ пришелъ!

# Подлецъ!

Качеринъ ставитъ на столъ бутылку съ краснымъ виномъ и двъ рюмки и съ искаженной усмъшкой смотритъ на нихъ. Изъ той рюмки долженъ былъ пить онъ. Усмъхаясь, и качая головой, Качерипъ наливаетъ объ рюмки, беретъ свою, чокается и пьетъ.

— За... твое здоровье!—-говорить онъ вслухъ и не замъчаеть этого.

Смотри же ты, оставшійся съ пошлыми людьми, какъ гибнетъ твой другъ, который такъ любилъ тебя. Смотри, какъ въ одиночку, передъ тѣнью бывшаго, напивается онъ и падаетъ все ниже и ниже. Стоитъ-ли

жить, когда такъ ничтожны и подлы люди? Стоитъ ли думать о себъ, о своемъ достоинствъ и жизни, когда дожь и обманъ царятъ надъ міромъ. Пусть гибнетъ все!

Уже цѣлыхъ двѣ рюмки выпилъ Качеринъ и не почувствовалъ хмѣля. Онъ ходилъ по комнатѣ, садился и вновь ходилъ, и хватался руками за грудь и голову. Ему чудилось, что сейчасъ въ нихъ разорвется что-то и кровь потечетъ изъ глазъ, вмѣсто безцвѣтныхъ слезъ. И то проклиналъ онъ, то молилъ, то о мести думалъ, то о смерти, и увѣренъ былъ, что никто на свѣтѣ не териѣлъ такихъ мученій, какъ онъ, и ни къ кому не была такъ безжалостна жизнь и люди. И когда онъ вспоминалъ о свѣтлыхъ минутахъ ожиданія и о томъ, какъ долго и териѣливо онъ ждалъ, ему хотѣлось нанести себѣ самое тяжелое и позорное оскорбленіе.

Въ дверь комнаты послышался стукъ.

— Коля, а ты развъ въ церковь не пойдешь? спросилъ голосъ матери.

Качеринъ поспъшно схватилъ бутылку съ виномъ и рюмки и на цыпочкахъ отнесъ ихъ къ окну. Потомъ, усиленно стуча ногами, подошелъ къ двери и открылъ ее.

- A Меркуловъ-то твой не пришелъ,—сказала мать, оглядывая комнату. —Я думала, ты съ нимъ сидишь.
- Въроятно, задержалъ кто-нибудь,—отвъчалъ Качеринъ равнодушно и беззаботно.
- Должно быть. У него такъ много знакомыхъ. А мы съ отцомъ уъзжаемъ.

Мать еще разъ оглядъла комнату и Качерину показалось, что она особенно долго смотръла на занавъси окна, за которыми стояла бутылка, и вышла.

Качеринъ чувствовалъ, что въ жизни для него все уже кончилось и теперь безразлично, останется-ли онъ дома или пойдеть въ церковь. И ему захотълось пойти, чтобы увидъть, какъ веселы и счастливы всъ люди и какъ несчастенъ только онъ одинъ. Онъ нарочно будетъ смъяться и шутить, и никто не догадается, что этотъ юноша, такой молодой, такой хорошій и веселый, лумаетъ о смерти и только одной ея жаждеть. Въ зеркало взглянули на него большіе глаза съ темными кругами и блъдное, страдальческое лицо. Качеринъ нахмурилъ брови, потомъ горько улыбнулся и подумалъ, что онъ сейчасъ рисуется.

— И пусть рисуюсь. Въдь я негодяй,—съ усмъшкой передернулъ онъ плечами.

Совству близокъ былъ праздникъ, большой и загадочный, и Качеринъ снова ощутилъ замирающее чувство ожиданія, когда вышель изъ дому. Отовсюду въ церковь шли люди и топотъ безчисленныхъ ногъ отдавался въ тихой улицъ и казалось, что умерли всъ остальные звуки. Медленно и грузно шмурыгали ногами старухи, и пріостанавливались и вздыхали; частымъ мелкимъ топотомъ отдавалась походка дътей, и твердо и ровно стучали по камнямъ ноги взрослыхъ. И необыкновенная поспъшность чувствовалась въ стремительномъ движеніи толпы впередъ, къ чему-то неизвъстному, но радостному. Даже разговоровъ слышно не было, точно люди боялись потерять хоть одну минуту и опоздать, и Качеринъ невольно ускорилъ шаги и чэмъ больше обгонялъ другихъ, тымъ сильные торопился.

Но вотъ и гимназія. Въ большой залѣ, въ которой гимназисты гуляли во время перемѣнъ и свободныхъ уроковъ, рядами стояли куличи и около каждаго была зажженная свѣча. Отсюда не было слышно церковной службы, но прислуга, стоявшая у куличей, крестилась. По корридорамъ двигалась густая и пестрая толпа гимна-

зистовъ въ мундирахъ и барышень въ бълыхъ и цвътныхъ платьяхъ, и такъ странно было видъть этихъ чужихъ веселыхъ, болтливыхъ людей въ корридорахъ, гдъ раньше было все такъ строго и чинно, и ходили учителя во франахъ и съ журналами. И всъ гулявшіе смъялись, говорили, и на всъхълицахъ сіяла радостьповидимому, праздникъ для нихъ уже наступилъ. Какъ будто уже случилось что-то необыкновенно-радостное, или оно происходить сейчась и люди присматриваются, Высокая плотина, за которой люди конили для себя веселье, оставаясь въ ожиданін его въ обмелфвшемъ руслъ жизии, казалось, дала уже трещины, и съ минуты на минуту готовилась рухнуть. Качеринъ чувствоваль, какъ все выше и выше подпимаются вокругъ него волны свътлой радости и люди захлебываются въ нихъ. Онъ прислушивался къ разговорамъ; онъ вглядывался въ лица и допрашивалъ смъющіеся глазан было во встхъ въ нихъ что-то новое, незнакомое и чуждое. Старыя знакомыя пошлости звучали страннымъ весельемъ и даже какъ будто бы умомъ. Люди встръчались, улыбались, говорили "здравствуйте", и оно звучало, какъ поцълуй. При тепломъ сіянін свъчей, лившемся и сверху, и снизу, и съ боковъ разглаживались морщины на лицахъ и они становились неузнаваемыми, и въ глазахъ блестълъ новый огонекъ: то-ли отблескъ свъчей, то-ли внутренняго свъта. Все выше и выше поднимались волны бурнаго и громкаго веселья и смыкались надъ головой Качерина, но ни одна капля его не входила въ его грудь и не освъжала пересохиия отъ жажды уста. И какъ тогда, въ классъ, на мигъ блеснуло сознаніе одиночества и какъ молніей освітило черную пропасть, отділявшую его, этого уньно блуждающаго по корридорамъ человвка отъ всего міра и отъ людей.

— Праздникъ... Какъ страшно это — праздникъ, — шенталъ Качеринъ, сторонясь отъ толкавшихъ его веселыхъ, довольныхъ людей, которые такъ дасково глядъли на него и такъ далеко были отъ него своими душами. И съ ужасомъ, который такъ легко сообщался его уму, Качеринъ съ поразительной ясностью представился самому себъ въ видъ какого-то отверженца, Канна, на которомъ лежитъ печать проклятія. Весь міръ живыхъ людей и неживыхъ предметовъ говорилъ на одномъ веселомъ, звучномъ языкъ. Качеринъ одинъ не понималъ этого языка и мучился отъ дикаго сознанія одиночества.

И Качеринъ ушелъ изъ сверкающаго огнями зданія гимназіи, ища покоя въ темныхъ улицахъ. Но куда ни шелъ онъ, вездъ встръчали его сілющія церкви, и около нихъ шумно толпился народъ, а въ стекла оконъ онъ видълъ молодыя и старыя лица безъ морщинъ, и головы, медленно склонявшіяся послів крестнаго знаменія. Ни звука не доносилось изъ-за толстыхъ стеколъ, и эта нъмая вереница свътлыхъ лицъ, трепетавшихъ подъ наплывомъ одного и того же глубокаго блаженнаго чувства единенія между собой и Богомъ, наводила страхъ на молодого отверженца. Такъ переходилъ онь оть одной церкви къ другой и всюду заглядываль въ окна и видълъ однъ и тъ же мърно склонявшіяся головы и беззвучно шепчущія губы. И все страннъе становилось Качерину. Ему чудилось, что это все одна и та же церковь съ одними и теми же людьми выростаетъ у него передъ глазами и загораживаетъ дорогу, и гремитъ всвми своими горящими окнами, всвми своими колоколами грозными, могучими:

# — Проклятый! Проклятый!

И когда Качеринъ вспоминалъ свое недавнее горе отъ неприхода и измъны Меркулова, онъ понималъ,

какъ оно ничтожно и слабо передъ этимъ страхомъ одиночества и заброшенности, охватившимъ его душу. II еще болье загадочнымь и страшнымь становился праздникъ, который онъ, наконецъ, видълъ всюду и котораго не чувствоваль и не понималь. Смолкъ грозновеселый говоръ колоколовь, съ самыхъ отдаленныхъ концовъ темнаго города посылавшихъ ему проклятіе и насмъшку, и Качеринъ совершенно машинально за толпой мъщанъ полъзъ на какую-то колокольню. Непроглядный мракъ охватиль его на переходахъ крутыхъ и узенькихъ лъстницъ. Впереди скрипъли ступени подъ тяжелыми шагами идущихъ и Качеринъ, одной рукой держась за скользкія перила, другую протягиваль впередъ и думаль, какъ глухо здъсь и таинственно и непохоже на то, что недалеко внизу молится тысячная толпа и поють священники и пъвчіе.

Но вотъ голову его охватило итжнымъ холодкомъ весенней ночи и возлъ себя онъ увидълъ мьдныя, модчаливо отдыхавшія чудовища, а внизу крыши домовъ, плоскія, какъ будто лежащія на мостовой. На желвзныхъ откосахъ горъли плошки и пламя отъ фителей сгибалось отъ неслышнаго, только ими ощутимаго вътерка. И куда не хваталъ взоръ, всюду онъ иманого и инакломоком кішкрим омончим эж кіжк акадин илощекъ, взобравшихся такъ высоко, какъ звъзды. И здъсь быль праздникъ, но другой, чемъ внизу-кроткій, торжественный и нъжный, какъ ласка весенняго воздуха. Онъ не мучилъ Качерина, не дразнилъ его своимъ яркимъ блескомъ и щумнымъ весельемъ, а входиль въ его грудь, ласковый и тихій, и что-то тенлое переливалось въ сердцъ. И когда Качеринъ прикоснулся рукой къ холодному краю колокола, голосъ котораго такимъ стращинымъ и жестокимъ казался снизу, онъ зазвенълъ тихо и немного грустно. Точно

и его мъдную грудь утомили бурные звуки громкаго ликованія.

Задумчивый и смягченный Качеринъ спустился съ колокольни и вошелъ внутрь церкви, которая стала близкой ему и дорогой, такъ какъ одна она изъ всъхъ церквей такъ дружески и хорошо встрътила его. Въроятно, то быль бъдный приходъ, или всъ хорошо одътые, богатые люди стояли ближе къ алтарю и къ Богу, какъ думали они, только въ тесной толпе молящихся не было раздражающей пестроты и яркости праздничныхъ одеждъ и лишь на лицахъ ихъ свътлълъ праздникъ, такой же кроткій и тихій, какъ и наверху. Пробираясь осторожно къ ствив, Качеринъ увидвлъ дъвушку его лътъ, въ коричневомъ форменномъ платьъ гимназистки, и остановился немного сзади нея. Она долго не замвчала его пристальнаго взгляда, но потомъ обернулась и кивнула головой, такъ какъ они были знакомы, и улыбнулась ласково и привътливо. Ни смущенія, ни любопытства не прочель онь во взорв ея ясныхъ глазъ и улыбка ея была такъ же проста, довърчива и мила, какъ мило и просто было все ея молодое красивое лицо. Довърчивость и простота читались въ медленномъ поднятіи густыхъ ръсницъ, въ прозрачной и чистой краскъ щекъ, а особенно говорили о нихъ, казалось Качерину, простенькія и наивно милыя колечки темныхъ волосъ, поднимавшихся отъ бълой шеи. И какъ будто такъ и нужно было случиться, какъ оно случилось: чтобы онъ пришелъ сюда и сталъ здёсь возлё нея, и иначе не могло быть. Кто-то вздохнулъ свади Качерина глубоко и продолжительно, чейто молитвенный шопоть проникаль въ его ухо, а онъ смотрълъ на золоченый иконостасъ, задернутый синими клубами дыма и тускло сверкавшій, и на милыя ко лечки волосъ, и на бълую нъжную руку, неподвижно

державшую свѣчу, и не понималь, что такое жгучее поднимается въ немъ. Чья-то рука осторожно коснулась его плеча и протянулась впередъ съ бѣленькой свѣчкой, обвитой тонечькой полоской золота.

— ('насителю!—тихо шепнулъ незнакомый голосъ. Качеринъ также осторожно коснулся плеча дъвушки и шепнулъ, протягивая свъчу:

## — Спасителю!

Она не разслышала, такъ какъ голосъ его былъ глухъ и прерывался, вопросительно ласково подняла густыя ръсницы и ближе наклонила ухо. И такъ много было трогательной довърчивости въ этомъ простомъ движеніи, и съ такой непостижимой, чудной силой оно разрушило ствну, за которой, чуждая міру и людямъ, мучительно содрагалась одинокая душа. Волны дивнаго веселья, прозрачныя, свътлыя, подхватили ее и понесли, счастливую въ своей безпомощности. Передавъ свъчу дрожащей рукой, Качеринъ упалъ на колъни-и міръ утратилъ для него свою реальность. Онъ не понималь, гдф онъ находится, кто стоить возлъ него и что поють гдъ-то тамъ и откуда льется на него такъ много свъта. Онъ не зналъ, о чемъ плачетъ онъ такими горькими и такими счастливыми слезами, и стыдливо скрывалъ ихъ, по-дътски закрывая лицо руками. Такъ хорошо и уютно было ему внизу, у людскихъ ногъ, закрытому со всехъ сторонъ. Въ одинъ могучій и стройный аккордъ слилось все, что видъли его глаза, ощущала душа: и она, эта дъвушка, такая милая и чистая, къ которой страшно коснуться, какъ къ святынъ, и жгучая печаль о себъ, порочномъ и гадкомъ, и страстная разрывающая сердце мольба о новой, чистой и свътлой жизни. Не было радости въ этой дивной пъснъ пробудившейся души, но всю радость, какая существуеть въ безконечномъ мірф, можно

было отдать за одинь ея звукь, чистый и печальный. И плакаль Качеринь и каждая дрожащая слеза гранила чистую печаль, и сверкала она въ душъ, какъ драгоцънный алмазъ. Съ боязливой нъжностью Качеринъ прижался губами къ коричневому платью и тоненькая полоска его, сжатая между его губами и осторожной рукой, не была грубымъ и пыльнымъ кускомъ дешевой матеріи, а была она тъмъ чистымъ, тъмъ свътлымъ, ради котораго только и стоитъ жить на свътъ.

Наступилъ праздникъ и для Качерина.

# прекрасна жизнь для воскресшихъ.

(1900)

Не случалось ли вамъ гулять по кладбищамъ? Есть своя, очень своеобразная и жуткая поэзія въ этихъ огороженныхъ, тихихъ и заросшихъ сочной зеленью уголкахъ, такихъ маленькихъ и такихъ жадныхъ.

День изо-дня несуть въ нихъ новыхъ мертвецовъ, и уже вотъ весь живой, огромный и шумный городъ перенесенъ туда, и уже народившійся новый ждетъ своей очереди—а они стоятъ, все такіе же маленькіе, тихіе и жадные. Особенный въ нихъ воздухъ, особенная тишина, и другой тамъ и лепетъ деревьевъ—элегическій, залумчивый, нъжный. Словно, не могутъ позабыть эти бълыя березки всъхъ тъхъ заплаканныхъ глазъ, которые отыскивали небо между ихъ зеленъющими вътвями, и словно не вътеръ, а глубокіе вздохи продолжаютъ колебать воздухъ и свъжую листву.

Тихо, задумчиво бредете по кладбищу и вы. Ухо ваше воспринимаетъ тихіе отголоски глубокихъ стоновъ и слезъ, а глаза останавливаются на богатыхъ памятникахъ, скромныхъ деревянныхъ крестахъ и нѣмыхъ безвъстныхъ могилахъ, укрывшихъ собой людей, которые нѣмы были всю жизнь, безвъстны и незамѣтны. И надписи на памятникахъ читаете вы, и встаютъ въ

вашемъ воображеніи всѣ эти исчезнувшіе изъ міра люди. Видите вы ихъ молодыми, смѣющимися, любящими: видите вы ихъ бодрыми, говорливыми, дерзко увѣренными въ безконечности жизни.

Й они умерли, эти люди.

\* \*

Но развѣ нужно выходить изъ дому, чтобы побывать на кладбищѣ? Развѣ не достаточно для этого, чтобы мракъ ночи охватилъ васъ и поглотилъ дневные звуки.

Сколько памятниковъ богатыхъ и пышныхъ! Сколько нъмыхъ, безвъстныхъ мъстъ!

Но разв'в нужна ночь, чтобы побыть на кладбищ'в? Разв'в не достаточно для этого дня — безпокойнаго, шумнаго дня, которому довл'веть злоба его?

Загляните въ душу свою, и будеть ли тогда день или ночь, вы найдете тамъ кладбище. Маленькое, жадное, такъ много поглотившее. И тихій, грустный шепоть услышите вы — отраженіе былыхъ тяжелыхъ стоновъ, когда дорогъ быль мертвецъ, котораго опускали въ могилу, и вы не успѣли ни разлюбить его, ни позабыть; и памятники увидите вы, и надписи, которыя на половину смыты слезами, и тихія, глухія могилки— маленькіе, зловѣщіе бугорки, подъ которыми скрыто то, что было живо, хотя вы не знали его жизни и не замѣтили смерти. А, можетъ быть, это было самое лучшее въ вашей душѣ...

Но зачъмъ говорю я: загляните. Развъ и такъ не заглядывали вы въ ваше кладбище каждый день, сколько есть этихъ дней въ длинномъ, тяжеломъ году? Быть можетъ, еще только вчера вы вспоминали дорогихъ покойниковъ и плакали надъ ними; быть можетъ, еще только вчера вы похоронили кого-нибудь, долго и тяжело болъвшаго и забытаго еще при жизни.

Вотъ подъ тяжелымъ мраморомъ, окруженная частой чугунной ръшеткой, поконтся любовь къ людямъ и сестра ея, въра въ нихъ. Какъ онъ были красивы и чудно хороши, эти сестры! Какимъ яркимъ огнемъ горъли ихъ глаза, какой дивной мощью владъли ихъ нъжныя, бълыя руки!

Съ какой лаской подносили эти бѣлыя руки холодное питье къ воспаленнымъ отъ жажды устамъ и кормили алчущихъ; съ какой милой осторожностью касались онъ язвъ болящаго и врачевали ихъ!

И онъ умерли, эти сестры. Отъ простуды умерли онъ, какъ сказано на памятникъ. Не выдержали леденящаго вътра, которымъ охватила ихъ жизнь.

А вотъ дальше покосившійся крестъ знаменуетъ мѣсто, гдѣ зарытъ въ землю талантъ. Какой онъ былъ бодрый, шумный, веселый; за все брался, все хотѣлъ сдѣлать и былъ увѣренъ, что покоритъ міръ.

И умеръ—какъ то незамътно и тихо. Пошелъ однажды на люди, далго пропадалъ тамъ, и вернулся разбитый, печальный. Долго плакалъ, долго порывался что-то сказать—и такъ, не сказавши, и умеръ.

Воть длинный рядь маленькихь, осъвшихь бугорковь. Кто тамъ?

Ахъ, да. Это дъти. Маленькія, ръзвыя, шаловливыя надежды. Ихъ было такъ много, и такъ весело и людно было отъ нихъ на душъ—но одна за одной умирали онъ.

Какъ много было ихъ, и какъ весело было съ ними на душъ!

Тихо на кладбищъ, и печально шелестятъ листьями бълыя березки.

Пусть же воскреснуть мертвецы! Раскройтесь, угрюмыя могилы, разрушьтесь вы, тяжелые памятники, и разступитесь о желъзныя ръшетки!

Хоть на день одинъ, хоть на мигъ одинъ дайте свободу тъмъ, кого вы душите своей тяжестью и тьмой!

Вы думаете, они умерли? О, нътъ, они живы. Они молчали, но они живы.

Живы!

Дайте же имъ увидъть сіяніе голубого, безоблачнаго неба, вздохнуть чистымъ воздухомъ весны, упиться тепломъ и любовью.

Приди ко мнѣ, мой уснувшій таланть. Что такъ смѣшно протираешь ты глаза—тебя ослѣпило солнце? Не правда ли, какъ ярко свѣтить оно? Ты смѣешься? Ахъ, смѣйся, смѣйся—такъ мало смѣху у людей. Буду съ тобой смѣяться и я. Вонъ летить ласточка—полетимъ за нею! Ты отяжелѣлъ въ могилѣ? И что за странный ужасъ вижу я въ твоихъ глазахъ — словно отраженіе могильной тьмы? Нътъ, нѣтъ, не надо. Не плачь. Не плачь, говорю я тебѣ!

Въдь такъ прекрасна жизнь для воскресшихъ!

А вы, мои маленькія надежды! Какія милыя и смѣшныя личики у вась. Кто ты, потѣшный, толстый карапузь, я не узнаю тебя? И чему ты смѣешься? Или сама могила не устрашила тебя? Тише, мои дѣти, тише. Зачѣмъ ты обижаешь ее — ты видишь, какая она маленькая, блѣдненькая и слабая? Живите въ мирѣ — и не кружите меня. Развѣ не знаете вы, что я тоже былъ въ могилѣ и теперь кружится моя голова отъ солнца, отъ воздуха, отъ радости.

Ахъ, какъ прекрасна жизнь для воскресшихъ!

Пришли и вы, величавыя, чудныя сестры. Дайте поцёловать ваши бёлыя, нёжныя руки. Что я вижу? Вы несете хлёбъ? Васъ, нёжныхъ, женственныхъ и слабыхъ не испугалъ могильный мракъ, и тамъ, подъ этой тяжелой громадой вы думали о хлёбё для голодныхъ? Дайте поцёловать мнё ваши ножки. Я знаю,

куда пойдуть онъ сейчась, ваши легкія быстрыя ножки, и знаю, что тамъ, глъ пройдуть онъ, выростуть цвъты—дивные, благоухающіе цвъты. Вы зовете съ собой? Пойдемте.

Сюда, мой воскресшій таланть—что зазѣвался тамъ па бѣгущія облачка? Сюда, мон маленькія, шаловливыя надежды.

Стойте!...

Я слышу музыку. Да не кричи же ты такъ, карапузъ! Откуда эти чудные звуки? Тихіе, стройные, безумно радостные и печальные. О въчной жизни говорятъ они.

... Нътъ, не пугайтесь. Это сейчасъ пройдетъ. Въдь отъ радости я плачу!

Ахъ, какъ прекрасна жизнь для воскресшихъ!

# LOCLNHEAP.

(1901)

I.

— Такъ ты приходи!—вътретій разъ попросиль Сениста, и въ третій разъ Сазонка торопливо отвътиль:

— Приду, приду, ты не бойся. Еще бы не притти, конечно, приду.

И снова они замолчали. Сениста лежалъ на спинъ. до подбородка укрытый сёрымъ больничнымъ одёяломъ и упорно смотрълъ на Сазонку; ему хотвлось, чтобы Сазонка подольше не уходилъ изъ больницы и чтобы своимъ отвътнымъ взглядомъ онъ еще разъ подтвердилъ объщание не оставлять его въ жертву одиночеству, бользни и страху. Сазонкъ же хотълось уйти, но онъ не зналъ, какъ сдълать это безъ обиды для мальчика, шмурыгалъ носомъ, почти сползалъ со стула и опять садился плотно и решительно, какъ будто навсегда. Онъ бы еще посидълъ, если бы было о чемъ говорить, но говорить было не о чемъ, и мысли приходили глупыя, отъ которыхъ становилось смёшно и стыдно. Такъ его все время тянуло называть Сенисту по имени и отчеству—Семеномъ Ерофеевичемъ, что было отчаянно нельпо: Сениста быль мальчишка-полмастерье, а Сазонка былъ солиднымъ мастеромъ и пьяницей, и Сазонкой звался только по привычкъ. И еще двухъ педъль не прошло съ тъхъ поръ, какъ онъ далъ Сенистъ послъдній подзатыльникъ, и это было очень дурно, но и объ этомъ говорить тоже нельзя.

Сазонка рѣшительно началъ сползать со стула, но не доведя дѣла до половины, такъ же рѣшительно всползъ назадъ и сказалъ не то въ видѣ укоризны, не то утѣшенія:

— Такъ вотъ какія дъла. Болитъ, а?

Сениста утвердительно качнулъ головой и тихо отвътилъ:

- Ну, ступай. А то онъ бранить будетъ.
- Это върно, —обрадовался Сазонка предлогу. —Онъ и то приказываль: ты, говорить, поскоръе. Отвезешь— и той же минутой назадъ. И чтобы водки ни-ни. Вотъ чортъ!

Но вмъстъ съ сознаніемъ, что онъ можетъ теперь уйти каждую минуту, въ сердце Сазонки вошла острая жалость къ большеголовому Сенистъ. Къ жалости призывала вся необычная обстановка: тъсный рядъ кроватей съ блъдными хмурыми людьми; воздухъ, до послъдней частицы испорченный запахомъ лъкарствъ и испареніями больного человъческаго тъла; чувство собственной силы и здоровья. И уже не избъгая просительнаго взгляда, Сазонка наклонился къ Сенистъ и твердо повторилъ:

— Ты Семенъ... Сеня, не бойся. Приду. Какъ ослобонюсь, такъ и къ тебъ. Развъ мы не люди? Господи! Тоже и у насъ понятіе есть. Милый! Въришь мнъ аль нъть?

И съ удыбкой на почернъвшихъ, запекшихся губахъ Сениста отвъчалъ:

— Върю.

— Вотъ!—торжествовалъ Сазонка. Теперь ему было легко и пріятно, и онъ могъ уже поговорить о подзатыльникъ, случайно данномъ двъ недъли назадъ. И онъ осторожно намекнулъ, касаясь пальцемъ Сенина плеча:—а ежели тебя по головъ кто билъ, такъ развъ это со зла? Господи! Голова у тебя очень такая удобная: большая да стриженая.

Сениста опять улыбнулся, и Сазонка поднялся со стула. Ростомъ онъ былъ очень высокъ, волосы его, всѣ въ мелкихъ кудряшкахъ, расчесанные частой гребенкой, подымались пышной и веселой шанкой, и сѣрые припухшіе глаза искрились и безотчетно улыбались.

- Ну, прощевай!—сказаль онъ, но не тронулся съ мѣста. Онъ нарочно сказалъ "прощевай", а не прочай потому что такъ выходило душевнѣе, но теперь ему показалось этого мало. Нужно было сдълать что-то еще болѣе душевное и хорошее, такое, послѣ котораго Сенистъ весело было бы лежать въ больницѣ, а ему легко было бы уйти. И онъ неловко топтался на мѣстъ смѣшной въ своемъ дѣтскомъ смущеніи, когда Сениста опять вывелъ его изъ затрудненія:
- Прощай!—сказалъ онъ своимъ дътскимъ, тоненькимъ голоскомъ, за который его дразнили "гуслями", и совсъмъ просто, какъ взрослый, высвободилъ руку изъ-подъ одъяла и, какъ равный, протянулъ ее Сазонкъ. И Сазонка, чувствуя, что это именно то, чего не хватало ему для полнаго спокойствія, почтительно охватилъ тонкіе пальчики своей здоровой лашищей, подержалъ ихъ и со вздохомъ выпустилъ. Было что-то печальное и загадочное въ прикосновеніи тонкихъ горячихъ пальчиковъ: какъ будто Сениста былъ не только равнымъ всъмъ людямъ на свътъ, но и выше всъхъ на всъхъ свободнъе, и происходило это оттого, что привежхъ свободнъе, и происходило это оттого, что привежу всъхъ свободнъе всъхъ свобо

надлежать онъ теперь невъдомому, но грозному и могучему хозянну. Теперь его можно было назвать Семеномъ Ерофеевичемъ.

— Такъ приходи же, — въ четвертый разъ попросилъ Сениста, и эта просьба прогнала то страшное и величавое, что на мигъ осънило его своими безшумными крылами. Онъ снова сталъ мальчикомъ больнымъ и страдающимъ, и снова стало жаль его, — очень жаль.

Когда Сазонка вышель изъ больницы, за нимъ долго еще гнался запахъ лъкарствъ и просящій голосъ:

— Приходи же!

И разводя руками, Сазонка отвъчалъ.

— Милый! Да развѣ мы не люди?

#### II.

Подходила Пасха, и портновской работы было такъ много, что только одинъ разъ въ воскресенье вечеромъ Сазонкъ удалось напиться, да и то не до-пьяна. Цълые дии, по весеннему свътдые и длинные, отъ пътуховъ до пътуховъ, онъ сидъль на подмосткахъ у своего окна, по-турецки поджавъ подъ себя ноги, хмурясь и неодобрительно носвистывая. Съ утра окно находилось въ тъни, и въ разопиедшјеся пазы тянуло холодкомъ, но къ полудню солнце проръзало узенькую желтую по лоску, въ которой свътящимися точками играла при поднятая нынь. А черезъ полчаса уже весь подоконникъ съ набросанными на немъ обръзками матерій и ножницами горблъ ослънительнымъ свътомъ, и становилось такъ жарко, что нужно было, какъ лвтомъ, раснахнуть окно. И вижсть съ волной свъжаго, кръпкаго воздуха, проинтаннаго запахомъ прфющаго навоза, подсыхающей грязи и распускающихся почекъ, въ окно влетала шальная, еще слабосидьная муха и приносился разноголосый шумъ улицы. Внизу у заваленки рылись куры и блаженно кудахтали, нѣжась въ круглыхъ ямкахъ; на противоположной, уже просохией сторонѣ улицы играли въ бабки ребята, и ихъ пестрый, звонкій крикъ и удары чугунныхъ плитъ о костяшки звучали задоромъ и свѣжестью. Ъзды по улицѣ, находившейся на окраинѣ Орла, было совсѣмъ мало, и только изрѣдка, шажкомъ проѣзжалъ пригородній мужикъ; телѣга подпрыгивала въ глубокихъ колеяхъ, еще полныхъ жидкой грязи, и всѣ части ея стучали деревяннымъ стукомъ, напоминающимъ лѣто и просторъ полей.

Когда у Сазонки начинало ломить поясницу и одеревенъвшіе пальцы не держали иглы, онъ босикомъ и безъ подпояски, какъ былъ, выскакивалъ на улицу, гигантскими скачками перелеталъ лужи и присоединялся къ играющимъ ребятамъ.

- Ну-ка, дай ударить, —просиль онъ, и десятокъ грязныхъ рукъ протягивалъ ему плиты, и десятокъ голосовъ просилъ:
  - За меня! Сазонка, за меня!

Сазонка выбиралъ плиту поувѣсистѣе, засучивалъ рукавъ и, принявъ позу атлета, мечущаго дискъ, измѣрялъ прищуреннымъ глазомъ разстояніе. Съ легкимъ свистомъ плита вырывалась изъ его руки и, волнообразно подскакивая, скользящимъ ударомъ врывалась въ средину длиннаго кона, и пестрымъ дождемъ разсыпались бабки, и такимъ же пестрымъ крикомъ отвѣчали на ударъ ребята. Послъ пѣсколькихъ ударовъ Сазонка отдыхалъ и говорилъ ребятамъ:

— А Сениста-то еще въ больницъ, ребята.

Но, занятые своимъ интереснымъ дъломъ, ребята принимали извъстіе холодно и равнодушно.

— Надобно ему гостинца отпести. Вотъ ужо отпесу, — продолжалъ Сазонка.

На слово "гостинецъ" отозвались многіе. Мишка Поросенокъ поддергивалъ одной рукой штанишки—другая держала въ подолъ рубахи бабки—и серьезно совътовалъ:

— Ты ему гривенникъ дай.

Гривенникъ была та сумма, которую объщалъ дъдъ самому Мишкъ и выше ея не шло его представленіе о человъческомъ счастьъ. Но долго разговаривать о гостинцъ не было времени, и такими же гигантскими прыжками Сазонка перебирался къ себъ и опять садился за работу. Глаза его припухли, лицо стало блъдножелтымъ, какъ у больного, и веснушки у глазъ и на носу казались особенно частыми и темными. Только тщательно расчесанные волосы подымались все той же веселой шапкой, и когда хозяинъ, Гавріилъ Ивановичъ, смотрълъ на нихъ, ему непремънно представлялся уютный красный кабачокъ и водка, и онъ ожесточенно сплевывалъ и ругался.

Въ головъ Сазонки было смутно и тяжело, и по цълымъ часамъ онъ неуклюже ворочалъ какую-нибудь одну мысль: о новыхъ сапогахъ или гармоникъ. Но чаще всего онъ думалъ о Сенистъ и о гостинцъ, который онъ ему отнесетъ. Машинка монотонно и усынаяюще стучала, покрикивалъ хозяинъ-и все одна и та же картина представлялась усталому мозгу Сазонки; какъ онъ приходитъ къ Сенистъ въ больницу и подаеть ему гостинець, завернутый въ ситцевый каемчатый платокъ. Часто въ тяжелой дремв онъ забывалъ, кто такой Сениста и не могъ вспомнить его лица, но каемчатый илатокъ, который нужно еще купить, представлялся живо и ясно, и даже казалось, что узелки на немъ не совстмъ крънко завязаны. И встмъ: ховянну, хозяйнъ, заказчинамъ и ребятамъ Сазонка говориль, что пойдеть къ мальчику непремънно на первый лень Пасхи.

- Ужъ такъ нужно, —твердилъ онъ. —Причешусь, и той же минутой къ нему. На, милый, получай! Но, говоря это, онъ видълъ другую картину: распахнутыя двери краснаго кабачка и въ темной глубииъ ихъ залитую сивухой стойку. И его охватывало горькое сознание своей слабости, съ которой онъ не можетъ бо ротся, и хотълось кричать громко и настойчиво.
  - Къ Сенистъ пойду! Къ Сенистъ.

А голову наполняла сърая, колеблющаяся муть, и только каемчатый платокъ выдълялся изъ нея. Но не радость въ немъ была, а суровый урокъ и грозное предостерженіе.

## III.

И на первый день Пасхи, и на второй Сазонка былъ пьянъ, дрался, былъ избитъ и ночевалъ въ участкъ. И только на четвертый день удалось ему выбраться къ Сенистъ.

Улица, залитая солнечнымъ свътомъ, пестръла яркими пятнами кумачевыхъ рубахъ и веселымъ оскаломъ бълыхъ зубовъ, грызущихъ подсолнухи: играли вразбродъ гармоники, стучали чугунныя плиты о костяшки, и голосисто оралъ пътухъ, вызывая на бой сосъдскаго пътуха. Но Сазонка не глядълъ по сторонамъ. Лицо его, съ подбитымъ глазомъ и разсъченной губой, было мрачно и сосредоточенно, и даже волосы не вздымались пышной гривой, а какъ-то растерянно торчали отдъльными космами. Было совъстно за пьянство и неисполненное слово, было жаль, что представится онъ Сенистъ не во всейсвоей красъ — въ красной шерстяной рубах в и жилетк в, -- а пропившійся, наскудный, воняющій перегоръвшей водкой. Но чемь ближе подходиль онъ къ больниць, темъ легче ему становилось, и глаза чаще опускались винзъ, направо, гдф бережно висътъ въ рукъ узелокъ съ гостинцемъ. И лицо Сенисты видълось теперь совсъмъ живо и ясно съ запекшимися губами и просящимъ взглядомъ.

— Милый, да развъ: Ахъ, Господи!—говорилъ Сазонка и крупно надбавлялъ шагу. Вотъ и больница—желтое, громадное зданіе, съ черными рамами оконъ, отчего окна походили на темные угрюмые глаза. Вотъ и длинный корридоръ, и запахъ лѣкарствъ, и неопредъленное чувство жути и тоски. Вотъ и палата, и постель Сенисты...

Но гдъ же самъ Сениста?

- Вамъ кого? спросила вошедшая слъдомъ сидълка.
- Мальчикъ тутъ одинъ лежалъ. Семенъ. Семенъ Ерофеевъ. Вотъ на этомъ мъстъ,—Сазонка указалъ пальцемъ на пустую постель.
- Такъ нужно допрежде спрашивать, а то ломитеся зря,—грубо сказала сидълка. И не Семенъ Ерофеевъ, а Семенъ Пустошкинъ.
- Ерофеевь—это по отечеству. Родителя звали Ерофеемъ, такъ вотъ онъ и выходитъ—Ерофеичъ,—объяснилъ Сазонка, медленио и страшно блъднъя.
- Померъ вашъ Ерофеичъ. А только мы этого не знаемъ: по отчеству. По нашему—Семенъ Пустошкинъ. Померъ, говорю.
- Вотъ какъ-съ!—благопристойно удивился Сазонка, блъдный настолько, что веснушки выступали ръзко, какъ чернильныя брызги.—Когда же-съ?
  - Вчера послъ вечеренъ.
  - А мит можно...—запинаясь, попросилъ Сазонка.
- ()тчего нельзя?—равнодушно отвѣтила сидѣлка.— Спросите, гдъ мертвецкая, вамъ покажутъ. Да вы не убивайтесь! Кволый онъ былъ, не жилецъ.

Языкъ Сазонки разспращивалъ дорогу въждиво и обстоятельно, поги твердо несли его въ указываемомъ

направленіи, но глаза ничего не видъли. И видъть они стали только тогда, когда неподвижно и прямо они установились въ мертвое лицо Сенисты. Тогда же ощутился и страшный холодъ, стоявшій въ мертвецкой, и все кругомъ стало видно: покрытыя сырыми пятнами стъны, окно, занесенное паутиной; какъ бы ни свътило солнце, небо черезъ это окно всегда казалось сърымъ и холоднымъ, какъ осенью. Гдъ-то съ перерывами безнокойно жужжала муха; падали откуда-то капельки воды; упадетъ одна—капъ!—и долго послъ того въ воздухъ носится жалобный, звенящій звукъ.

Сазонка отступилъ на шагъ назадъ и громко сказалъ: — Прощевай, Семенъ Ерофеичъ.

Затъмъ опустился на колъни, коснулся лбомъ сырого пола и поднялся.

— Прости меня, Семенъ Ерофеичъ, такъ-же раздъльно и громко выговорилъ онъ и снова упалъ на колъни и долго прижимался лбомъ, пока не стала затекать голова.

Муха перестала жужжать, и было такъ тихо, какъ бываетъ только тамъ, гдъ лежитъ мертвецъ. И черезъ равные промежутки падали въ жестяной тазъ капельки, падали и плакали—тихо, нъжно.

# IV.

Тотчасъ за больницей городъ кончался, и начиналось поле, и Сазонка побрелъ въ поле. Ровное, не нарушаемое ни деревомъ, ни строеніемъ, оно привольно раскидывалось вширь, и самый вътерокъ казался его свободнымъ и теплымъ дыханіемъ. Сазонка сперва шелъ по просохшей дорогъ, потомъ свернулъ влъво и прямикомъ по пару и прошлогоднему жнитву направился къ ръкъ. Мъстами земля была еще сыровата,

и тамъ послѣ его прохода оставались слѣды его ногъ съ темными углубленіями каблуковъ.

На берегу Сазонка улегся въ небольшой покрытой травой ложбинкъ, гдъ воздухъ былъ неподвиженъ и тепелъ, какъ въ парникъ, и закрылъ глаза. Солнечные лучи проходили сквозъ закрытыя въки теплой и красной волной: высоко въ воздушной синевъ звенълъ жаворонокъ, и было пріятно дышать и не думать. Полая вода уже сошла, и ръчка струилась узенькимъ ручейкомъ, далеко на противоположномъ низкомъ берегу, оставивъ слъды своего буйства: огромныя, ноздреватыя льдины. Онъ кучками лежали другъ на другъ и бълыми треугольниками подымались вверхъ навстръчу огненнымъ безпощаднымъ лучамъ, которые шагъ за шагомъ точили и сверлили ихъ. Въ полудремъ Сазонка откинулъ руку—подъ нее попало что-то твердое, обернутое матеріей.

Гостинецъ.

Быстро приподнявшись, Сазонка вскрикнулъ:

— Господи! Да что же это?

Онъ совершенно забыль про узелокъ и испуганными глазами смотрълъ на него: ему чудилось, что узелокъ самъ своей волей пришелъ сюда и легъ рядомъ, и страшно было до него дотронуться. Сазонка глядълъ— глядълъ, не отрываясь— и бурная, клокочущая жалость и неистовый гнъвъ подымались въ немъ. Онъ глядълъ на каемчатый платокъ—и видълъ, какъ на первый день, и на второй, и на третій Сениста ждалъ его и оборачивался къ двери, а онъ не приходилъ. Умеръ одинокій, забытый—какъ щенокъ, выброшенный въ помойку. Только бы на день раньше—и потухающими глазами онъ увидъть бы гостинецъ, и возрадовался бы дътскимъ своимъ сердцемъ, и безъ боли, безъ ужа-

сающей тоски одиночества, полетёла бы его душа къвысокому небу.

Сазонка плакалъ, впиваясь руками въ свои нышные волосы и катаясь по землѣ. Плакалъ и, подымая руки къ небу, жалко оправдывался:

— Господи! Да развѣ мы не люди?

И прямо разсвиенной губой онъ упалъ на землю—
и затихъ въ порывв немого горя. Лицо его мягко и
нежно щекотала молодая трава; густой, успокаивающий
запахъ подымался отъ сырой земли, и была въ ней
могучая сила и страстный призывъ къ жизни. Какъ
въковечная мать земля принимала въ свои объятія
грешнаго сына и тепломъ, любовью и надеждой поила
его страдающее сердце.

А далеко въ городъ нестройно гудъли веселые праздничные колокола.

# KYCAKA.

(1901)

Ţ.

Она никому не принадлежала; у нея не было собственнаго имени, и никто не могъ бы сказать, гдъ находилась она во всю долгую морозную зиму и чъмъ кормилась. Отъ теплыхъ избъ ее отгоняли дворовыя собаки, такія же голодныя, какъ и она, но гордыя и сильныя своею принадлежностью къ дому; когда, гонимая голодомъ или инстинктивною потребностью въ общеніи, она показывалась на улицъ,—ребята бросали въ нее камнями и палками, взрослые весело улюлюкали и страшно, пронзительно свистали. Не помня себя отъ страху, переметываясь со стороны на сторону, натыкаясь на загорожи и людей, она мчалась на край поселка и пряталась въ глубинъ большого сада, въ одномъ ей извъстномъ мъстъ. Тамъ она зализывала ушибы и раны и въ одиночествъ копила страхъ и злобу.

Только одинъ разъ ее пожалѣли и приласкали. Это былъ пропойца мужикъ, возвращавшійся изъ кабака. Онъ всѣхъ любилъ и всѣхъ жалѣлъ и что-то говорилъ себѣ подъ носъ о добрыхъ людяхъ и своихъ надеждахъ на добрыхъ людей; пожалѣлъ онъ и собаку гряз-

ную и некрасивую, на которую случайно упаль его пьяный и безпёльный взглядь.

— Жучка!—позваль опъ ее именемъ, общимъ всъмъ собакамъ.—Жучка! поди сюда, не бойся!

Жучкъ очень хотълось подойти; она виляла хвостомъ, но не ръшалась. Мужикъ похлопаль себя рукой по колънкъ и убъдительно повторилъ:

— Да пойди, дура! Ей-Богу, не трону!

Но пока собака колебалась, все яростиве размахивая хвостомъ и маленькими шажками подвигаясь впередъ, настроеніе пьянаго человъка измънилось. Онъвспомниль всъ обиды, нанесенныя ему добрыми людьми, почувствоваль скуку и тупую злобу, и, когда Жучка легла передъ нимъ на спину, съ размаху ткнулъ ее въ бокъ носкомъ тяжелаго сапога.

— У-у, мразь! Тоже лѣзетъ!

Собака завизжала. Больше отъ неожиданности и обиды, чѣмъ отъ боли, а мужикъ, шатаясь, побрелъ домой, гдѣ долго и больно билъ жену и на кусочки изорвалъ новый платокъ, который на прошлой недѣлѣ купилъ ей въ подарокъ.

Съ тъхъ поръ собака не довъряла людямъ, которые хотъли ее приласкать, и, поджавъ хвостъ, убъгала, а иногда со злобою набрасывалась на нихъ и пыталась укусить, пока камнями и палкой не удавалось отогнать ее. На одну зиму она поселилась подъ террасой пустой дачи, у которой не было сторожа, и безкорыстно сторожила ее: выбъгала по ночамъ на дорогу и лаяла до хрипоты. Уже улегшись на свое мъсто, она все еще злобно ворчала, но сквозь злобу проглядывало нъкоторое довольство собой и даже гордость.

Зимняя ночь тянулась долго-долго, и черныя окна пустой дачи угрюмо глядёли на обледенёвшій неподвижный садъ. Иногда въ нихъ какъ будто вспыхиваль

годубоватый огонекъ: то отражадась на стекдъ упавшая звъзда, или остророгій мъсяцъ посылалъ свой робкій лучъ.

## Π.

Наступила весна, и тихая дача огласилась громкимъ говоромъ, скрипомъ колесъ и грузнымъ топотомъ людей, переносящихъ тяжести. Пріъхали изъ города дачники, цълая веселая ватага взрослыхъ, подростковъ и дътей, опьяненныхъ воздухомъ, тепломъ и свътомъ; кто-то кричалъ, кто-то иълъ, смъялся высокимъ женскимъ голосомъ.

Первой, съ къмъ познакомилась собака, была хорошенькая дъвушка въ коричневомъ форменномъ платъъ, выбъжавшая въ садъ. Жадно и нетериъливо, желая охватить и сжать въ своихъ объятіяхъ все видимое, она посмотръла на ясное небо, на красноватые сучья вишенъ и быстро легла на траву, лицомъ къ горячему солнцу. Потомъ такъ же внезапно вскочила и, обнявъ себя руками, цълуя свъжими устами весенній воздухъ, выразительно и серьезно сказала:

# — Вотъ весело-то!

Сказала и быстро закружилась. И въ ту же минуту беззвучно подкравшаяся собака яростно вцёпилась зубами въ раздувавшійся подоль платья, рванула и такъ же беззвучно скрылась въ густыхъ кустахъ крыжовника и смородины.

— Ай, злая собака!—убъгая, крикнула дъвушка, и долго еще слышался ея взволнованный голосъ:—Мама, дъти! не ходите въ садъ: тамъ собака! Огромная!.. Злю-у-щая!..

Ночью собака подкралась къ заснувшей дачъ и безшумно улеглась на свое мъсто подъ террасой. Пахло людьми, и въ открытыя окна приносились тихіе зву-

ки кроткаго дыханія. Люди спали, были безномощим и не странны, и сабака ревниво еторожила ихъ: спала однимъ глазомъ и при каждомъ шорохѣ вытигивала голову съ двумя неподвижными огоньками фосфорически свѣтящихся глазъ. А тревожныхъ звуковъ было такъ много въ чуткой весенней почи: въ травѣ шуриало что-то невидимое, маленькое и подбиралось къ самому лоснящемуся носу собаки; хрустѣла прошлогодняя вѣтка подъ заспувшей птицей, и на близкомъ шоссе грохотала телѣга, и скрииѣли нагружениме возы. И далеко окрестъ въ неподвижномъ воздухѣ разстилался запахъ душистаго, свѣжаго дегтя и манилъ въ свѣтлѣющую даль.

Прівхавшіе дачники были очень добрыми людьми, а то, что они были далеко отъ города, дышали хорошимъ воздухомъ, видъли вокругъ себя все зеленымъ, голубымъ и беззлобнымъ, дълало ихъ еще добръе. Тепломъ входило въ нихъ солнце и выходило смъхомъ и расположеніемъ ко всему живущему. Сперва опи хотъли прогнать напугавшую ихъ собаку и даже застрълить ее изъ револьвера, если не уберется; но потомъ привыкли къ ел лаю по ночамъ и иногда по утрамъ вспоминали:

# — А гдъ же наша Кусака?

И это новое имя "Кусака" такъ и осталось за ней. Случалось, что и днемъ замъчали въ кустахъ темное тъло, безслъдно пронадавшее при первомъ движеніи руки, бросавшей хлъбъ,—словно это былъ не хлъбъ, а камень,—и скоро вст привыкли къ Кусакъ, называли ее "своей" собакой и шутили по поводу ея дикости и безиричиннаго страха. Съ каждымъ днемъ Кусака на одинъ шагъ уменьшала пространство, отдълявшее ее отъ людей; присмотрълась къ ихъ лицамъ и усвоила ихъ привычки: за полчаса до объда уже стояла въ ку-

стахъ и ласково помаргивала. И та же гимназисточка Леля, забывшая обиду, окончательно ввела ее въ счастливый кругъ отдыхающихъ и веселящихся людей.

— Кусачка, поди ко мнѣ,—звала она къ себѣ.—Ну, хорошая, ну, милая, пойди! Сахару хочешь?.. Сахару тебѣ дамъ, хочешь? Ну, пойди же!

Но Кусака не шла: боялась. И осторожно, похлопывая себя руками и говоря такъ ласково, какъ это можно было при красивомъ голосѣ и красивомъ лицѣ, Леля подвигалась къ собакѣ и сама боялась: вдругъ укуситъ.

— Я тебя люблю, Кусачка, я тебя очень люблю. У тебя такой хорошенькій носикъ и такіе выразительные глазки. Ты не вършшь мнъ, Кусачка?

Брови Лели поднялись, и у самой у нея былъ такой хорошенькій носикъ и такіе выразительные глаза, что солнце поступило умно, расцёловавъ горячо, до красноты щекъ, все ся молоденькое, наивно-прелестное личико.

И Кусачка второй разъ въ своей жизни перевернунась на спину и закрыла глаза, не зная навѣрно, ударять ее или приласкаютъ. Но ее приласкали. Маленькая, теплая рука прикоснулась нерѣшительно къ шершавой головѣ и, словно это было знакомъ неотразимой власти, свободно и смѣло забѣгала по всему шерстистому тѣлу, тормоша, лаская и щекоча.

— Мама, дъти! глядите: я ласкаю Кусаку, — закричала Леля.

Когда прибъжали дъти, шумныя, звонкоголосыя, быстрыя и свътлыя какъ капельки разбъжавшейся ртути, Кусака замерла отъ страха и безпомощнаго ожиданія: она знала, что, если теперь кто-нибудь ударить се, она уже не въ силахъ будетъ впиться въ тъло обидчика своими острыми зубами: у нея отняли ея не-

примиримую злобу. И когда вст наперерывъ стали ласкать ее, она долго еще вздрагивала при каждомъ прикосновеніи ласкающей руки, и ей больно было отъ непривычной ласки, словно отъ удара.

#### Ш.

Всею своею собачьею душой расцвѣла Кусака. У нея было имя, на которое она стремглавъ неслась изъ зеленой глубины сада; она принадлежала людямъ и могла имъ служить. Развѣ не достаточно этого для счастья сабаки?

Съ привычкою къ умѣренности, создавшеюся годами бродячей, голодной жизни, она ѣла очень мало, но и это малое измѣнило ее до неузнаваемости; длинная шерсть, прежде висѣвшая рыжими, сухими космами и и на брюхѣ вѣчно покрытая засохшею грязью, очистилась, почернѣла и стала лосниться, какъ атласъ. И когда она отъ нечего дѣлать выбѣгала къ воротамъ, становилась у порога и важно осматривала улицу вверхъ и внизъ, никому уже не приходило въ голову дразнить ее или бросить камнемъ.

Но такою гордою и независимою она бывала только наединъ. Страхъ не совсъмъ еще выпарился огнемъ ласкъ изъ ея сердца, и всякій разъ при видъ людей, при ихъ приближеніи она терялась и ждала побоевъ. И долго еще всякая ласка казалась ей неожиданностью, чудомъ, котораго она не могла понять, и на которое она не могла отвътить. Она не умъла ласкаться. Другія собаки умъютъ становиться на заднія лайки, тереться у ногъ и даже улыбаться и тъмъ выражають свои чувства, но она не умъла.

Единственное, что могла Кусака, это упасть на спину, закрыть глаза и слегка завизжать. Но этого было

мало, это не могло выразить ея восторга, благодарности и любви, и съ внезаннымъ наитіемъ Кусака начала дълать то, что, быть можеть, когда-нибудь она видъла у другихъ собакъ, но уже давно забыла. Она нелъпо кувыркалась, неуклюже прыгала и вертълась вокругъ самой себя, и ея тъло, бывшее всегда такимъ гибкимъ и ловкимъ, становилось неповоротливымъ, смъшнымъ и жалкимъ.

- Мама, лъти! смотрите, Кусака играетъ!—кричала Леля и, задыхаясь отъ смъха, просила:
  - Еще, Кусачка, еще! Воть такъ! Воть такъ...

И всѣ собирались и хохотали, а Кусака вертѣлась, кувыркалась и падала, и никто не видѣлъ въ ея глазахъ странной мольбы. И какъ прежде на собаку кричали и улюлюкали, чтобы видѣть ея отчаянный страхъ, такъ теперь нарочно ласкали ее, чтобы вызвать въ ней приливъ любви, безконечно смѣшной въ своихъ неуклюжихъ и нелѣпыхъ проявленіяхъ. Не проходило часа, чтобы кто-нибудь изъ подростковъ или дѣтей не кричалъ:

— Кусачка, милая Кусачка, поиграй!

И Кусачка вертълась, кувыркалась и падала при несмолкаемомъ веселомъ хохотъ. Ее хвалили при ней и за глаза, и жалъли только объ одномъ, что при постороннихъ людяхъ, приходившихъ въ гости, она не хочетъ показать своихъ штукъ и убъгаетъ въ садъ или прячется подъ террасой.

Постепенно Кусака привыкла къ тому, что о пищъ не нужно заботиться, такъ какъ въ опредъленный часъ кухарка дасть ей помоевъ и костей, увъренно и спокойно дожидась на свое мъсто подъ террасой и уже искада и просида даскъ. И отяжелъда она: ръдко бъгада съ дачи, и когда маленькія дъти звади ее съ собою въ дъсъ, уклончиво видяда хвостомъ и неза-

мътно исчезала. Но по ночамъ все такъ же громокъ и бдителенъ былъ ея сторожевой лай.

#### IV.

Желтыми огнями загорёлась осень, частыми дождями заплакало небо, и быстро стали пустёть дачи и умолкать, какъ будто непрерывный дождь и вётеръ гасили ихъ, точно свёчи, одну за другой.

- Какъ же намъ быть съ Кусакой? въ раздумьть спрашивала Леля. Она сидъла, охвативъ руками колъна, и печально глядъла въ окно, по которому скатывались блестящія капли начавшагося дождя.
- Что у тебя за поза, Леля! ну, кто такъ сидитъ?— сказала мать и добавила:—А Кусаку придется оставить. Богъ съ ней!
  - Жа-а-лко,—протянула Леля.
- Ну, что подълаешь? Двора у насъ нътъ, а въ комнатахъ ее держать нельзя, ты сама понимаешь.
- Жа-а-лко,—повторила Леля, готовая заплакать. Уже приподнялись, какъ крылья ласточки, ея темныя брови, и жалко сморщился хорошенькій носикъ, когда мать сказала:
- Догаевы давно уже предлагали мнѣ щеночка. Говорять, очень породистый и уже служить. Ты слышишь меня? А эта что—дворняжка!
  - Жа-а-лко, —повторила Леля, но не заплакала.

Снова пришли незнакомые люди, и заскрипѣли возы и застонали подъ тяжелыми шагами половицы, но меньше было говора, и совсѣмъ не слышно было смѣха. Напуганная чужими людьми, смутно предчувствуя бѣду, Кусака убѣжала на край сада и оттуда, сквозь порѣдѣвшіе кусты, неотступно глядѣла на видимый ей уголокъ террасы и на сновавшія по немъ фигуры въ красныхъ рубахахъ.

- Ты здѣсь, моя бѣдная Кусачка,—сказала вышедшая Леля. Она уже была одѣта по-дорожному—въ то коричневое платье, кусокъ отъ котораго оторвала Кусака, и черную кофточку.—Пойдемъ со мной!

И онъ вышли на шоссе. Дождь то принимался итти, то утихаль, и все пространство между почернъвшею землей и небомъ было полно клубящимися, быстро идущими облаками. Снизу было видно, какъ тяжелы они и непроницаемы для свъта отъ насытившей ихъ воды, и какъ скучно солнцу за этою плотною стъной.

Налъво отъ шоссе тянулось потемнъвшее жнивье, и только на бугристомъ и близкомъ горизонтъ одинокими купами поднимались невысокіе разрозненные деревья и кусты. Впереди, недалеко, была застава и возлъ нея трактиръ съ желъзной красной крышей, а у трактира кучка людей дразнила деревенскаго дурачка, Илюшу.

- Дайте копеечку,—гнусавиль протяжно дурачокь, и злые, насмъщливые голоса наперебой отвъчали ему:
  - А дрова колоть хочешь?

И Илюша цинично и грязно ругался, а они безъ веселья хохотали.

Прорвался солнечный лучъ, желтый и анемичный, какъ будто солнце было неизлѣчимо больнымъ; шире и печальнѣе стала туманная осенняя даль.

— Скучно, Кусачка!—тихо проронила Леля, и не оглядываясь, пошла назадъ. И только на вокзалъ она вспомнила, что не простилась съ Кусакой.

### V.

Кусака долго металась по слѣдамъ уѣхавшихъ людей, добѣжала до станціи и—промокшая, грязная вернулась на дачу. Тамъ она продѣлала еще одну новую штуку, которой пикто, однако, не видалъ: первый разъ взошла на террасу и, приподнявшись на заднія лапы, заглянула въ стеклянную дверь и даже поскребла когтями. Но въ комнатахъ было пусто, и никто не отвътилъ Кусакъ.

Поднялся частый дождь, и отовсюду сталь надвигаться мракъ осенней длинной ночи. Быстро и глухо онъ заполнилъ пустую дачу; безшумно выползаль онъ изъ кустовъ и вмѣстѣ съ дождемъ лился съ непривѣтнаго неба. На террасѣ, съ которой была снята парусина, отчего она казалась обширной и странно пустой, свѣтъ долго еще боролся съ тьмою и печально озарялъ слѣды грязныхъ ногъ, но скоро уступилъ и онъ.

Наступила ночь.

И когда уже не было сомнёній, что она наступила, собака жалобно и громко завыла. Звенящей, острой, какъ отчаяніе, нотой ворвался этоть вой въ монотонный, угрюмо покорный шумъ дождя, прорёзалъ тьму и, замирая, понесся надъ темнымъ и обнаженнымъ полемъ.

Собака выла—ровно, настойчиво и безнадежно спокойно. И тому, кто слышаль этоть вой, казалось, что это стонеть и рвется къ свъту сама безпросвътнотемная ночь, и хотълось въ тепло, къ яркому огню, къ любящему женскому сердцу.

Собака выла.

# RHUTA.

(1901)

T

Докторъ приложилъ трубку къ голой груди больпого и сталъ слушать: большое, непомърно разросшееся сердце неровно и глухо колотилось о ребра, всхлипывало, какъ бы плача, и скрипъло. И это была такая полная и зловъщая картина близкой смерти, что докторъ подумалъ: "однако!", а вслухъ сказалъ:

- Вы должны избътать волненій. Вы занимаетесь, въроятно, какимъ-нибудь изнурительнымъ трудомъ?
- Я писатель—отвътиль больной и удыбнулся. Скажите, это опасно?

Докторъ приподиялъ плечо и развелъ руками.

- Опасно, какъ и всякая бользнь. Тътъ еще иятналиать—двалцать—проживете. Вамъ этого хватитъ?—
  ношутиль онъ и, съ уваженіемъ къ литературъ, помогъ
  больному нальть рубашку. Когда рубашка была нальта, лицо писателя стало слегка синеватымъ, и нельзя
  было понять, молодъ онъ или уже совсъмъ старикъ.
  Губы его продолжали улыбаться, дасково и недовърчиво.
- Благодарю на лобромъ словъ—сказалъ онъ. Виновато отведя глаза отъ доктора, онъ долго искалъ глазами, куда положить деньги за визитъ, и, наконецъ,

нашель: на письменномъ столъ, между чернильницей и боченкомъ для ручекъ, было уютное, скромное мъстечко. И туда положилъ онъ трехрублевую зелененькую бумажку, старую, выцвътшую, взлохматившуюся на сгибахъ.

"Теперь ихъ новыхъ, кажется, не дълаютъ"—подумалъ докторъ про зелененькую бумажку и почему то грустно нокачалъ головой.

Черезъ иять минуть докторъ выслушиваль слѣдующаго, а писатель шель по улицѣ, щурился отъ весенняго солнца и думаль: почему всѣ рыжіе люди весною ходять по тъневой сторонѣ, а лѣтомъ, когда жарко, по солнечной? Докторъ тоже рыжій. Еслибы онъ сказалъ пять или десять лѣтъ, а то двадцать—значитъ, я умрускоро. Немного страшно. Даже очень страшно, но...

Онъ заглянуль къ себъ въ сердце и счастливо улыбнулся.

Какъ свътитъ солнце! Какъ будто оно молодое, и ему хочется смъяться и сойти на землю.

#### II.

Рукопись была толстая; листовъ въ ней было много; по каждому листу шли маленькія убористыя строчки, и каждая изъ нихъ была частицею души писателя. Костлявою рукою онъ благоговъйно перебиралъ страницы, и бълый отсвътъ отъ бумаги падалъ на его лицо, какъ сіяніе, а возлъ на колъняхъ стояла жена, беззвучно цъловала другую костлявую и тонкую руку и плакала.

- Не плачь, родная просиль онъ плакать не нужно, плакать не о чемъ.
- Твое сердце... II я останусь одна во всемъ мірѣ. Одна, о Боже!

Инсатель погладиль рукою склонившуюся къ его колънямъ голову и сказалъ:

— Смотри.

Слевы мѣшаля глядѣть ей, и частыя строки рукописи двигались волнами, ломались и расплывались въ ея глазахъ.

— Смотри!—повториль онъ.—Вотъ мое сердце. II оно навсегда останется съ тобою.

Это было такъ жалко, когда умирающій человѣкъ думалъ жить въ своей книгѣ, что еще чаще и крупитье стали слезы его жены. Ей нужно было живое сердце, а не мертвая книга, которую читаютъ всѣ: чужіе, равнодушные и нелюбящіе.

#### III.

Книгу стали печатать. Называлась она "Въ защиту обездоленныхъ".

Наборщики разорвали рукопись по клочкамъ и каждый набиралъ только свой клочекъ, который начинался иногда съ половины слова и не имълъ смысла. Такъ въ словъ "любовь"—"лю" осталось у одного, а "бовь" досталось другому, но это не имъло значенія, такъ какъ они никогда не читали того, что набираютъ.

— Чтобъ ему пусто было, этому писакъ! Вотъ анафемскій почеркъ!—сказалъ одинъ и, морщась отъ гнъва и нетеривнія, закрылъ глаза рукою. Пальцы руки были черны отъ свинцовой пыли, на молодомъ лицъ лежали темныя свинцовыя тъни и, когда рабочій отхаркнулся и плюнулъ, слюна его была окрашена въ тотъ же темный и мертвенный цвътъ.

Другой наборщикъ, тоже молодой—тутъ старыхъ не было — вылавливалъ съ быстротою и ловкостью обезъяны нужныя буквы и тихонько пълъ:

пига. 139

"Эхъ судьба ль ты мол черная, "Ты какъ ноша мнъ чугунная"...

Дальше словъ пъсни онъ не зналъ и мотивъ у него былъ свой однообразный и безхитростно-печальный, какъ шорохъ вътра въ осенней листвъ.

Остальные молчали, кашляли и выплевывали темную слюну. Надъ каждымъ горъла электрическая лампочка, а тамъ дальше, за стъною изъ проволочной сътки, вырисовывались темные силуэты отдыхающихъмащинъ. Онъ выжидательно вытягивали узловатыя черныя руки и тяжелыми, угрюмыми массами давили асфальтовый полъ. Ихъ было много, и пугливо прижималась къ нимъ молчаливая тьма, полная скрытой энергіи, затаеннаго говора и силы.

#### IV.

Книги пестрыми рядами стояли на полкахъ и за ними не видно было стѣнъ; книги высокими грудами лежали на полу; и позади магазина, въ двухъ темныхъ комнатахъ, лежали все книги, книги. И казалось, что безмолвно содрагается и рвется наружу скованная ими человъческая мысль, и никогда не было въ этомъ царствъ книгъ настоящей тишины и настоящаго покоя.

Съдобородый господинь съ благороднымъ выраженіемъ лица почтительно говорилъ съ къмъ-то по телефону, шопотомъ выругался "идіоты!" и крикнулъ.

— Мишка!—и, когда мальчикъ вошелъ, сдълалъ лицо неблагороднымъ и свиръпымъ и погрозилъ пальцемъ:—тебъ сколько разъ кричать? мерзавецъ!

Мальчикъ испуганно моргалъ глазами, и съдобородый господинъ успокоился. Ногой и рукой онъвыдвинулъ тяжелую связку книгъ, хотълъ поднять ее одною рукою—но сразу не могъ и кинулъ ее обратно на полъ.

- Вотъ отнеси къ Егору Ивановичу.

Мадьчикъ взялъ объими руками за связку и не поднялъ.

— Живо!--крикнулъ господинъ. Мальчикъ поднялъ и понесъ.

#### 1,

На тротуарѣ Мишка толкалъ прохожихъ, и его погнали на середину улицы, гдѣ снѣгъ былъ коричневый и вязкій, какъ песокъ. Тяжелая кипа давила ему спину, и онъ шатался; извозчики кричали на него, и когда онъ вспомнилъ, сколько еще ему идти, онъ испугался и подумалъ, что сейчасъ умретъ. Онъ спустилъ связку съ плечъ и, глядя на нее, заплакалъ.

— Ты чего плачешь?—спросиль прохожій.

Мишка плакаль. Скоро собралась толпа, пришель сердитый городовой съ саблей и пистолетомъ, взяль Мишку и книги и все вмъстъ повезъ на извозчикъ въ участокъ.

- Что тамъ? спросилъ дежурный околоточный надзиратель, отрываясь отъ бумаги, которую онъ составлялъ.
- Неподсильная ноша, ваше благородіе—отвѣтилъ сердитый городовой и ткнулъ Мишку впередъ.

Околоточный вытянуль вверхъ одну руку, такь что суставь хрустнуль и потомъ другую; потомъ поочередно вытянуль ноги въ широкихъ, лакированныхъ сапогахъ. Глядя бокомъ, сверху внизъ, на мальчика, онъ выбросилъ рядъ вопросовъ:

- Кто? Откуда? Званіе? По какому дѣлу?
- И Мишка далъ рядъ отвътовъ.
- Мишка. Крестьянинъ. Двѣнадцать лѣтъ, Хозяинъ послалъ.

Околоточный подошель къ связкъ, все еще потягиваясь на ходу, отставляя ноги назадъ и выпячивая грудь, густо вздохнулъ и слегка приподнялъ книги.

- Ого!—сказалъ онъ съ удовольствіемъ. Оберточная бумага на краю оборвалась; околоточный отогнуль ее и прочелъ заглавіе: "Въ защиту обездоленныхъ".
- Ну-ка, ты позвалъ онъ Мишку пальцемъ.— Прочти.

Мишка моргнулъ глазами и отвътилъ:

— Я неграмотный.

Околоточный засмѣялся:

- Xa-xa-xa!

Пришелъ небритый паспортистъ, дыхнулъ на Мишку водкой и лукомъ и тоже засмъялся:

- Xa-xa-xa!

А потомъ составили протоколъ, и Мишка поставилъ подъ нимъ крестикъ.

# BECHON.

(1902)

T.

Когда стемивло и въ комнатахъ зажгли огонь, онъ досталъ изъ-подъ кровати толстые непромокаемые сапоги и сталь надъвать ихь. Оть воды кожа съежилась и затвердела, сапогъ съ трудомъ входилъ на ногу, и съ гримасой влости и отвращенія Павелъ притопнуль ногой. Потомъ, точно ослабъвъ отъ сдъланнаго усилія или вспомнивъ что-то важное, чего нельзя забывать пи на минуту, онъ безсильно бросилъ руки на постель, сгорбился, такъ что голова вошла въ плечи, какъ у больного или старика, и задумался. Въ домъ ходили, разговаривали, весело стучали чайной посудой, и маленькая Катя, оставленная, очевидно, нянькой и добравшаяся до роядя, выстукивала все одну и ту же звонкую и веселую нотку, — а онъ сидълъ неподвижно, съ одной обутой ногой, смотрёль въ поль и думаль о томъ важномъ и страшномъ, о чемъ нельзя забывать ии на минуту. II дышаль онъ такъ тихо, что можно было стать рядомъ и не догадаться, что туть есть живой человъкъ.

Мать увидѣла его, когда онъ проходилъ черезъ столовую, и тревожно спросила: — Ты куда, Павликъ? Павелъ, не оборачивансь, отвътилъ:

— Къ товарищу.

Говорилъ онъ басомъ, и былъ длинный, съ узкими, покатыми плечами, не похожій ни на толстаго, короткошеяго отца, ни на малорослую мать. И когда онъ скрылся въ кухнъ, черезъ которую ходили, обыкновенно, домашніе, мать подумала, что и на этотъ разъ онъ не поцъловалъ ее, уходя, и что теперь онъ никого не цълуетъ: ни мать, ни отца, ен сестеръ. Два раза онъ возвращался домой пьяный, и въ столъ у него, подъ тетрадями, она подсмотрела большой страшный револьверъ и предполагала, что у Павла романъ съ какой-нибудь дурной дівушкой, изъ-за которой онъ можеть надівлать бъды. Отецъ его тоже хотълъ застрълиться, когда быль женихомь, и не застрёлился только потому, что нигдъ не могъ достать револьвера, и она отговорила его. "Всв они хотять стрвляться", -подумала она съ невольной улыбкой, но все-таки ръшила завтра же украсть опасное оружіе и передать отцу. Пусть съ нимъ и разговариваетъ.

Ночь была черна отъ низкаго, покрытаго тучами неба и отъ черной земли, которая вся за послъдніе дни пропиталась дождевой водой, и когда свътъ изъ окна падалъ на протоптанную среди грязи тропинку, она лоснилась, какъ черный атласъ. Фонарей на этой захолустной улицъ не было, и Павелъ шагалъ наудачу: разъ онъ больно ударился колънкой о столбикъ и брезгливо сморщился: ненужная и вздорная боль мъшала думать. Кругомъ находились сады и пахло такъ хорошо, какъ пахнетъ во время дождя въ лъсу: сыростью, березовымъ листомъ и какими-то цвътами, которые только и пахнуть въ сырую погоду. Низкія и плотныя тучи пригнетали душистый воздухъ къ землъ,

и онъ былъ густой и теплый, какъ липовый медъ, и груди дълалось отъ него широко и больно. И ощущая эту странную, задумчивую и нѣжную боль, похожую на далекую пѣсню безъ словъ, Павелъ не могъ понять ее, какъ не могъ онъ понять ни весны, ни жизни, ни самого себя.

Казалось, что теплье не можеть быть, но когда Навель вышель на берегь ръки и уже не видно было силуэтовъ домовъ и огоньковъ въ окнахъ, тьма стала глубокой и тяжелой и такъ близко надвигалась сверху и съ боковъ, точно хотъла задушить. И грязь стала глубже и лужи чаще, и уже не нахло садами, а только широкой невидимой водой и тучами. Сапоги шленали, и этотъ тупой, одинокій звукъ, раздававшійся за спиной и таинственно умолкавшій, когда Навель останавливался, навель на него страхъ. Нашупавъ въ карманъ револьверъ, Навель положить на него руку и такъ, оглядываясь и прислушиваясь, дошель до желъзнодорожной насыни и по скользкимъ ступенькамъ взобрался на нее.

На мосту никого не было, и Павелъ тихо, стараясь не скрипъть ногами по песку, чтобы не услыхалъ сторожъ, прошелъ мимо освъщенной будки и скрылся во тьмъ глубокой выемки, похожей на днище огромнаго длиннаго гроба. И тишина тутъ была такая, какъ въ гробу, и воздухъ неподвижный, сдавленный, какъ будто имъ никогда не дышалъ. За поворотомъ были сложены негодныя шпалы, на которыхъ часто сидътъ Павелъ, и теперь онъ ощунью нашелъ сырыя, исщепленныя полънъя и сълъ, спустивъ ноги. И опять спина его сгорбилась и все тъло охватило страшное безсиліе и покой, которымъ нельзя было върить: гдъ-то въ глубинъ билось что-то тревожное, зловъщее и требующее ръшительнаго, смълаго и ужаснаго ноступка.

-- Воть туть я и лягу,—полумаль Павель, вглядываясь въ невидимые рельсы.

Онъ уже цѣлую недѣлю ходиль сюда и присматривался, и тутъ нравилось ему, такъ какъ все—и воздухъ и могильная тишина говорили о смерти и приближали къ ней. Когда онъ такъ сидѣлъ, тяжело, всѣмъ тѣломъ, и стѣны выемки охватывали его, ему казалось, что онъ уже наполовину умеръ и нужно сдѣлать немного, чтобы умереть совсѣмъ. Каждую весну, воть уже три года, онъ думалъ о смерти, а въ эту весну рѣшилъ, что умереть пора. Онъ ни въ кого не былъ влюбленъ, у него не было никакого горя и сму очень хотѣлось жить, но все въ мірѣ казалось ему ненужнымъ, безсмысленнымъ и оттого противнымъ до отвращенія, до брезгливыхъ судорогъ въ лицѣ.

И бывало это весной. Зимой онъ не замъчалъ жизни и жилъ просто, какъ и всъ, но когда сходилъ снътъ и земля становилась прекрасной, и обнажалось во всей загадочной красоть сілющее небо, онъ чувствоваль себя, какъ птица, у которой обрубили крылья и которую сдълали неуклюжимъ, медленно ползающимъ человфкомъ. И крылатая душа трепетала и билась, какъ въ клъткъ, и непонятна и враждебна была вся эта красота міра, которая зоветь куда-то, но не говорить куда. Потерявшійся, онъ шель къ людямъ съ безмолвнымъ вопросомъ-и всъ людскія лица казались ему плоскими и тупыми, какъ у звърей, а ръчи ихъ ненужными, вздорными и лишенными смысла, какъ бредъ или мычаніе животнаго. У нихъ въ дом'в была корова съ большими глуными глазами, и ему казалось, что мать его, которую онъ любилъ, похожа на эту корову, и отъ этихъ дурныхъ мыслей онъ презиралъ себя.

Далеко за поворотомъ послышался гулъ, который

онь ощутиль скорье вздрогнувшимь тьломь, чьмъ слухомъ. Послышался и угасъ, будто свинцовый воздухъ и тьма задушили его. Блеснули мокрые рельсы и изъ-за черной стъны медленно выилыль огленный глазъ, одинокій и зловъщій. Онъ сталь прямо противъ Павла, и не видно было, подвигается онъ или нътъ, и хотблось, чтобы онъ закрылся или погасъ, но онъ смотрълъ, не мигая, зловъщій и пристальный и становился все больше, все ярче и злъе. Сердце Павла поднялось высоко, къ самому горду-и упало, разбившись на тысячу короткихъ быстрыхъ толчковъ, отъ которыхъ пересохло во рту. Впившись пальцами въ сырыя бревна, онъ наполовину сдвинулся съ нихъ и вытянуль ногу, касаясь носкомъ земли. И поза его была такая, какъ у человъка, который хочеть сдълать быстрый и ръшительный прыжекъ, и когда свъть фонаря упаль на его глаза, они были расширены и въ нихъ былъ ужасъ. Медленно, какъ больной или устадый, прошель мимо Навла слабо освъщенный паровозъ, а за нимъ, какъ тъни, потянулись вагоны, грузно постукивая и колыхаясь. И чувствовалось, какъ тяжела ихъ угрюмая масса и какъ безпощадно дробили бы они тъло попавшее подъ колеса.

Потадъ прошелъ, а Павлу все еще чудилось, что смерть еще тутъ, еще не ушла, и со страхомъ, которому опъ не могъ найти объясненія, онъ быстро соскользнулъ со шпалъ и пошелъ. На мосту онъ увидълъ сторожа и сказалъ ему:

## — Добрый вечеръ!

Сторожь освътиль его фонаремъ, повернулся, ничего не сказаль и ушель въ будку. И опять Павлу стало тяжело, и безнадежно спокойно. Онъ долго стояль, облокотившись на тонкія, желѣзныя перила, всматривался въ ровную тьму, такую же безнадежную и

ровную, какъ его тоска. И, покачавъ головой, онъ громко сказалъ:

# — Завтра.

Когда Павель подходиль къ дому, короткая майская ночь уже подходила къ концу, а у параднаго стояли два экипажа и окна были освъщены. Отъ крыльца двинулась къ пему темная фигура, и встревоженный Павелъ узналъ дворника Василія.

- Что случилось?—спросиль, зная навърное, что чтото случилось и что случившееся ужасно. Что съ мамой?
- Сергъй Васильевичъ были въ клубъ... Маменька велъли подождать васъ тутъ.

#### — Что съ отномъ?

Но онъ ужъ зналъ что. Вездъ, въ кухнъ, столовой и спальнъ быль яркій свъть, ръжущій глаза, и ходили люди. У няньки съдые волосы выбились изъ-подъ платка и она походила на въдьму, но глаза краснъли отъ слезъ и голосъ былъ жалостливый и добрый. Павель оттолкнуль ее, потомъ еще кого-то, кто цвилялся за него и мъщалъ пройти, и сразу оказался въ кабинеть. Все стоядо тамь, какь всегда, и голая женщина улыбалась со ствны, а на полу, посрединъ комнаты лежаль отець въ бълой ночной сорочкъ, разорванной у ворота. Весь свъть оть лампы и свъчей падаль, казалось, только на него и оттого онъ былъ большой и страшный, и лица его не могъ узнать Павелъ. Оно желтвло прозрачной и страшной желтизной и глаза закатились, бълки стали огромные и необыкновенные, какъ у слъпого. Изъ-подъ простыни высунулась рука и одинъ толстый палецъ на ней, съ большимъ золотымъ перстнемъ, слабо шевелился, сгибаясь и разгибаясь, и точно пытаясь что-то сказать. Павелъ сталь на колъни, дрожащими губами поцъловалъ еще живой, шевелившійся палець и, всхлипнувъ, сказаль:

- Зачъмъ на полу? Зачъмъ на полу? Кто-то изъ темноты отвътиль:
- Вы не плачьте. Онъ еще останется живъ. Онъ былъ въ клубъ и съ нимъ сдълалея ударъ, но онъ еще останется живъ.

Изъ сосъдней комнаты послышался вопль, хриплый, клокочущій и неудержимый, какъ хлынувшая черезъ плотину вода. Произительнымъ звукомъ онъ пронесся по комнатамъ, наполнилъ ихъ, и перешелъ въ жалобныя слова:

Го-лубчикъ мой... Сере-женька!...

Умирающій тихо шевелиль пальцемь, и хотя лицо было все-таки желто и неподвижно, казалось, что онъ слышить зовущій его голось, но не хочеть почему-то отвѣчать. И Павель дико закричаль:

— Папа! Да папа же!

II.

Теперь Павель быль старшимь въ домѣ и ему пришлось заказывать гробъ, ѣздить въ церковь за покровомъ и нанимать пѣвчихъ. Днемъ онъ немного заснулъ на дѣтской постели и ему приснилось, что онъ цѣлуетъ голую женщину, ту самую, что висить въ кабинетѣ. Сонъ былъ противный, но онъ скоро забылъ о немъ и все ходилъ, и все распоряжался, и такъ наступила ночь.

Все въ домъ успоконлось. Мать, съ которой на панихидахъ три раза дълалось дурно, уснула съ маленькой Катей: Андрей и Шура тоже спали, наплакавшись за день, и только возилась въ кухнъ прислуга, да въ дальней комнатъ собравшіеся родственники пили чай. Когда вошелъ Павелъ, дядя Егоръ доказывалъ, что въ такія ночи нужно пить чай съ ромомъ или съ коньякомъ. — Въ домѣ всегда нужно имѣть коньякъ, — говорилъ онъ, — потому что коньякъ очень хорошо дѣйствуетъ на организмъ. Простудишься ли, ноги ли промочишь, или какая непрілтность сейчасъ выпилъ коньяку и испариной все выйдетъ. Павликъ, ты не хочешь стаканчикъ съ коньячкомъ? Выпей.

Лицо у дяди Егора было плоское и красное, и Павелъ подумалъ, что лучше было бы, если бы умеръ дядя Егоръ, а не отецъ. И онъ сурово отвътилъ:

## — Не хочу.

Если посмотрѣть со двора на домъ, то сразу можно было подумать, что въдомѣ большой и веселый праздникъ: всѣ окна были освѣщены и цѣлые снопы свѣта падали отъ нихъ на землю. Но было что-то жуткое и необыкновенное въ этомъ домѣ, горѣвшемъ всѣми своими окнами среди темной ночи, и чувствовалось, что тамъ, въ одной изъ комнатъ его, лежитъ нѣмой и холодный мертвецъ. Онъ лежитъ, нѣмой неподвижный, и господствуетъ надъ всѣмъ домомъ, и все, что есть вокругъ, принадлежитъ ему и служитъ для него.

Павелъ ходилъ по двору взадъ и впередъ и повторялъ все одни и тѣ же слова, которыя остались у него въ памяти отъ панихиды:

— Со святыми упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Онъ повторялъ ихъ десятки и сотни разъ, то нѣжно, то съ безнадежнымъ отчаяніемъ, и каждое слово выговаривалъ ясно и глубоко, но вкладывалъ въ него совсѣмъ особенный смыслъ.

И всё эти слова значили одно: смерть. И всё мысли, какія были у Павла, значили одно: смерть. Изъ сада шель густой и сильный запахъ травы, деревьевъ и распустившагося жасмина, и запахъ этотъ значилъ все то же: смерть. И непонятно было, зачёмъ этотъ

сладкій и веселый запахь, когда умерь человѣкь, обонявшій его: зачѣмь эти звѣзды и мягкая теплая тьма; зачѣмь этоть свѣть въ окнахь, когда человѣкь умерь и лежить нѣмой и холодный, какъ глыба бездушнаго льда.

Въ темномъ сараъ Павелъ нашелъ прислоненную къ стънъ крышку широкаго гроба. Подъ ней будетъ лежать отець, и Павель забрался подъ нее и всталь, стараясь быть неподвижнымъ и не дышать, какъ мертвець. Онъ думаль, что такъ онъ скоръе пойметь, что такое смерть. Но отъ крышки шелъ пріятный запахъ свъжаго теса, и было въ немъ, какъ въ запахѣ листвы, что-то противоръчащее смерти, еще болъе загадочное, чъмъ она, и настойчиво зовущее. Навелъ закрывалъ глава и думаль, что и онь будеть также лежать и будеть мертвъ, но сердце его громко стучало, и ему было жаль отца, а пріятный запахъ дерева обвѣвалъ его тонкой, живой и перазрывной паутинкой. И онъ не могъ представить, что будеть когда-нибудь мертвъ. Когда онъ вышель изъ сарая, еще сильнъе нахнуло ароматомъ цвътущаго сада, и откуда-то издалека пронеслась тихая, но торжествующая, опьяненная жизнью и любовью пъснь соловья. И со всей острой жалостью измученнаго сердца, со всей неразгаданной страстной тоской, со всей предестью майской ночи-жизнь была такъ прекрасна, что хотълось умереть — чтобы жить вѣчно.

Шатаясь, Павель дошель до забора, припаль къ нему головой и долго плакаль, повторяя запавшія въ память слова:

— Со святыми... упокой...

Но теперь они уже не значили: смерть.

На утро онять начались хлоноты. Пришель фотографъ, чтобы сиять портреть съ мертваго Сергъя Васильевича, и было уже пора, такъ какъ покойникъ началъ портиться. Гробъ вынесли на террасу, гдѣ было свѣтлѣе, и фотографъ, остробородый и быстрый человѣкъ въ пиджачкѣ,долго приспособлялъ аппаратъ. Голова мертвеца лежала неудобно, ифотографу, видимо, хотѣлось сказать: потрудитесь немного повернуть ее и улыбнитесь—и съ снисходительной почтительностью, стараясь выказать свое пониманіе, что онъ имѣетъ дѣло съ мертвецомъ, онъ осторожно двумя пальцами повернулъ ее. Голова покачнулась и опять стала на свое мѣсто, но фотографъ сдѣлалъ видъ, что доволенъ.

— Такъ будетъ хорошо—сказалъ онъ. Дядя Егоръ посмотрълъ сбоку и подтвердилъ:

— Да, хорошо.

Но тутъ вошла мать Павла. Никого не видя, сразу ставшая съдой и старой, она медленно со старческой дрожью въ ногахъ поднялась по ступенькамъ, тихо подошла къ гробу и руками впередъ упала на него.

- Мама! Мама!—просилъ Павелъ, стараясь отвести ее. Но она отпихивалась локтями, цѣплялась, тащила за собой тяжелый покровъ и говорила:
  - Пусти... Пусти!.. Это я ему.

И въ рукъ у нея Павелъ увидълъ скомканные, жалкіе цвъты: голубенькій колокольчикъ и одуванчики. Они были, какъ она ихъ сорвала, съ листьями и травой, и держала она ихъ такъ кръпко, что изъ одуванчика выступилъ бълый, какъ молоко, сокъ.

— Сестра!—сказалъ дядя Егоръ—успокойся.

Павель оттолкнуль его плечомь и кротко сказаль:

— Положи, мама.

И живые цвъты легли на грудь мертвеца. Когда мать и Павелъ ушли, фотографъ придалъ цвътамъ живописное положение, и дядя Егоръ похвалиль его.

- --Трудное ваше дѣло--фотографія. Требуеть большого искусства.
- Да-съ. Съ живыми-то ничего, по мертвые... и щелкнулъ аппаратомъ.

Потомъ опять начались панихиды и "со святыми упокой". Пріфзжали знакомые Сергфя Васильевича и сослуживцы, которыхъ Павелъ водилъ курить въ садъ, и вев они предлагали ему папиросу, какъ равному. И все въ домъ пропиталось запахомъ ладона и еще какимъ-то другимъ тяжкимъ и зловъщимъ запахомъ. Подъ столомъ, на которомъ лежалъ покойникъ, уже стояла кадка со льдомъ, а къ вечеру пришлось заложить у покойника нось и уши ватой и положить вату на роть. И видны были только добъ, гладкій, какъ изъ кости, и стращно кръпко закрытые глаза, какъ будто человъкъ этотъ закрылъ ихъ и ръшилъ никогда уже не открывать. И хотя покойникъ сталъ страшнъе, чъмъ быль, и дьячекъ жаловался, что въ комнатъ съ нимъ трудно быть, въ эту ночь всъ спали спокойнъе и кръпче, такъ какъ привыкли къ его присутствію.

На третье утро Сергъя Васильевича похоронили. Опять Навель распоряжался, отгоняль любопытныхь, мъшавшихъ пронести въ двери гробъ, помогаль выволить изъ церкви мать, съ которой часто дълалась дурнота, и вмъстъ съ дядей Егоромъ приглашаль всъхъ послъ погребенія къ закускъ. Онъ кланялся, слабо улыбался, считаль на рукъ мелочь, которую принесла ему какая-то старушка, и время бъжало такъ быстро, и событія шли такъ скоро одно за другимъ, внъ его воли, что онъ не успъваль ни думать, ни вспоминать. Потомъ онъ шель за высокимъ катафалкомъ и глядълъ, не отрываясь, на стриженый затылокъ отца. Отъ неровностей дороги и толчковъ голова слегка покачивалась, а сверху и съ боковъ все горъло отъ яркаго

майскаго солнца, и пыль подъ погами свѣтилась и жгла обувь. Свади стучали колеса и слышались частые возгласы дяди Егора:

- Сестра! успокойся.

Павелъ слышалъ ихъ и понималъ, что мать его опять плачетъ, но охваченный страннымъ, тупымъ равнодушіемъ не оборачивался. И отъ всѣхъ похоронъ у него остались въ памяти только стриженый, покачивающійся затылокъ отца, да бѣлые отъ пыли сапоги.

Съ кладбища его вмъстъ съ какимъ-то господиномъ повезъ быстрый и веселый извозчикъ, подымавшій цълыя тучи пыли. Пролетка прыгала и плавно покачивалась, по сторонамъ за низенькими заборами подымались густые и свъжіе сады, и все это было такъ красиво и пріятно послъ медленнаго и однообразнаго движенія за катафалкомъ, что Павелъ глубоко вздохнулъ и попросилъ у спутника папиросу. Въ комнатахъ всъ окна были раскрыты настежъ, всюду стояли цвъты, и нельзя было подумать, что совсъмъ недавно здъсь стоялъ покойникъ. И объдали долго и шумно. Дядя Егоръ всъхъ угощалъ, ловко наливалъ рюмки и не принималъ никакихъ отговорокъ.

— Надо помянуть покойника— убъдительно говориль онъ.—Батюшка, пожалуйте! О. діаконъ, а что же ваша рюмка-то?

Когда всѣ посторонніе разъѣхались, Павель пошель въ садъ и долго ходиль по его тѣнистымъ дорожкамъ и съ изумленіемъ глядѣлъ по сторонамъ. Ему казалось, что долго, очень долго онъ лежалъ въ тѣсномъ и узкомъ гробу, не дышалъ, не видѣлъ солнца и не зналъ всей этой пышной, расточительной красоты.

Земля творила. Такъ густо, что не проникалъ взглядъ, зеленѣли пушистые, гладкіе, широкіе и острые листья. Всѣ были молодые, радостные, полные могучей силой

и жизнью. Казалось, можно было уловить глазомъ, какъ они растуть и дышатъ, какъ изъ влажной и теплой земли тянется къ солнцу трава. И все въ саду было полно густымъ гудъніемъ, полнымъ заботы и страстной радости жизни Оно было вверху, и внизу, не видно было, кто гудитъ и поетъ, и чудилось, что это поетъ трава, цвъты и высокое синее небо. Казалось, что можно было слышать траву и обонять душистое знойное жужжанье, такъ все, запахъ, звукъ и краска неразрывно сливались въ одну дивную гармонію творчества и жизни.

Въ углу, подъ солнцемъ, Павелъ увидълъ березку, на его глазахъ посаженную отцомъ. Онъ помнилъ, какъ тогда чернъла разрытая земля и тамъ была березка, а теперь она стояла стройная, высокая и легко, безъ усилія, простирались въ воздухъ ея сердцевидные листья, окрашенные нъжной молодой зеленью. И Павлу стало жаль отда, и стройная березка сдълалась ему родной и милой, какъ булто въ ней еще не умеръ и никогда не умретъ духъ того, кто далъ ей эту зеленую, веселую жизнь.

— Павликъ, гдѣ ты?—звали его.

Отъ дома разбитой походкой шла мать, и за ней, держась за подолъ, переваливался Шурка.

- -- Какъ я устала сказала она, садясь на скамейку: побудь со мной, Павликъ.
  - Хорошо, мамочка.

Внечанно мать встала и упала на колъни передъ Навломъ, потащивъ за собой и крѣпко державшагося Шурку. И плача тихими слезами горя, прижимаясь лицомъ къ рукѣ сына, проговорила:

— Павля! милый... Ты одинъ теперь у цасъ... Ты одинъ наша защита.

И Шурка серьезно проговорилъ:

#### — Павля! А Павля?

Павелъ гладилъ рукой съдую, вздрагивающую голову, и далекимъ чернымъ сномъ пробъжала передънимъ мрачная желъзнодорожная вътка и одинокій зловъщій глазъ. Онъ гладилъ вздрагивающую голову, смотрълъ на сморщившагося Шурку, и видълъ, какіе всъ они маленькіе, и жалкіе, и одинокіе, и какъ они нуждаются въ защитъ и любви. И онъ почувствовалъ себя сильнымъ и кръпкимъ, и голосъ его былъ полный и громкій, когда онъ сказалъ:

— Да, мама. Я буду жить.

# городъ,

(1902)

Это быль огромный городь, въ которомъ жили они: чиновникъ коммерческаго банка Петровъ и тотъ, другой, безъ имени и фамиліи.

Встръчались они разъ въ годъ—на Пасху, когда оба дълали визитъ въ одинъ и тотъ же домъ господъ Василевскихъ. Истровъ дълалъ визиты и на Рождество, но, въроятно, тотъ, другой, съ которымъ онъ встръчался, прітажалъ на Рождество не въ тъ часы, и они не видъли другъ друга. Первые два-три раза Петровъ не замъчалъ его среди другихъ гостей, но на четвертый годъ лицо его показалось ему уже знакомымъ и они ноздоровались съ улыбкой,—а на пятый годъ Петровъ предложилъ ему чокнуться:

- За ваше здоровье!—сказалъ онъ привътливо и протянулъ рюмку.
- За ваше здоровье!- отвътить, улыбаясь, тоть и протянулъ свою рюмку.

Но имени его Петровъ не подумалъ узнать, а когда вышель на улицу, то совсъмъ забылъ о его существовани и весь годъ не вспоминаль о пемъ. Каждый день онь ходилъ въ банкъ, гдъ служилъ уже десять лътъ, зимой паръдка бывалъ въ теагръ, а лътомъ ъздилъ къ

знакомымъ на дачу, и два раза былъ боленъ инфлуэнцой—второй разъ передъ самой Пасхой. И уже веходя по лъстинцъ къ Василевскимъ, во фракъ и съ складнымъ цилиндромъ подъ мышкой, онъ впомнилъ, что увидитъ тамъ того, другого, и очень удивился, что совсъмъ не можетъ представить себъ его лица и фигуры. Самъ Петровъ былъ низенькаго роста, немного сутулый, такъ что многіе принимали его за горбатаго, и глаза у него были большіе черные съ желтоватыми бълками. Въ остальномъ онъ не отличался отъ всъхъ другихъ, которые два раза въ годъ бывали съ визитами у господъ Василевскихъ, и когда они забывали его фамилію, то называли его просто "горбатенькій".

Тотъ, другой, былъ уже тамъ и собирался уъзжать, по, увидъвъ Петрова, улыбнулся привътливо и остался. Онъ тоже былъ во фракъ и тоже съ складнымъ цилиндромъ, и больше инчего не успълъ разсмотръть Петровъ, такъ какъ занялся разговоромъ, ъдой и чаемъ. Но выходили они вмъстъ, помогали другъ другу одъваться, какъ друзъя; въжливо уступали дорогу и оба дали швейцару по полтинику. На улицъ они немного остановились и тотъ, другой, сказалъ:

- Дань! Ничего не подълаеть.
- Ничего не подълаешь—отвътилъ Петровъ: дань! И такъ какъ говорить было больше не о чемъ, они ласково улыбнулись и Петровъ спросилъ.
  - Вамъ куда?
  - -- Мит налтво, А вамъ?
  - Миъ направо.

На извозчикъ Петровъ вспомнилъ, что онъ опять не успълъ ни спросить объ имени, ни разсмотръть его. Онъ обернулся: взадъ и впередъ двигались экипажи, тротуары чернъли отъ идущаго народа и въ этой сплошной движущейся массъ того, другого, нельзя

было найти, какъ нельзя найти песчинку среди другихъ песчинокъ. И опять Петровъ забылъ его и весь голъ не вспоминалъ.

Жилъ онъ много лътъ въ однъхъ и тъхъ же меблированныхъ комнатахъ и тамъ его очень не любили, такъ какъ онъ былъ угрюмъ и раздражителенъ, и тоже называли "горбачемъ". Онъ часто сидълъ у себя въ номеръ одинъ, и неизвъстно, что лълалъ, потому что ни книжку, ни письмо корридорный Өедотъ не считалъ за дъло. Но ночамъ Петровъ иногда выходилъ гулять, и швейцаръ Иванъ не понималъ этихъ прогулокъ, такъ какъ возвращался Петровъ всегда трезвый и всегда одинъ—безъ женщины.

А Петровъ ходилъ гулять ночью потому, что очень боядся города, въ которомъ жилъ, и больше всего боядся его днемъ, когда удицы полны народа.

Городъ былъ громаденъ и многолюденъ, и было въ этомъ многолюдій и громадности что-то упорное, непобъдимое и равнодушно-жестокое. Колоссальной тяжестью своихъ каменныхъ раздутыхъ домовъ онъ давиль землю, на которой стояль, и улицы между домами были узкія, кривыя и глубокія, какъ трещины въ скалъ. И казалось, что всъ онъ охвачены паническимъ страхомъ и отъ центра стараются выбъжать на открытое поле, но не могуть найти дороги, и путаются, и клубятся, какъ змфи, и переръзають другъ друга, и въ безнадежномъ отчаяніи устремляются назадъ. Можно было по цълымъ часамъ ходить по этимъ улицамъ, изломаннымъ, задохнувшимся, замершимъ въ страшной судорогъ, и все не выйти изъ линіи толстыхъ каменныхъ домовъ. Высокіе и низкіе, то красивющіе холодной и жидкой кровью свъжаго кирпича, то окрашенные темной и свътлой краской, они съ непоколебимой твердостью стояли по сторонамъ, равнодушно встръчали и провожали, твенились густой толной и впереди и свади, теряли фивіономію и двлались похожи одинъ на другой—и идущему человівку становилось стращно: будто онъ замеръ неподвижно на одномъ м'єсть, а дома идуть мимо него безконечной и грозной веренипей.

Однажды Петровъ шелъ спокойно по улицъ—и вдругъ почувствовалъ, какая толща каменныхъ домовъ отдъляетъ его отъ широкаго, свободнаго поля, гдъ легко дышетъ подъ солнцемъ свободная земля и далеко окрестъ видитъ человъческій глазъ. П ему почудилось, что онъ задыхается и слфинетъ, и захотълось объжать, чтобы вырваться изъ каменныхъ объятій—и было страшно подумать, что какъ бы скоро онъ ни бъжаль, его будутъ провожать по сторонамъ все дома, дома, и опъ успъетъ задохнуться, прежде чъмъ выбъжать за городъ. Петровъ спрятался въ первый ресторанъ, какой попался ему по дорогъ, но и тамъ ему долго еще казалось, что онъ задыхается, и онъ пилъ холодную воду и протиралъ платкомъ глаза.

Но всего ужаснъе было то, что во всъхъ домахъ жили люди, и по всъмъ улицамъ двигались люди. Ихъ было множество, и всъ они были незнакомые и чужіе, и всъ они жили своей особенной скрытой для глазъ жизнью, непрерывно рождались и умирали, и не было начала и конца этому потоку. Когда Петровъ шелъ на службу или гулять, онъ видълъ уже знакомые и приглядъвшіеся дома и все представлялось ему знакомымъ и простымъ, но стоило, хотя бы на мигъ, остановить вниманіе на какомъ-нибудь лицъ—и все ръзко и грозно мънялось. Съ чувствомъ страха и безсилія Петровъ вглядывался во всъ лица и понималъ, что видитъ ихъ первый разъ, что вчера онъ видълъ другихъ людей, а завтра увидитъ третьихъ, и такъ все-

гда, каждый день, каждую минуту онъ видитъ новым и незнакомым лица. Вонь толстый господинъ, на котораго глядъль Петровъ, скрымся за угломъ—и никогда больше Петровъ не увидитъ его. Никогда. И если захочетъ найти его, то можетъ искать всю жизнь, и не найдетъ.

И Петровъ боялся огромнаго, равподушнаго города. Въ этотъ годъ у Нетрова опять была инфлуэнца, очень сильная съ осложнениемъ и очень часто являлся насморкъ. Кромъ того, докторъ нашелъ у него катарръ желудка, и когда наступила новая Пасха и Петровъ поъхалъ къ господамъ Василевскимъ, онъ думалъ дорогой о томъ, что онъ будетъ тамъ ъсть. И увидъвъ того, другого, обрадовался и сообщилъ ему:

— А у меня, батенька, катарръ.

Тотъ, другой, съ жалостью покачалъ головой и отвинаъ:

## — Скажите, пожалуста!

И опять Петровъ не узналь, какъ его зовуть, но началь считать его хорошимъ своимъ знакомымъ и съ пріятнымъ чувствомъ вспоминаль о немъ. "Тотъ",называль опъ его, но когда хотълъ вспомнить его лицо, то ему представлянись только фракъ, бълый жилеть и улыбка, и такъ какъ лицо совсъмъ не вспоминалось, то выходило, будто улыбаются фракъ и жилетъ. Лътомъ Петровъ очень часто ъздилъ на одну дачу, носиль красный галстухъ, фабрилъ усики и говорилъ недоту, что съ осени перевдеть на другую квартиру. а потомъ пересталь вздить на дачу и на цълый мъсяцъ запилъ. Инлъ онъ нелъпо, со слезами и скандадалами: разъ выбиль у себя въ номеръ стекло, а другой разъ напугаль какую-то даму: вошель къ ней вечеромъ въ номеръ, сталъ на колвни и предложилъ быть его женой. Незнакомая дама была проститутка и

сперва внимательно слушала его и даже смѣялась, но когда онъ заговорилъ о своемъ одиночествѣ и заплакалъ, приняла его за сумасшедшаго и начала визжать отъ страха. Петрова вывели; онъ упирался, дергалъ Өедота за волосы и кричалъ:

## — Вев мы люди! Вев братья!

Его уже рѣшили выселить, по онъ пересталъ пить, и снова по почамъ швейцаръ ругался, отворяя и затворяя за нимъ дверь. Къ Новому году Петрову прибавили жалованья: 100 рублей въ годъ, и онъ переселился въ сосѣдній номеръ, который былъ на пять рублей дороже и выходилъ окнами во дворъ. Петровъ думалъ, что здѣсь онъ не будетъ слышать грохота уличной ѣзды и можетъ хоть забывать о томъ, какое множество незнакомыхъ и чужихъ людей окружаетъ его и живетъ возлѣ своей особенной жизнью.

И зимой было въ номеръ тихо, но когда наступила весна и съ улицъ скололи снъгъ, опять начался грохоть ъзды и двойныя стыны не спасали отъ него. Днемъ, пока Петровъ былъ чъмъ-нибудь занятъ, самъ двигался и шумълъ, онъ не замъчалъ грохота, хотя тотъ не прекращался ни на минуту, но приходила ночь, въ домъ все успокаивалось, и грохочущая улица властно врывалась въ темную комнату и отнимала у пея покой и уединенность. Слышны были дребезжанье и разбитый стукъ отдёльныхъ экипажей; не громкій и жидкій стукь зарождался гдь-то далеко, разростался все ярче и громче и постепенно затихалъ, а на смъну ему являлся новый и такъ безъ перерыва. Иногда четко и въ тактъ стучали однъ подковы лошадей и не слышно было колесь - это проважала коляска на резиновыхъ шинахъ и часто стукъ отдёльныхъ экипажей сливался въ мощный и страшный грохоть, отъ котораго начинали подергиваться слабой дрожью каменныя ствны и

звякали склянки въ шкафу. И все это были люди. Они сиявли въ продеткахъ и экипажахъ, вхали неизвъстно откуда и куда, исчезали въ невъдомой глубинъ огромнаго города, и на смъну имъ являлись новые, другіе люди, и не было конца этому непрерывному и страшному въ своей непрерывности движенію. И каждый профхавшій человъкъ быль отдъльный міръ, съ своими законами и цълями жизни, съ своей женщиной, которую онъ любилъ, съ своей особенной радостью и горемъ,-и каждый былъ, какъ призракъ, который являлся на мигъ и неразгаданный, не узнанный исчезаль. И чьмъ больше было людей, которые не знали другъ друга, тъмъ ужаснъе становилось одиночество каждаго. И въ эти черныя, грохочущія ночи Петрову часто хотблось закричать оть страха, забиться куданибудь въ глубокій подваль и быть тамъ совсъмъ одному. Тогда можно думать только о тъхъ, кого знаешь, и не чувствовать себя такимъ безпредъльно одинокимъ, среди множества чужихъ людей.

На Пасху того, другого, у Василевскихъ не было, и Петровъ замътилъ это только къ концу визита, когда началъ прощаться и не встрътилъ знакомой улыбки. И сердцу его стало безпокойно, и ему вдругъ, до боли, захотълось увидъть того, другого, и что-то сказать ему о своемъ одиночествъ и о своихъ ночахъ. Но онъ помиилъ очень мало о человъкъ, котораго искалъ: только то, что онъ среднихъ лътъ, кажется блондинъ и всегда одътъ во фракъ, и по этимъ признакамъ господа Василевскіе не могли догадаться, о комъ идетъ ръчь.

И она по пальцамъ перечислила иъсколько фами-

<sup>—</sup> У насъ на праздники бываетъ такъ много народа, что мы не всъхъ знаемъ по фамиліямъ— сказала Василевская.—Впрочемъ... не Семеновъ ли это?

лій: Смирновъ, Антоновъ, Никифоровъ; потомъ безъ фамилій: лысый, который служитъ гдѣ-то, кажется въ почтамтѣ; бѣлокуренькій; совсѣмъ сѣдой. И всѣ они были не тѣмъ, про котораго спрашивалъ Петровъ, но могли быть и тѣмъ. Такъ его и не нашли.

Въ этотъ годъ въ жизни Петрова ничего не произошло и только глаза стали портиться, такъ что пришлось носить очки. По ночамъ, если была хорошая погода, онъ ходилъ гулять и выбиралъ для прогулки тихіе и пустынные переулки. Но и тамъ встръчались люди, которыхъ онъ раньше не видалъ, а потомъ никогда не увидить, а по бокамъ глухой ствной высились дома и внутри ихъ все было полно незнакомыми чужими людьми, которые спали, разговаривали, ссорились; кто-нибудь умираль за этими ствнами, а рядомъ съ нимъ новый человъкъ рождался на свътъ, чтобы затеряться на время въ его движущейся безконечности, а потомъ навсегда умереть. Чтобы утъшить себя, Петровъ перечисляль всвхъ своихъ знакомыхъ, и ихъ близкія, изученныя лица были, какъ ствна, которая отдвляеть его отъ безконечности. Онъ старался припомнить всъхъ: знакомыхъ швейцаровъ, лавочниковъ и извозчиковъ, даже-случайно запомнившихся прохожихъ, и вначалъ ему казалось, что онъ знаетъ очень много людей, но когда началъ считать, то выходило ужасно мало: за всю жизнь онъ узналъ всего 250 человъкъ, включая сюда и того и другого. И это было все, что было близкаго и знакомаго ему въ міръ. Быть можеть, существовали еще люди, которыхъ онъ зналъ, но онъ ихъ забылъ, и это было все равно, какъ будто ихъ нътъ совсъмъ.

Тотъ, другой, очень обрадовался, когда увидёль на Пасху Петрова. На немъбылъ новый фракъ и новые сапоги со скрипомъ, и опъ сказалъ, пожимая Петрову руку:

- А я, знаете, чуть не умеръ. Схватилъ воспаленіе легкихъ и теперь тутъ—опъ постучаль себя о бокъ—въ верхушкъ не совсъмъ, кажется, ладно.
  - Да что вы?-искренно огорчился Петровъ.

Они разговорились о разныхъ болъзняхъ и каждый говорилъ о своихъ, и когда разставались, то долго пожимали руки, но объ имени спросить забыли. А на слъдующую Пасху Петровъ не явился иъ Василевскимъ и тотъ, другой, очень безпокоился и разспрашивалъ г-жу Василевскую, ито такой горбатенькій, который бываетъ у нихъ.

- Какъ же,знаю,—сказала она.—Его фамилія Петровъ.
- А зовуть какъ?

Г-жа Василевская хотъла сказать, какъ зовуть, но оказалось, что не знала, и очень удивилась этому. Не знала она и того, гдъ Истровъ служитъ: не то въ почтамтъ, не то въ какой-то банкирской конторъ.

Потомъ не явился тотъ, другой, а потомъ пришли оба, но въ разные часы и не встрътились. А потомъ они перестали являться совсъмъ и господа Василевскіе никогда больше не видъли ихъ, но не думали объ этомъ, такъ какъ у нихъ бываетъ много народа и они не могутъ всъхъ запомнить.

Огромный городъ сталъ еще больше, и тамъ, гдѣ широко разстилалось поле, неудержимо протягиваются новыя улицы, и по бокамъ ихъ толстые, распертые, каменные дома грузно давятъ землю, на которой стоятъ. И къ семи бывшимъ въ городѣ кладбищамъ прибавилось новое, восьмое. На немъ совсѣмъ нѣтъ зелени и пока на немъ хоронятъ только бѣдняковъ.

И когда наступаетъ длинная осенняя ночь, на кладбищъ становится тихо, и только далекими отголосками проносится грохотъ уличной ъзды, которая не прекращается ни днемъ, ни ночью.

# оригинальный человъкъ.

(1902)

Наступила минута молчанія, и среди лязга ножей о тарелки, смутнаго говора за дальними столами, шороха одежды и поскрипыванія половъ подъ быстрыми ногами лакеевъ, чей то тихій и кроткій голосъ произнесъ:

## — А я люблю негритянокъ!

Антонъ Ивановичъ поперхнулся водкой, которую глоталь; собравшій посуду лакей исподлобья бросиль безразлично любопытный взглядь, всё съ изумленіемъ обернулись къ говорившему-и туть впервые увидъли дробное личико съ рыжими усиками, концы которыхъ намокли въ водкъ и щахъ и темнъли, безцвътные маленькіе глазки и тщательно причесанную головку Семена Васильевича Котельникова. Пять лѣтъ служили они вмъстъ съ Котельниковымъ, каждый день здоровались съ нимъ и прощались, и о чемъ-то говорили, всякое двадцатое число послѣ получки жалованья вмъсть съ нимъ объдали въ ресторанъ, какъ сегодня-и первый разъ увидёли его. Увидёли и изумились. Оказалось, что Семенъ Васильевичъ даже не дуренъ, если не считать усиковъ и веснушекъ, похожихъ на грязныя брызги отъ резиновой шины, что онъ хорошо одфвается и высокій бълый воротничекъ у него самый чистый, хоть и бумажный.

Прокашлявшись, Антонъ Ивановичь, столоначальникъ, еще красный отъ напряженія, внимательно и любопытно оглядъль выпученными глазами смутившагося Семена Васильевича, и, задыхаясь, съ удареніемъ спросиль:

- Такъ вы, Семенъ... какъ васъ?
- Семенъ Васильевичъ, напомнилъ Котельниковъ и выговорилъ не "Василичъ", а полностью "Васильевичъ", и то всъмъ понравилось, какъ выраженіе чувства достоинства и самоуваженія.
- Такъ вы, Семенъ Васильевичъ... любите негритянокъ?
  - Да, я очень люблю негритянокъ.

И голосъ у него быль хотя и тихенькій и какъ будто немного сморщенный, какъ залежавшаяся щуплая рѣпа, но пріятный. Антонъ Ивановичъ поджаль нижнюю губу, такъ что сѣдые усы уперлись въ самый кончикъ краснаго, съ ямочками, носа, обвелъ всѣхъ чиновниковъ округлившимися глазами и, выдержавъ необходимую паузу, густо и сочно захохоталь:

— Xa-xa-xa! Онъ любитъ негритянокъ! Xa-xa-xa!

И веф дружно засмѣялись, и толстый и мрачный Нолзиковъ, вообще не умѣвшій смѣяться, болѣзненно заржаль: ги-ги-ги! Семенъ Васильевичъ тоже хохоталъ тихенькимъ и дробнымъ, какъ сухой горохъ, смѣшкомъ, красиѣлъ отъ удовольствія, но въ то-же время слегка боялся: не вышло-бы какихъ непріятностей.

- Да вы это серьезно? спросилъ Антонъ Ивановичъ, отсмъявшись.
- Вполить серьезно-съ. Въ нихъ, въ этихъ черныхъ женщинахъ, есть итчто такое пламенное, или какъ-бы это вамъ пояснить, экзотическое.

#### — Экзотическое?

И опять всё прыснули, но, смёясь, соображали, что Семенъ Васильевичь, даже образованный и умный человёкъ, такъ какъ знаетъ такое рёдкое слово: экзотическій. Потомъ начали съ жаромъ доказывать, что негритянокъ любить нельзя: онё черныя, маслянистыя, у нихъ невозможно толстыя губы и отъ нихъ пахнетъ чёмъ-то дурнымъ.

- А я люблю!—скромно настаивалъ Семенъ Васильевичъ.
- Вольному воля—рѣшилъ Антонъ Ивановичь. А я скорѣе козу полюблю, чѣмъ эту черномазую.

Но всёмъ стало пріятно, что среди нихъ, на правахъ ихъ товарища, находится такой оригинальный человёкъ, который серьезно любитъ негритяйскъ, и по этому случаю заказали еще полдюжины пива, а на сосёдніе столы, гдё не было оригинальныхъ людей, стали смотрёть съ нёкоторымъ презрёніемъ. И говорить начали громче и развязнёе, а Семенъ Васильевичъ пересталъ самъ зажигать синчку для своей папиросы, и ждалъ, пока подастъ огня лакей. Когда пиво было выпито, и заказали еще, толстый Ползиковъ сурово поглядёлъ на Семена Васильевича и съ упрекомъ сказалъ:

- Почему мы съ вами, господинъ Котельниковъ, до сихъ поръ на вы? Кажется, въ одномъ вѣдь отдѣленіи лямку тремъ. Нужно брудершафтъ выпить, если вы порядочный человѣкъ.
- Извольте. Я съ большимъ удовольствіемъ согласился Семенъ Васильевичъ. Онъ то сіялъ отъ восторга, что его наконецъ-то увидёли и оцёнили, то боялся почему-то, что его побьютъ, и на всякій случай держалъ руку у груди, чтобы загородить, въ случай нужды, лицо и прическу. Послѣ Ползикова онъ выпилъ на брудершафтъ съ Тронцкимъ и Новоселовымъ и

остальными, и такъ крѣпко цѣловался, что губы его распухли. Антонъ Ивановичъ пить брудершафта не сталъ, но привѣтливо заявилъ:

— Когда будете въ нашихъ праяхъ, захаживайте. Хоть вы и любите негритянокъ, но у меня дочери. Имъ будетъ интересно поглядъть на васъ. Такъ вы это серьезно?

Семенъ Васильевичъ поклонился, и хотя немного покачивался отъ пива, но всѣ замѣтили, что и манеры у него хорошія. По уходѣ Антона Ивановича еще пили, а потомъ шумно, всей компаніей, шли по Невскому и ни передъ кѣмъ не сторонились, а сами заставляли всѣхъ сторониться. Семенъ Васильевичъ шелъ по срединѣ подъ руку съ Тропцкимъ и мрачнымъ Ползиковымъ и объяснялъ:

- Нътъ, братъ, Костя, ты этого не понимаешь. Въ негритянкахъ есть нъчто особенное, такъ сказать экзотическое.
- II понимать не хочу—говорилъ Ползиковъ:—черная и черная и больше ничего.
- Нътъ, братъ Костя, для этого нуженъ вкусъ. Негритянки, онъ, братъ...—до этого дня Семенъ Васильевичъ ни разу не думалъ о негритянкахъ, и не могъ болъе точно пояснить, что въ нихъ хорошаго, и повторилъ: онъ, братъ, пламенныя.
- Ну чего ты споришь, Костя!—сердито говориль Троицкій, спотыкаясь и шленая большой, обмѣненной калошей!—Удивительный ты спорщикъ, все не по тебѣ. Значитъ, онъ знаетъ, почему любитъ. Валяй, Сеня, люби, не слушай дураковъ. Ты у насъ молодецъ, мы возьмемъ вотъ сейчасъ, да скандалъ устроимъ. Ей-Богу, какого чорта!

Черная и черная, только и всего — угрюмо настанваль Ползиковъ. — Нътъ, Костя, ты этого не понимаешь... — объяснялъ ему кротко Семенъ Васильевичъ, и такъ они шли, качаясь, галдя, споря и толкаясь, и очень довольные.

Черезъ педблю весь департаментъ зналъ, что чиновникъ Котельниковъ очень любитъ негритянокъ, а черезъ мѣсяцъ объ этомъ знали швейцары сосѣднихъ домовъ, просители и постовой городовой на углу. На Семена Васильевича приходили смотрѣть изъ сосѣднихъ отдѣленій барышни, работавшія на ремингтонѣ, а онъ сидѣлъ тихенькій и скромный, и все не зналъ навѣрное, будутъ хвалить его или побьютъ. Одинъ разъ онъ былъ уже на вечерѣ у Антона Ивановича, пилъ чай съ вишневымъ вареньемъ на новой камчатской скатерти, и объяснялъ, что въ негритянкахъ есть нѣчто экзотическое. Барышни конфузились, а дочь хозяина, Настенька, читавшая романы, щурилась близорукими глазами, поправляла завитушки и спрашивала:

# — Но почему?

И всѣмъ было очень пріятно, а когда интересный гость ушель, о немъ говорили съ большимъ сочувствіемь, и Настенька называла его жертвой пагубной страсти. И Семену Васильевичу понравилась Настенька, но такъ какъ онъ любилъ только негритянокъ, то не ръшился показать этого, и быль хоть и въжливъ, но холоденъ и недоступенъ. И всю дорогу онъ думалъ о негритянкахъ, какія онв черныя, маслянистыя и противныя, и при мысли, что онъ цълуеть одну изъ нихъ, у него дълалось что-то вродъ изжоги, хотълось тихонько плакать и писать къ матери въ провинцію, чтобы она пріфзжала. Но за ночь онъ побороль припадокъ малодушія и когда утромъ явился въ канцелярію, то по всей его фигурф, по красному галстучку, по таинственному выраженію лица видно было, что человъкъ этотъ очень любитъ негритянокъ.

Вскоръ послъ этого Антонъ Ивановичъ, принявшій участіе въ его судьбъ, познакомилъ его съ однимъ театральнымъ репортеромъ, а репортеръ безплатно привелъ его въ кафе-шантанъ и представилъ директору m-eur Жаку Дюкло.

— Вотъ этотъ господинъ,—сказалъ репортеръ, выдвигая впередъ скромно склонявшагося Семена Васильевича,—вотъ этотъ господинъ очень любитъ негритянокъ. Никого кромъ негритянокъ. Изумительный оригиналъ. Вы ему, Жакъ Ивановичъ, окажите поощреніе, потому что если такихъ не поощрять, то кого-же поощрять? Это, Жакъ Ивановичъ, дъло общественное.

Репортеръ покровительственно похлопалъ Семена Васильевича по узенькой, гладко обтянутой спинв, а директоръ, французъ съ храбрыми черными усами, вскинулъ глаза къ небу, какъ-бы что-то тамъ отыскивая, сдълалъ ръшительный жестъ, и стръльнувъ черными глазами въ продолжавшаго кланяться чиновника, сказалъ:

— Негритянокъ! Это превосходно. У меня сейчасъ есть три прекрасныя негритянки.

Семенъ Васильевичъ слегка поблъдивлъ, но m-eur Жакъ очень любилъ свое учреждение и ничего не замътилъ. А репортеръ попросилъ:

— Да вы ему, Жакъ Ивановичъ, дайте безплатный билетикъ. Сезонный.

Съ этого вечера Семенъ Васильевичъ началъ ухаживать за негритянкой, миссъ Коррайто, у которой бълки глазъ были какъ глубокія тарелки, а самый зрачекъ не болѣе черносливины. И когла она, медленно поворачивая весь этотъ снарядъ, дѣлала ему глазки, ноги у него холодѣли, онъ посиѣшно кланялся, блестя подъ электричествомъ своей напомаженной головкой, и съ тоской думаль о бѣлной своей матери, которая жи-

ветъ въ провинціи. По-русски миссъ Коррайто ни слова не понимала, но, къ счастью, нашлось много добровольныхъ переводчиковъ, которые приняли близко къ сердцу интересы молодой пары и точно передавали Семену Васильевичу восторженные о немъ отзывы черной дъвицы.

— Она говоритъ: никогда еще не видала такого любезнаго и красиваго джентльмена. Въ́рно?

Миссъ Коррайто учащенно кивала черной головой, скалила зубы, широкіе, какъ клавиши у фортепіано и во всѣ стороны двигала своими тарелками. А Семенъ Васильевичъ также безсознательно кивалъ головой и бормоталъ:

— Скажите ей, пожалуйста, что въ негритянкахъ есть нъчто экзотическое.

И всё были очень довольны. Когда Семенъ Васильевичъ въ первый разъ цёловалъ негритянкё руку, смотрёть собрались почти всё артисты и многіе зрители и одинъ старый купецъ, Богданъ Корнёичъ Селиверстовъ, прослезился отъ умиленія и патріотическихъ чувствъ. Потомъ пили шампанское, и два дня у Семена Васильевича было мучительное сердцебіеніе, онъ не ходилъ на службу и нёсколько разъ начиналъ письмо: дорогая маменька, но отъ слабости не могъ кончить. А когда явился въ канцелярію, его пригласили въ кабинетъ его превосходительства. Семенъ Васильевичъ пригладилъ щеткой волосы, вздыбившіеся за время болёзни, расправилъ темные кончики усовъ, чтобы говорить яснёе, и, замирая отъ страха, вошелъ.

- Послушайте. Правда, мив сказали, что вы...—его превосходительство заикнулся,—правда, что вы любите негритянокъ?
  - Такъ точно, ваше превосходительство. Генералъ сосредоточилъ взглядъ на его темени, по

гладкой срединъ котораго упорно поднимались и дрожали два тонкіе волоска, и нъсколько удивленно, по вмъстъ одобрительно спросиль:

- Э, но почему-же вы ихъ любите?
- Не могу знать, ваше превосходительство, отвътиль Семенъ Васильевичь, такъ какъ мужество его покинуло.
- То-есть, какъ-же не можете знать? Кто-же можетъ знать? Э, вы не ствсняйтесь, мой милый. Я люблю въ моихъ подчиненныхъ проявленія самостоятельности и, вообще, самодвятельности, если онв, конечно, не перехолятъ извъстныхъ законныхъ границъ. Скажите-же миъ откровенно, какъ-бы вы сказали вашему отцу, почему вы любите негритянокъ?
- Въ нихъ, ваше превосходительство, есть нѣчто экзотическое.

Въ тотъ-же вечеръ за геперальскимъ винтомъ въ англійскомъ клубъ его превосходительство, сдавая карты пухлыми бълыми руками, съ дъланной небрежностью замътилъ:

— А у меня въ канцелярін есть чиновникъ, который ужасно любитъ негритянокъ. Простой писецъ, представьте.

И тремъ другимъ генераламъ стало завидно: у нихъ у каждаго, въ департаментъ, было много чиновниковъ, по это были самые обыкновенные, не оригинальные и безцвътные люди, о которыхъ нечего было сказать. Желчный Анатолій Истровичъ долго думалъ, остался на върныхъ четырехъ безъ одной и за слъдующей сдачей сказалъ:

— Вотъ тоже мой экзекуторъ: половина бороды черная, а половина рыжая.

Но всѣ поняду, что побъда осталась на сторонѣ его превосхо пительства: экзекуторъ нисколько не повиненъ въ томъ, что у него половина бороды рыжая, а половина черная, и, въроятно, самъ этому не радъ, а указанный чиновникъ самостоятельно, по доброй волъ, любитъ негритянокъ, каковое пристрастіе, несомивино, свидътельствуетъ о его оригинальныхъ вкусахъ. А его превосходительство, какъ-бы пичего не замъчая, еще добавилъ:

— Утверждаетъ, что въ негритянкахъ есть что-то экзотическое.

Существование во второмъ департаментъ удивительнаго оригинала создало ему весьма лестную популярность въ чиновничьихъ кругахъ столицы и породило, какъ это всегда бываетъ, много неудачныхъ и жалкихъ подражателей. Одинъ съдой и многосемейный писецъ изъ шестого денартамента, уже двадцать восемь латъ незамътно сидъвшій за своимъ столомъ, всенародно заявиль, что умфеть даять по-собачьи, а когда надъ нимъ только посмъялись и всъмъ отдъленіемъ начали лаять, хрюкать и ржать, онъ очень сконфузился и виаль въ двухнедъльный запой, забывъ даже подать рапорть о бользии, какъ дълалъ во всю эти 28 лътъ. Другой чиновникъ, молоденькій, притворился влюбленнымъ въ жену китайскаго посланника и на нъкоторое время привлекъ къ себъ общее внимание и даже сочувствіе, но опытные взоры скоро различили жалкую и недобросовъстную поддълку подъ истинную оригинальность, и неудачникъ былъ позорно ввергнутъ въ пучину прежней безвъстности. Были и другія попытки въ томъ-же родъ и вообще въ тотъ годъ среди чиновниковъ замъчался особый подъемъ духа, давно таившаяся тоска по оригинальному съ особенной силой охватила чиновничью молодежь и въ некоторыхъ случаяхъ повела даже къ трагическимъ послъдствіямъ: одинъ канцеляристъ, сынъ хорошихъ родителей, не

сумъвъ выдумать инчего оригинальнаго, наговорилъ дерзостей начальству и былъ изгнанъ со службы. И у самого Семена Васильевича появились враги, открыто утверждавшіе, что онъ ничего не понимаєть въ негритянкахъ, но какъ-бы въ отвътъ имъ въ одной газетъ ноявилось интервью, въ которомъ Семенъ Васильевичъ публично заявилъ, съ разръшенія начальства, что онъ любитъ негритянскъ за то, что въ нихъ есть нъчто экзотическое. И звъзда Семена Васильевича засіяла новымъ немеркнущимъ свътомъ.

Теперь на вечерахъ у Антона Ивановича онъ сталъ самымъ желаннымъ гостемъ и Настенька не разъ горько илакала, такъ ей жаль было его загубленную молодость, а онъ гордо сидѣлъ по самой серединѣ стола, и чувствуя направленные отовсюду взгляды, дѣлалъ нѣсколько меланхолическое п въ то-же время экзотическое лицо. И всѣмъ: и самому Антону Ивановичу и его гостямъ и даже глухой бабушкѣ, перемывавшей на кухнѣ грязную посуду, было пріятно, что въ домѣ у нихъ совсѣмъ запросто бываетъ такой оригинальный человѣкъ. А Семенъ Васильевичъ возвращался домой и плакалъ въ подушку, такъ какъ очень любилъ Настеньку и всей душой ненавидѣлъ проклятую миссъ Коррайтъ.

Передъ Пасхой прошелъ слухъ, что Семенъ Васильевичъ женится на негритянкъ миссъ Коррайтъ, которая для этого случая принимаетъ православіе и покидаетъ службу у m-eur Жако Дюкло, и что посаженнымъ отцомъ у него будетъ самъ его превосходительство. Сослуживцы, просители и швейцары поздравляли Семена Васильевича, а онъ кланялся коть и не такъ низко, какъ прежде, но еще болъе галантно, и прилизанная головка его блестъла въ лучахъ весениято солнца. На послъднемъ передъ свяльбой весениято солнца. На

черъ у Антона Ивановича, опъ былъ положительнымъ героемъ, и только Настенька черезъ каждые полчаса бъгала въ свою комнатку плакать и такъ потомъ пудрилась, что съ лица ея пудра сыпалась, какъ съ мельничнаго жернова мука и оба сосъда ея въ черныхъ сюртукахъ побълъли соотвътственно этому количеству. За ужиномъ всъ поздравляли жениха и пили за его здоровье, а разошедшійся Антонъ Ивановичъ сказалъ:

- Одно, братъ, интересно: какого цвъта будутъ у тебя дъти?
  - Полосатые, мрачно сказаль Ползиковъ.
  - Какъ-же это, полосатые?-изумились гости.
- А такъ: полоска бълая, полоска черная, полоска бълая, полоска черная,—все также безнадежно пояснилъ Ползиковъ, которому всъмъ сердцемъ жаль было стараго друга.
- Не можетъ этого быть!—возмутился поблѣднѣвшій Семенъ Васильевичъ, а Настенька, не сдержавшись, всхлипнула и выбѣжала изъ-за стола, чѣмъ произвела общій переполохъ.

Два года Семенъ Васильевичъ былъ самымъ счастливымъ человъкомъ и всъ радовались, глядя на него и вспоминая его необычайную судьбу. Однажды онъ былъ принятъ съ супругой у самаго его превосходигельства и при рожденіи ребенка получилъ довольно крупное пособіе изъ сверхсмътныхъ суммъ, а вскоръ затъмъ, внъ очереди, былъ назначенъ помощникомъ дълопроизводителя четвертаго стола. И ребенокъ родился не полосатый, а только слегка сърый, върнъе, оливковый. И всюду Семенъ Васильевичъ говорилъ о томъ, какъ горячо любитъ онъ жену и сына, но не торопился возвращаться домой, а возвратившись, не торопился дергать за ручку звонка. А когда на порогъ его встръчали широкіе, какъ фортеніанные кла-

виши, вубы и вертящілся бълыя тарелки, и гладко причесанная голова его прижималась къ чему-то черному, маслянистому и нахнущему мускусомъ, онъ весь замираль въ чувствъ тоски и лумаль о тъхъ счастливыхъ людяхь, у которыхъ бълыя жены и бълыя дъти.

Милая!—говориль онъ покорио и, по настоянію счастливой матери, шель смотрѣть малютку. Онъ пенавидѣлъ губастаго, сѣраго, какъ асфальтъ малютку, но покорио иянчилъ его, мечтая въ глубинѣ души о возможности уронить его нечаянно на полъ.

Послъ долгихъ кодебаній и потаенныхъ вздоховъ онъ написалъ матери въ провинцію о своей женитьбъ и къ удивленію получилъ отъ нея весьма радостный отвътъ. Ей тоже было пріятио, что сынъ у нея такой оригинальный человътъ, и что самъ его превосходительство былъ посаженнымъ отцомъ, а относительно черноты тъла и лурного запаха она выражалась такъ: пусть морда овечья, была-бы душа человъчья.

А чережь два года Семенъ Васильевичъ умеръ отъ брюшного тифа. Передъ кончиной опъ послалъ за приходскимъ священникомъ и тотъ съ любопытствомъ оглядълъ бывшую миссъ Коррайтъ, расправилъ ишрокую бороду и многозначительно сказалъ:

### — Н-да

Но видно было, что онъ уважаеть Семена Васильевича за оригинальность, хотя и считаеть ее гръховной. Когда батюшка наклонился къ умирающему, послъдній собраль остатки силь и широко раскрыль роть, чтобы закричать:

## - Ненавижу этого черномазаго дьявола!

Но вспомииль онъ его превосходительство, пособіе изъ сверхемътныхъ суммъ, вспомииль добраго Антона Ивановича и Настепьку, взглянулъ на черное заплаканное лицо и тихо сказалъ:

— Я, батюшка, очень люблю негритянокъ. Въ нихъ есть нъчто экзотическое.

Послѣднимъ усиліемъ онъ придалъ своему костенѣвшему лицу подобіе счастливой улыбки и съ ней на устахъ скончался. И земля равнодушно приняла его, не сирашивая, любилъ онъ негритянокъ или нѣтъ, истлила его тѣло, смѣшала его кости съ неизвѣстными костями другихъ умершихъ людей и уничтожила всякій слѣдъ бѣлаго бумажнаго воротничка.

А второй департаментъ долго хранилъ память о Семенъ Васильевичъ, и когда дожидавшіеся просители начинали скучать, швейцаръ водилъ ихъ въ свою каморку курить и разсказывалъ объ удивительномъ чиновникъ, который ужасно любилъ негритянокъ. И всъмъ, разсказчику и слушателямъ, становилось пріятно.

## NHOCTPAHEUB.

(1902)

СР одипнадцати часовъ утра вилоть до восьми вечера студентъ Чистяковъ ходилъ по урокамъ и только разъ въ недълю, по средамъ, когда занятія съ учениками начинались у него позже, заглядываль на минутку въ университетъ, чтобы отмътиться у педеля. На лекцій онъ никогда не заходиль и не зналь даже, гдв расположены аудиторін для юристовъ второго курса, такъ какъ очень не любилъ профессоровъ и ближайшей весной собирался навсегда убхать за-границу-жить и учиться тамъ. Для этой именно цфли онъ набралъ столько работы и копилъ деньги, а по вечерамъ, возвратившись съ уроковъ, занимался нъмецкимъ языкомъ. Поселиться опъ рашилъ въ Германін, въ Берлинъ; тамъ уже съ годъ жилъ его старый пріятель и писаль оттуда длинныя и восторженныя инсьма. II въ каждомъ письмъ настойчиво звалъ его.

Но случалось по вечерамъ, что въ головъ у Чистякова что-то шумъло, какъ вода, падающая съ мельничнаго колеса; передъ утомленными глазами мелькали непріятныя лица учениковъ, и сильпо болълъ лъвый бокъ. Тогда заниматься нельзя было и онъ или ложился въ постель, считалъ накопленныя деньги и

мечталъ о своей жизни въ Берлинъ, или шелъ внизъ, въ шестьдесять четвертый номерь, гдъ вечерами собирались обыкновенно студенты со всего "Съвернаго Полюса", —такъ назывались номера, въ которыхъ онъ жилъ. Онъ не любилъ собиравшихся тамъ студентовъ, какъ не любилъ всего, что его окружало: не любилъ улицъ, по которымъ ходилъ, не любилъ комнаты, въ которой жилъ, не любилъ всей неустроенной, хаотичной, варварски-грубой и безсмысленной жизни. Даже хуже варваровъ казались ему люди, которыхъ онъ видълъ всюду, на улицахъ и въ домахъ: варвары были смѣлы, а эти только не уважали ни себя, ни другихъ, и часто выросталь между ними страшный призракъ тупого насилія и безсмысленной жестокости. Но сознаніе, что скоро онъ уйдетъ отъ нихъ навсегда, увидитъ другихъ, хорошихъ людей, заживетъ настоящею устроенною и доброю жизнью, примиряло его съ остающимися людьми и вызывало странную грусть и тихое сожальніе. И когда онъ приходилъ къ нимъ, высокій, съ узкою и больной грудью, съ безкровнымъ лицомъ постника и лихорадочно блестящими глазами, его тихое "здравствуйте!" звучало, какъ печальное "прощайте!"

А внизу въ шестьдесять четвертомъ номерѣ, всегда было весело, беззаботно и шумно. Отъ того, что въ номерѣ много пили водки и курили, много пѣли и кричали, спали на полу и на диванахъ, воздухъ въ немъ былъ сизый и тяжелый, сильно пахло спиртомъ и селедкой и всегда царилъ безпорядокъ, такой прочный и непобѣдимый, что Чистякову онъ иногда казался особеннымъ порядкомъ. И хозяева комнаты, Ванька Костюринъ и Пановъ были похожи на свою комнату: безпорядочные и прочно утвердившіеся въ своемъ безпорядкѣ, по утрамъ вмѣсто чая они пили водку или пиво, ночью бодрствовали, а днемъ спали.

Имущества у нихъ было очень мало, но на окнахъ всегда стояль рядь порожнихь бутылокь, по росту, начиная отъ четверти и кончая соткой, а на стънъ висъли бубенъ и треугольникъ и лежала хорошая гармонія. Съ тъхъ поръ, какъ одинъ изъ товарищей по номерамъ, сербъ Райко Вукичъ, однажды ночью прошелся съ бубномъ по корридору и страшно напугаль всёхъ жильцовъ, подумавшихъ про пожаръ, каждый вечеръ въ одиннадцать часовъ приходилъ корридорный Сергъй и отбиралъ бубенъ до утра. А утромъ приносилъ его вмъстъ съ парою пива, и длинноусый Ванька Костюринъ, по утрамъ очень мрачный, исполнялъ на бубнъ короткую пъснь-тоже почему-то очень мрачную. А потомъ звонкой и веселой трелью разсыпалась гармонія-и начинался безтолковый и непонятный Чистякову день.

Когда вечеромъ въ шестьдесятъ четвертый номеръ приходилъ Чистяковъ, узкогрудый, болъзненный, неся на себъ слъды трудового дня и строго опредъленной жизненной цъли, компанія встръчала его съ легкой насмъшкой и недоброжелательствомъ.

— Иностранецъ ползетъ!—возвъщалъ Ванька Костюринъ. И студенты смъялись, такъ какъ всъмъ своимъ лицомъ, длинными волосами, синей рубашкой, выглядывавшей изъ-подъ тужурки, Чистяковъ менъе всего походилъ на иностранца. Да и говоръ у него былъ самый великорусскій: мягкій, округлый и задумчивый.

Не любили его студенты за то, что онъ былъ совершенно равнодушенъ къ ихъ жизни, не понималъ ея радостей и похожъ былъ на человъка, который сидитъ на вокзалъ въ ожиданіи поъзда, курить, разговариваетъ, иногда даже какъ будто увлекается, а самъ не сводитъ глазъ съ часовъ. () себъ онъ ничего не разсказываль и никто не зналь, почему въ двадцать девять лѣть онъ только на второмъ курсѣ, но зато много и подробно говориль онъ о за-границѣ и тамошней жизни. И всѣмъ, кого видѣлъ въ первый разъ, сообщаль съ тихимъ восторгомъ гдѣ-то и когда-то услышанную имъ новость: что въ Христіаніи, на самой лучшей площади, народъ воздвигъ два прекрасныхъ памятника: Бьернсону и Ибсену, еще при жизни послѣднихъ, и когда Бьернсонъ и Ибсенъ проходятъ по площади, они видятъ свое изображеніе, отлитымъ изъ вѣчнаго чугуна и бронзы, и такъ радуются любви народа, что оба плачутъ. И разсказывая это, Чистяковъ глядѣлъ въ сторону и вѣки его наливались слезами и краснѣли.

Охотно расказываль онъ и о томъ, сколько скоплено у него денегъ для за-границы—двъсти двадцать рублей, и однажды онъ даже надоълъ всъмъ студентамъ съ жалобою на то, какъ гнусно поступили съ нимъ на одномъ урокъ, обсчитавъ его на одиннадцать рублей. Такъ, взяли и спокойно обсчитали, а когда онъ сталъ требовать, то сперва посмъялись, а потомъ выгнали.

- Въдь это кровныя деньги!—говориль онъ съ гнъвомъ и тоскою.—Въдь можетъ они мнъ двухъ лътъ жизни стоятъ!
- Ну не ной, надовль!—сказаль ему Ванька Костюринь,—хочешь, мы тебв эти одиннадцать цвлковых соберемь промежь себя?

Онъ предложилъ это отъ чистаго сердца и былъ очень удивленъ и обиженъ, когда Чистяковъ съ негодованіемъ отклонилъ предложеніе.

— Не товарищъ ты!—сказалъ Костюринъ съ упрекомъ и всѣ согласились съ нимъ, что Чистяковъ не товарищъ. Это видно было и потому, съ какимъ презрительнымъ равнодушіемъ относился онъ ко всѣмъ

студенческимъ интересамъ: что бы важное ни случилось, какъ бы ни горячился народъ въ шестъдесятъ четвертомъ номерѣ, онъ молчалъ, разсъянно барабанилъ пальцами по столу, и если дебаты затягивались, начиналъ зъвать и уходилъ заниматься нъмецкимъ языкомъ.

— Я не здѣшній!—говориль онь съ шутливымъ извиненіемъ, но въ шуткѣ его была страшная и почему-то очень обидная правда. И было непріятно чувствовать, что они совсѣмъ не знають этого узкогрудаго человѣка, который такъ прямо идеть къ своей цѣли и не хочетъ сказать, откуда взялось въ его больной груди столько силы и рѣшимости.

И особенно не любилъ его Ванька Костюринъ: самъ онъ носиль высокіе сапоги, а літомъ въ деревні поддевку, уважаль все русское, водку, квасъ, жирныя щи и мужиковъ, и старался говорить грубымъ голосомъ и по простонародному; вмъсто «кажется» говорилъ «кажись» и часто употребляль слово «давеча». И онъ не понималь упорнаго стремленія Чистякова за-границу и причислялъ его почему-то къ той же категоріи явленій, какъ бълыя перчатки, постоянная трезвость, визиты и модные сапоги: и два другія названія, данныя имъ Чистякову, были такія: аристократь и собачья старость. Остальные были равнодушны ко всему русскому, охотно бранили его и говорили Чистякову, что и сами повхали бы учиться и жить за-границей, если бы деньги. А онъ уговаривалъ ихъ, доказывалъ, что денегъ всегда можно достать, волновался, но потомъ вглядывался въ ихъ добродушныя, полупьяныя рожи, вспоминаль всю ихъ лънивую, распущенную жизнь-и равнодушно умолкалъ. Гдф-нибудь въ углу на смятой постели онъ усаживался и смотрълъ оттуда блестящими и далекими глазами, такой блёдный, узкогрулинасэтишф и йых

А остальные весело и беззаботно жили со всею безпечностью молодости и здоровья, какъ будто не было у нихъ ни вчерашняго, ни завтрашняго дня, ни проклятыхъ вопросовъ, которые несетъ съ собою проклятая дёйствительность. Широкоплечій, волосатый, толстошей Толкачевъ, съ маленькими и тупыми глазками, показываль силу своихъ мышцъ, подымалъ гири и заставляль встхъ смотрть на себя и восхищаться: онъ быль членомъ гимнастическаго общества, признаваль одну только силу и открыто презираль Университетъ, студентовъ, науку и всякіе вопросы. И многіе его ненавидъли, но боялись его чудовищной силы, его грубости, которая ни передъ чемъ не останивливается, и даже за глаза не ръшались говорить о немъ дурно. И когда кто-нибудь, выведенный изъ терпънія, начиналъ спорить съ нимъ, то всегда начиналъ споръ словами:

— Конечно, всякій свободенъ въ своихъ убъжденіяхъ, но ты, Костя, едва-ли правъ...

А онъ не понималъ этой деликатности и спокойно обрывалъ споръ:

— Ну, стоитъ съ вами, съ дураками, разговаривать. Будь моя воля, я каждый бы день всъхъ васъ на конюшнъ бы дралъ.

И всё дёлали видъ, что онъ шутитъ, и смёялись. Хозяннъ Пановъ крошилъ лукъ для селедки и плакалъ; сербъ Райко Вукичъ, низенькій, сухой, жилистый, горбоносый, съ острымъ раздвоеннымъ подбородкомъ, по которому выступала колючая щетина, и обвисшими усами, глядёлъ на водку, молчалъ и ждалъ, когда нальютъ. Этотъ Райко былъ чудакъ. Трезвый онъ молчалъ, а когда выпивалъ немного водки, то начиналъ смёшнымъ и ломаннымъ языкомъ горячо и упорно разсказывать про Сербію какія то мелкія и неинтересныя вещи: о партіяхь, о радикалахь и туркахь, о какомъто скверномь и ужасномь человькъ Бодемличъ и еще о чемъ-то. И онъ такъ расхваливаль маленькую и плохенькую Сербію, что всъ умирали со смъху и нарочно дразнили его.

- Господи!—удивлялся Ванька Костюринь.—Говорить про Сербію, а она вся-то съ эту селедку. Возьметь ее турокъ, да и проглотитъ.
- Подавится!—возражаль Райко, щетинясь усами, подбородкомь, острыми глазками, всей своей колючей и жилистой фигуркой.
  - И выплюнеть: экая дрянь, скажеть!

Райко вспыхивать, окидывать гнѣвнымъ взглядомъ собравшихся и свиръпо бросалъ:

#### — Осли!

И уходилъ въ свой номеръ. Товарищи хохотали, а Чистяковъ, печально улыбаясь, думалъ, какая это дъйствительно маленькая и грустная страна задорныхъ и слабенькихъ людей, постоянной пеурядицы, чего то мелкаго и жалкаго, какъ игра дътей въ солдаты. И ему было жаль маленькаго Райко и хотълось взять его за-границу, чтобы онъ увидълъ тамъ настоящую, широкую и умную жизнь.

Когда бутылки на половину пустъли, студенты начинали пъть, играть на гармоніи и кого-нибудь посылали за Райко, который считался спеціалистомъ по бубну. Райко являлся и мрачно бубнилъ, а глаза его горъли, словно у волка, и были остры, какъ жало осы. Если становилось очень весело и разгоряченная кровь ходуномъ начинала ходить по жиламъ, Ванька Костюринъ вскакивалъ, подергивалъ плечами и плясалъ русскую. Громоздкій и неуклюжій, въ пляскъ онъ былъ легокъ и перышкомъ носился по комнатъ: выбивалъ каблуками частую дробь, взвизгивалъ, гикалъ, и

вся комната точно вертёлась и дрожала отъ стука, заливистыхъ звуковъ гармоніи и захлебывающагося рычанія бубна. И у всёхъ смотрёвшихъ сверкали глаза, подергивались руки и ноги, и кто-нибудь отходилъ въ уголъ, съ безнадежнымъ восторгомъ махалъ рукою и откуда-то изъ глубины выдыхалъ томительное и сладкое: э-э-хъ! И всё они казались Чистякову похожими на сумасшедшихъ.

Кончивъ пляску и тяжело отдуваясь, Ванька Костюринъ просилъ Райко:

- A ну, Райко, покажи, какъ у васъ пляшутъ. Не бойсь, такъ не умъютъ.
  - Такъ не умъють, а лучше умъють.
- Да ты покажи, не бойся! Я знаю, у васъ хорошо пляшутъ.

Всѣ уговаривали, и Райко, пугливо и злобно озираясь, откладывалъ бубенъ. Потомъ лицо его становилось свирѣпымъ и кровожаднымъ, и онъ дѣлалъ нѣсколько странныхъ, порывистыхъ и колючихъ движеній—какъ будто не плясать онъ собирался, а душить, царапать и убивать. Безъ музыки, серьезный, немного страшный, онъ такъ похожъ былъ на маленькаго дикаря, что всѣ разражались хохотомъ, а Райко опять обиженно ругался и уходилъ.

"Какъ они грубы!"—думалъ Чистяковъ и ему было жаль маленькаго Райко, такъ сильно любившаго свою маленькую родину.

Бывалъ въ шестьдесятъ четвертомъ номерѣ студентъ Каруевъ, всегда ровный, всегда веселый, и слегка высокомѣрный. При немъ все нѣсколько мѣнялось: пѣлись только хорошія пѣсни, никто не дразнилъ Райко и силачъ Толкачевъ, не знавшій границъ ни въ наглости, ни въ раболѣнствѣ, услужливо помогалъ ему надѣвать пальто. А Каруевъ иногда умыш-

ленно забывать повлорогаться съ инмъ и заставлялъ его дёлать фокусы, какъ ученую собаку:

- Ну-ка ты, мясо, подними-ка столь за ножку! Толкачевъ самодовольно поднималъ.
  - Л ну-ка согни двугривенный.

Толкачевъ сгибалъ и стыдливо говорилъ:

— А напаша у меня могъ кочергу въ бантикъ завязать.

Но Каруевъ уже не слушалъ его и шелъ разговаривать къ одиноко сидъвшему Чистякову. Съ нимъ опъ быть всегда серьезенъ и жалъюще внимателенъ, какъ докторъ, и когда разговаривалъ, то близко и ласково заглядыватъ ему въ глаза. А Чистяковъ тоже жалъть его и постоянно звалъ съ собою за-границу.

- Ну какъ, ъдете? спрашивалъ Каруевъ.
- Двъсти двадцать собралъ. Еще сто восемьдесять не хватаетъ. А вы?—улыбался Чистяковъ.
- А я нътъ. Тяжело вамъ тамъ будетъ, голубчикъ. Здоровье-то ваше...
  - Тамъ климатъ хорошій.
  - Такъ-то оно такъ, а все же лучше бы въ Крымъ.. Блъдное лицо Чистякова стало еще блъднъе и въ-

Баталное лицо Чистякова стало еще баванье и въки импраженно покрасиван. Дрожа отъ боли и ужаса, точно у него отъ сердца отдирали его за-границу, онъ съ тоскою и отчаяніемъ прошепталь:

- Я умру завсь. Умру. Господи! тамъ люди, тамъ жизнь, а тутъ...—онъ безнадежно махнулъ рукою.
- Ну-ну! успованваль его Каруевь. И поъзжайте съ Богомъ, если такъ хочется.
- Тамъ, вы знаете, умиленио шепталъ Чистяковъ, — тамъ въ Христіаніи Бьерисону заживо памятникъ поставили. И Ибсену. И они каждый день... мимо ходять и видять это. Господи! Хоть бы только коснуться той земли, хоть бы только разъ вздохнуть тёмъ воз-

духомъ!.. Грудь у меня слабая, чахотка, говорять, можеть быть. Умереть бы тамъ.

Каруевъ ласково погладиль его по колфиу.

- Не умрете. Насъ еще переживете! А должно быть жизнь-то порядочно васъ поломала. Ишь, первы.
- Нервы! улыбнулся Чистяковъ. Не первы, а вотъ,—онъ ткнулъ себя въ грудь,—вотъ гдъ сидитъ у меня ваша жизнь!

И началь разсказывать, какъ дешево все за-границей, а люди только дороги. Не такъ какъ у насъ: все дорого, а люди дешевы.

#### II.

На вторую половину года жить Чистякову стало труднъе. Силы у него убавилось, чаще болълъ лъвый бокъ, и на урокахъ онъ легко раздражался, а ученики были тупые, дерзкіе и лънивые. И среди студентовъ въ шестьдесятъ четвертомъ номеръ стало хуже. Тамъ произошла исторія, которую всъ скоро позабыли, а Чистяковъ забыть не могъ, такъ больно она поразила его. Это было еще въ ноябръ: силачъ Толкачевъ ударилъ Ваньку Костюрина по лицу, за что-то поссорившись съ нимъ. Былъ поздній вечеръ, они стояли толною на дворъ, всъ были сильно пьяны и смутно понимали, что происходитъ.

- За что ты меня? крикнулъ Костюринъ.
- А воть за что!—сказалъ Толкачевъ и еще разъ ударилъ, такъ что Костюринъ перегнулся на двое, едва устоялъ на ногахъ, и на зубахъ его показалась кровь. Всъ хмурились, кричали, но никто не ръшался вступиться, и только Чистяковъ съ истерическимъ вскрикомъ бросился на огромнаго Толкачева и неловко ударилъ его, ушибивъ себъ большой палецъ. Потомъ что-

то тяжелое, какъ пудовая гиря, обрушилось на его голову, онъ упалъ, а когда поднялся, всъ стояли кружкомъ и наскакивали на Толкачева, но не били его, а только кричали. Но все же онъ немного струсилъ и оправдывался, сваливая всю вину на Костюрина; послъдній выплевывалъ на снъгъ черную слюну и говорилъ:

— Братцы, развъ такъ можно!

И черезъ десять минутъ ихъ помирили. Они протянули руки и поцъловались, а Чистяковъ всплеснулъруками и заплакалъ отъ боли, отъ скорби и гнъва.

- Господи! Его быють, а онъ цълуется. Въдь это подлость!
- А тебъ что?—черезъ плечо спросилъ его Толкачевъ.—Хочешь, черезъ крышу перекину?
- Иностранецъ!—презрительно сказалъ Костюринъ и всѣ, галдя и смѣясь, тронулись къ воротамъ, а Чистяковъ пошелъ въ свой номеръ, легъ и долго плакалъ въ темнотѣ. Насиліе, несправедливость, какъ туча, стояли надъ нимъ, и далекимъ, недоступнымъ раемъ казались ему чудные и свѣтлые края. "Хоть бы умереть тамъ!"—думалъ онъ, смертельно тоскуя.

На другой день Костюрину стало совъстно и онъ первый разъ за все время знакомства пришелъ въ номеръ къ Чистякову, долго и смущенно оглядывался и хвалилъ комнату.

— Какъ тутъ у тебя чудно! Словно у монашенки!— говорилъ онъ, а потомъ сразу заплакалъ и по длиннымъ перекосившимся усамъ его катились большія, свътлыя слезы и капали на красное сукно номерного грязнаго стола. А черезъ недълю все забылось, и Толкачевъ опять показывалъ силу своихъ мускуловъ и заставлялъ восхищаться ими, но теперь Чистяковъ не могъ безъ ужаса смотръть на его красную толстую

шею и огромный кулакъ, и чувствовалъ себя въ его присутствіи такимъ беззащитнымъ и слабымъ, какъ цыпленокъ передъ ястребомъ. Грубая и тупая сила грозно стояла передъ нимъ и ни въ чемъ не было защиты. Всетаки онъ пересталъ подавать Толкачеву руку, но тотъ встрътилъ это презрительнымъ и искреннимъ хохотомъ и часто заговаривалъ съ нимъ:

— Ну, иностранецъ! Скоро тебя черти унесутъ заграницу? Поскоръе, а то соберусь какъ-нибудь и ребра тебъ пощупаю.

Чистякову было страшно; онъ молчалъ и думалъ: "не понимаетъ даже, что неприлично заговаривать съ человъкомъ, который не подаетъ руки". А Толкачевъ хохоталъ:

— Не бойся: я въдь шучу. На что ты мнъ нуженъ, собачья старость!

II всѣ облегченно вздыхали, такъ какъ боялись, что Толкачевъ и вправду побьетъ его, и иногда уговаривали Чистякова помириться.

— Въдь онъ хорошій малый—говорили они полуискренно, такъ какъ и за глаза не рѣшались говорить о Толкачевъ правду и не рѣшались думать ее. И только одинъ Каруевъ одобрилъ Чистякова и почти пересталъ бывать въ шестьдесятъ четвертомъ номерѣ.

Денегъ было скоплено двъсти девяносто рублей, и была надежда, что къ веснъ, къ апрълю мъсяцу, Чистяковъ соберетъ всъ четыреста. У него было бы больше, но на одномъ урокъ у купца опять не додали десяти рублей, хотя объщались заплатить, а кромъ того пятнадцать рублей онъ далъ Райко, который почти ничего не получалъ изъ дому и содержался на деньги товарищей: за его долю въ квартиръ плату вносилъ Ванька Костюринъ. Съ деньгами въ карманъ Чистяковъ сталъ спокойнъе и увъреннъе. По цълымъ вече-

рамь онъ просиживаль у себя въ номеръ, мечтая о томъ, какъ хорошо онъ будетъ жить за-границей, и уже началь укладывать пъкоторыя мелкія вещи. И когла укладывать, сердце его наполняла тихая, прозрачная и чистая, какъ ключевая вода, печаль—о чемъто далекомъ, неизвъданномъ и миломъ, и постоянно казалось, что онъ что-то забываетъ захватить съ собою, что-то очень важнос и дорогое, безъ чего ему предстоитъ много непріятностей.

Къ товарищамъ онъ сталъ относиться мягче, не сердился на нихъ и только жалълъ. Жалълъ, что они остаются съ ужаснымъ Толкачевымъ: жалълъ, что они такъ шьютъ и вся ихъ жизнь будетъ тусклая, тоскливая, какъ у другихъ, и ничего не удастся имъ изъ того хорошаго, о чемъ они иногла мечтаютъ. Странная, неустроенная, кошмарная жизнь, похожая на дикій сонъ, пожретъ ихъ, какъ сожрала тысячи другихъ, и тщетны будутъ ихъ попытки устроитъ другую, дучиую жизнь. И особенно жаль ему было энергичнаго и смълаго Каруева, который бъется головой о стъну и послъднее время сдълался очень мраченъ и неровенъ.

- Поъдемте! уговаривалъ Чистяковъ.
- Куда?—не понималъ Каруевъ,
- Да за-границу.

Каруевъ раздраженно отвътилъ:

- А я думаль что!—но потомь спохватился и въжливо добавиль, конечно, повзжайте. Чего-жъ вамъ тутъ сидъть? Полъчитесь тамъ, нервы подвинтите.
  - Я лъто хочу въ Швейцаріи прожить.
- Вотъ, вотъ! На что лучие, -похвалилъ Каруевъ и въжливо, какъ съ малознакомымъ, простидся съ чистяковымъ. Онъ тоже куда-то на время уъзжалъ.

Въ серединъ марта одинъ изъ хозяевъ шестьдесятъ

четвертаго номера, Пановъ, праздновалъ свои именины и позвалъ Чистякова. Ъздили уже на колесахъ и когда Чистяковъ вышелъ съ послъдняго урока, на него пахнуло отрадной свъжестью и первымъ весеннимъ тепломъ. "Скоро!" подумалъ опъ, и сердце его трепыхнулось, какъ птица, и выросло въ душв что-то печальное, и больное, какъ у всвъх увзжающихъ надолго, навсегда, и потонуло въ волнъ широкой радости и торжества. Ночное небо надъ городомъ было черное и по небу таннственно неслись огромные, бълые хлопья облаковъ, какъ гигантскія бълыя птицы. Въ одну сторону неслись они, и былъ въ ихъ быстромъ и молчаливомъ полеть могучій призывъ къ такому же вольному и счастливому полету. "Скоро! Скоро!" — думалъ Чистяковъ.

Народъ уже давно собрался, когда онъ пришелъ въ номера: было уже выпито водки и чаю, и всѣ собирались пѣть. Чистяковъ устало усѣлся въ углу, на сложенныхъ кучею пальто и съ дружелюбной грустью смотрѣлъ на собравшихся: всего только черезъ мѣсяцъ онъ уѣзжалъ надолго—навсегда. Спѣли хоромъ двѣ студенческія пѣсни, а потомъ выдѣлились трое: консерваторка Михайлова, у которой было хорошее сопрано, самъ имениникъ, пѣвшій сильнымъ и красивымъ басомъ, и еще одинъ бѣлокурый студентъ, теноръ. Тишина наступила и басъ одиноко и медленю запѣлъ, и Чистяковъ вздрогнулъ: такъ неожиданно хороша была пѣсня:

Поко-койной но-о-чи всъмъ уста-а-вшимъ...

Торжественнымъ покоемъ, великой грустью и любовью были проникцуты величавые, могуче сдержанные звуки: кто то большой и темный, какъ сама ночь, ктото всевидящій и оттого жалѣющій и безконечно печальный, тихо окутываль землю своимъ мягкимъ по кровомъ, и до крайнихъ предъловъ ся долженъ былъ дойти его мощный и сдержанный голосъ. "Боже мой, въдь это о насъ, о насъ!"—подумалъ Чистяковъ и весь потянулся къ пъвцамъ.

И когда замеръ послъдній звукъ, вступилъ звонкій теноръ и повторилъ—какъ будто отозвалась земля на жальющія и ласковыя слова и мольбою дышала ея молитвенная рѣчь:

— Покойной но-о-чи всъмъ уста-а-вшимъ...

И съ той же величавой грустью и покоемъ лился въ пространствъ томный, мужественный басъ:

- Весь день свой отдыха не зна-а-вшимъ...

Что-то сверкающее и драгоцѣнное, какъ слезы, упало съ высокаго неба и пропизало тьму широкаго, густого баса и нѣжнымъ горячимъ стономъ смѣшалось съ воплями земли.

— Трудомъ купившимъ св-ой по-о-кой!..

"Боже мой, Боже мой! въдь это она поетъ!"—подумаль Чистяковъ, вглядываясь въ поблъднъвшее лицо дъвушки.—"О, милая, въдь это о насъ, о насъ!"

- II вст трое, смъшавъ голоса, пронизывая ими другъ друга, слившись въ одну величавую, скорбную гармонію, повторили:
  - Покойной ночи вевыть уставшимъ,
     Весь день свой отдыха не знавшимъ,
     Трудомъ купившимъ свой по-о-кой!

Потомъ пълись другія грустныя пъсни, но Чистяковъ не слыхаль ихъ, и все въ немъ трепетало отъ безконечной жалости къ себъ, который весь день безъ устали трудился, къ кому-то безличному, большому, нуждавшемуся въ покоъ, въ любви и тихомъ отдыхъ. Привель его въ себя веселый и шумный разговоръ вокругъ Райко Вукича. Его опять дразпили, а онъ сверхъ обыкновенія молчаль и только острые, какъ жало осы, глазки перебъгали съ одного на другого и двигался щетинистый, раздвоенный подбородокъ.

— А что, Райко,—спрашивалъ Ванька Костюринъ, у васъ у всъхъ тамъ посы крючкомъ, какъ у тебя?

Райко медленно отвътилъ:

— На дняхъ серба одного, Боіовича, на границъ заръзали. Турци заръзали.

И всѣмъ ясно представился зарѣзаиный сербъ, какой-то Боіовичъ, у котораго мертвецки желтый и крючковатый носъ, какъ у Райко, и на горлѣ широкая черная рана. Было пепріятно, и Костюринъ съ дѣланнымъ смѣхомъ сказалъ:

— Эка важность! Много еще осталось.

Райко ощетинился, поблѣдиѣлъ и колючки на его раздвоенномъ подбородкѣ залрожали. И когда онъ заговорилъ, голосъ у него былъ металлическій и рѣзкій.

— Ти обманщикъ. Зачёмъ ти пляшешь русскаго? У тебя нётъ родины, нётъ дома! Ти свинья.

Но отвътилъ Чистяковъ, точно упрекъ касался его. Глухо и спокойно онъ сказалъ:

- А ты, Райко, любишь Сербію?
- Ну да, люблю.
- -- A.

Всѣ молчали—и, схвативъ круглый столовый ножъ, потрясая имъ въ воздухъ, Райко дико закричалъ.

— Убію! Ой, какой я злой! Какъ у меня болитъ сердце! Ой, какъ болитъ!..

Онъ съ силою пустилъ ножъ въ стѣну, и ножъ ударился плашмя и со звономъ отскочилъ. Райко, не глядя, вышелъ.

Черевъ полчаса за нимъ отправился Чистяковъ; ему было жаль маленькаго Райко, такъ сильно любившаго свою маленькую, смертельно обидъвшую его родину. Когда онъ еще шелъ по длиниому, полутемному корридору, теряясь среди одинаковыхъ, похожихъ одна на другую, дверей, уха его коснулись какіе-то странные звуки, похожіе на вой или крикъ о помощи. На другой двери была надинсь мъломъ "Райко Вукичъ", и оттуда шли эти странные и теперь громкіе звуки. На стукъ Чистякова отвъта не было, и онъ вошелъ, смутно различая на свътломъ фонъ окна маленькую острую фигурку Райко; онъ сидълъ на подоконникъ, въ темнотъ, и пълъ необыкновенно высокимъ гортаннымъ голосомъ.

— Райко!-тихо окликнуль его Чистяковъ.

Но Райко не слышаль. Онъ не слышаль, какъ хлопиула дверь, онъ не слышаль шаговъ Чистякова и его
голоса; онъ глядъль на высокую кирпичную стъну съ
черной полосой дымной коноти, и пълъ. О далекой
родинъ онъ пълъ: о ея глухихъ страданіяхъ, о слезахъ осиротъвшихъ матерей и женъ: онъ молилъ ее,
далекую родину, взять его, маленькаго Райко, и схоронитъ у себя и дать ему счастье поцъловать передъ
смертью ту землю, на которой онъ родился; о жестокой мести врагамъ опъ пълъ: о любви и состраданіи
къ побъкденнымъ братьямъ, о сербъ Боіовичъ, у котораго на горлъ широкая черная рана, о томъ, какъ
болитъ сердце у него, маленькаго Райко, разлученнаго съ матерью родиной, несчастной, страдающей
родиной.

Чистяковъ не попимать словъ, по онъ слышать звуки, и дикіе, грубые, стихійные, какъ стонъ самой замли, похожіе скоръе на вой заброшеннаго одинокаго иса, чъмъ на человъческую пъсно—они дышали такой

бевысходной тоскою и жгучею ненавистью, что не пужно было словъ, чтобы видъть окровавленное сердце пъвна.

На высокой, гитвио-произительной нотъ замеръ голосъ Райко, и такъ долго сидъли они и модчали. Потомъ Чистяковъ подошелъ ближе и увидълъ сухіе и злобные, горящіе, какъ у волка, глаза.

- Райко!—сказаль онъ—Ты давно не быль на родинъ, съъзди туда, я дамъ тебъ денегъ. У меня есть лишнія.
  - Тамъ домъ есть, -задумчиво сказалъ Райко.
  - Какой домъ?
- Такъ. Домъ такой стоитъ. Развъ ти не знаень, какой бываетъ домъ? Обыкновений. И когда мимо него идетъ арба, она скрипитъ: уай, уай.
  - Возьми денегъ, Райко.
- Не мъшай миъ, сказалъ Райко. Не мъшай, пожалюста. Ступай къ своимъ, а я буду однимъ. У меня очень болитъ сердце.

Но Чистяковъ не пошель къ своимъ; онъ отправился въ свой номеръ, сълъ на подоконникъ, какъ Райко, и сталъ смотрѣть на небо, на которомъ онъ прочелъ сегодня что-то хорошее. Все также таинственно и молчаливо неслись гигантскія и бѣлыя штицы и между ними чернѣло провалами бездонное небо, но чуждъ и холоденъ былъ теперь этотъ счастливый полетъ и ничего не говорилъ онъ задумавшемуся человѣку.

— "Вотъ и я полечу!—думаль Чистяковъ, стараясь припомнить недавнее ощущение свободы и легкости, но другое смутное и властное чувство выростало въего груди и билось, и трепетало, какъ запертая птица. И онъ понялъ, что это: ему страстно хотълось пъть, какъ Райку, и тоже пъть о родинъ. И онъ обрадовался,

что поняль, улыбнулся и совсьмъ ясно ощутилъ запертые въ его груди звуки мольбы и горячія звучныя слезы. Онъ открыль роть—но стало неловко, что ктонибудь можетъ взойти и застать его поющимъ, и онъ заперъ дверь двойнымъ поворотомъ ключа. И назадъ, къ окну, онъ шелъ почему-то на цыпочкахъ.

- Hv!—сказаль онь себь и заивль что-то безь словь--и такъ жилокъ, такъ подло нервинителенъ былъ пронесшійся и въ жалкихъ корчахъ умершій звукъ, что Чистякову стало страшно. "Нужно слова, безъ словъ нельзя" торондиво оправдывался онъ и началъ искать слова; и множество словъ замелькало въ его мозгу, но среди нихъ не было ни одного, рожденнаго любовью въ родинъ. Всю свою намять, все свое воображенье напрягаль онь, искаль въ прошломъ, искалъ въ книгахъ, которыя прочель-и много было звучныхъ и красивыхъ словъ, но не было ни одного, съ какимъ страдающій сынъ могъ бы обратиться къ своей материродинь. Онь чувствоваль его близко, онь почти видъль это слово и зналь, чъмъ оно отличается отъ другихъ: вев другія слова плоски и бедны, какъ нищіе на наперти, а это облито кровью и слезами, какъ раскаленный уголь, и свътло, какъ небесный огонь-и не могъ найти его. И такимъ пустымъ и бъднымъ почувствоваль онь себя, какъ послъдній пищій, самый посабдній нищій, у котораго душа черства, какъ брошенное ему подаяніе.
- Боже мой! Боже мой!—шенталь онь въ ужасъ, ла какъ же это? Въдь и хорошій человъкъ! Я хорошій человъкъ!

И онъ подумать, что скорѣе найдеть то, что нужно, если станетъ писать. Ломая спички дрожащими руками, онъ зажегъ свъчу, яростио сбросилъ со стола

ивмецкій учебникъ и задумался надъ листомъ бѣлой бумаги. И перъшительно, запинаясь, рука его вывела:

"Родина".

Й остановилась. И болъе твердо повторила:

- Родина!

И быстро, большими буквами онъ закончилъ:

- Прости меня!

Чистяковъ взглянулъ на написанное и упалъ лицомъ внизъ на бумагу и заплакалъ отъ жалости къ родинъ, къ себъ, ко всъмъ трудившимся и не знавшимъ отдыха. И ему страшно стало, что онъ могъ убхать надолго, навсегда, и умереть тамъ, въ чужихъ краяхъ, и угасающимъ слухомъ ловить чужую и чуждую ръчь. И понялъ онъ, что не можетъ онъ жить безъ родины и не можетъ быть счастливъ, пока несчастна она, и въ этомъ новомъ чувствъ была могучая радость и могучая, стихійная, тысячеголосая скорбь. Она разбила оковы, въ которыхъ томилась его душа: она слила ее съ душой невъдомаго многоликаго страдающаго брата—и словно тысяча огненныхъ сердецъ колыхнулось въ его больной, измученной груди. И въ горячихъ слезахъ онъ сказалъ:

— Возьми меня, родина!

А виизу опять запълъ Райко, и дико свободны и смълы были гибвно тоскующіе звуки его пъсни.

# предстояла кража

(19)(2)

Иредстояла крупная кража, а быть можеть убійство. Ныпче почью предстояла опа—и скоро нужно было идти къ товарищу, а не ждать въ бездъйствій дома и не оставаться одному. Когда человъкъ одниъ и бездъйствуетъ, то все гугаетъ его и злорадно смъется надъ нимъ темнымъ и глухимъ смѣхомъ.

Его пугаеть мышь. Она тапиственно скребется подъ поломъ и не хочеть мелчать, хотя надъ головой ея стучать наякой такъ сильно, что стращно становится самому. И на секуплу она замираеть, но когда успокоенный человъкъ ложится, она внезаино появляется подъ кроватью и пилетъ доски такъ громко-громко-что могуть услышать на улицъ, и придти и спросить. Его пугаетъ собака, которая ръзко звякаеть на дворъ своей цънью и встръчаетъ какихъ-то людей: и потомъ они, собака и какіе-то люди, долго молчатъ и что-то дълаютъ: ихъ шаговъ не слышно, но они прибликаются къ лвери, и чья-то рука берется за скобку. Берется и держитъ, не отворяя.

Его страниять весь старый и прогнившій домъ, какъ будто вм'єсть съ долгол'єтней жизнью среди стонущихъ, ила чущихъ, отъ гитьва скрежещущихъ зубами людей—къ нему пришла способность говорить и дълать не-

опредъленныя и странныя угрозы. Изъмрака его кривыхъ угловъ кто-то унорно смотритъ, а когда подпести лампуонъ безшумно прыгаетъ назадъ и становится высокой черной тынью, которая качается и смыется жачается и смъется, такая страшная на круглыхъ бревнахъ стъны. По инзкимъ потолкамъ его кто-то ходитъ тяжелыми стопами; шаговъ его почти не слышно, но доски гнутся, а въ пазы сыплется мелкая пыль. Она не можеть сыпаться, если нъть никого на темномъ чердакъ и пикто не ходитъ и не ищетъ чего-то. А она сыплется, и паутина, черная отъ копоти, дрожитъ и извивается. Къ маленькимъ окнамъ его жадно присасывается молчаливая и обманчивая тьма и кто знаеть? быть можеть, оттуда съ зловъщимъ спокойствіемъ невидимокъ глядятъ тусклыя лица и другъ другу показывають на него:

## — Смотрите! смотрите! Смотрите на него!

Когда человъкъ одинъ, его пугають даже люди, которыхъ онъ давно знаетъ. Вотъ они пришли, и человъкъ былъ радъ имъ; онъ весело смъялся и спокойно глядель на углы, въ которыхъ кто-то прятался, на потолокъ, по которому кто-то ходилъ-теперь никого уже нътъ, и доски не гнутся, и не сыплется больше тонкая пыль. Но люди говорять слишкомъ много и слишкомъ громко. Они кричать, какъ будто онъ глухой, и въ крикъ теряются слова и ихъ смыслъ; они кричатъ такъ обильно и громко, что крикъ ихъ становится тишиной, и слова ихъ дълаются молчаніемъ. И слишкомъ много смотрять они. У нихъ знакомыя лица, но глаза ихъ чужіе и странные и живуть отдъльно оть лица и его улыбки. Какъ будто въ глазныя щели старыхъ, приглядъвнихся лицъ смотритъ кто-то новый, чужой, все понимающій и страшно хитрый.

И человъкъ, которому предстояла круппая кража,

а быть можеть убійство, вышель изъ стараго, нокосившагося дома. Вышель и облегченно вздохнуль.

Но и улица, -- безмолвная и молчаливая улица окраннъ, гдъ строгій и чистый снъгъ полей борется съ шумнымъ городомъ и властно вторгается въ него нфмыми и бълыми нотоками, - пугаетъ человъка, когда онъ одинъ. Уже ночь, но тьмы нътъ, чтобы скрыть человъка. Она сбирается гдъ-то далеко, впереди и сзади и въ темныхъ домахъ съ закрытыми ставнями и прячеть всьхъ другихъ людей, -а передъ нимъ она отступаеть, и все время онъ идеть въ свътломъ кругу, такой обособленный и всъмъ видимый, какъ будто подиять онъ высоко на широкой и бълой ладони. И въ каждомъ домъ, мимо котораго движется его сгорбленная фигура, есть двери, и всв онв смотрять такъ сторожно и напряженно, какъ будто за каждой изъ нихъ стонть готовый выскочить человъкъ. А за заборами, за длинными заборами, разстилается невидимое пространство: тамъ сады и огороды, и тамъ никто не можеть быть въ эту холодную зимнюю ночь, -- но если бы кто-нибудь пританлея съ той стороны и въ темную щель глядать бы на него чужими и хитрыми глазами, онь не могъ бы догадаться о его присутствін. И отъ этого онъ перебрался на средину улицы и шелъ по ней, обособленный и всемь видимый, а отовсюду провожали его глазами сады, заборы и дома.

Такъ вышелъ человъкъ на замерзиную ръку. Дома, полные людей, остались за предълами свътлаго круга и только поле, и только небо холодными свътлыми очами глядъли другъ на друга. Но было неподвижно поле, а все небо быстро бъжало куда-то, и мутный, побълъвний мъсяцъ стремительно падалъ въ пустоту бездоннаго пространства. И ни дыханія, ни шороха, ни тревожной тъпи на снъту—хорошо и просторно стало

кругомъ. Человъкъ расправить плечи, широко и злобно взглянулъ назадъ на оставленную улицу и остановился.

— Покуримъ! — сказалъ онъ громко и хрипло, и синчка слегка освътила широкую черную бороду. П тутъ же выпала изъ вздрогнувшей руки, такъ какъ на слова его пришелъ отвътъ — странный и неожиданный отвътъ среди этого мертваго простора и ночи. Нельзя было понять: голосъ это или стоиъ, далеко онъ или близко, угрожаетъ онъ или зоветъ на помощь. Что-то прозвучало и замерло.

Долго ждалъ напуганный человъкъ, по звукъ не повторялся. II, еще подождавъ, онъ еще спросилъ:

— Кто тутъ?

И такъ неожиданъ и изумительно простъ быль отвътъ, что человъкъ разсмъялся и безсмысленно выругался: то щенокъ визжалъ—самый обыкновенный и, должно быть, очень еще маленькій щенокъ. Это видно было по его голосу—слабенькому, жалобному и полному той странной увъренности, что его должны услышать и пожальть, какая звучитъ всегда въ плачъ очень маленкихъ и ничего еще не понимающихъ дътей. Маленькій щенокъ среди снъжнаго простора ночи. Маленькій, простой щенокъ, когда все было такъ необыкновенно и жутко, и весь міръ тысячью открытыхъ очей слъдилъ за человъкомъ. И человъкъ вернулся на тихій зовъ.

На утоптанномъ снъгу дальней тропинки, безпомощно откинувъ заднія лапки и опираясь на передпія, сидъль черненькій щенокъ и весь дрожаль. Дрожали лапки, на которыя онъ опирался, дрожалъ маленькій черный носикъ, и закругленный кончикъ хвоста отбивалъ по снъгу ласково-жалобную дробь. Онъ давно замерзалъ, заблудившись въ безпредъльной пустыпъ, многихъ увъренно звалъ онъ на помощь, по они ог-

лядывались и проходими мимо. А теперь надъ нимъ остановился человъкъ.

- А въдь это, кажется, нашъ щенокъ! подумалъ человъкъ, приглядываясь. Онъ смутно помниль чтото крошечное, черное, вертлявое: оно громко стучало напками, путалось подъ ногами и тоже визжало. И люди занимались имъ, дълали съ нимъ что-то смъщное и ласковое, и кто-то однажды сказалъ ему:
  - Погляди, какой Тютька потвшный.

Онъ не помнить, поглядѣль онъ или нѣть: быть можеть, никто и не говориль ему этихъ словъ; быть можеть и щенка никакого у нихъ въ домѣ не было, а это воспоминаніе пришло откуда-то издалека, изъ той неопредъленной глубины прошлаго, гдѣ много солица, красивыхъ и странныхъ звуковъ, и гдѣ все путается.

— Эй! Тютька!—позваль онъ.—Ты зачъмъ попалъ сюда, собачій сынъ?

Щенокъ не повернулъ головки и пе завизжалъ: онъ глядълъ куда-то въ сторону и весь безнадежно и териъливо дрожалъ. Самый обыкновенный и дрянной былъ этотъ щенокъ, а человъкъ такъ постыдно испугался его и самъ чуть-чуть не задрожалъ. А ему еще предстоптъ круппая кража, и, быть можетъ, убійство.

— Пошелъ!—крикнулъ человъкъ грозно. — Пошелъ домой, дрянь!

Щеновъ какъ будто не слыхалъ; онъ глядъль въ сторону и дрожалъ все той же настойчивой и мучительной дрожью, на которую холодно было смотръть. И человъкъ серьезно разсердился.

— Ношелъ! Тебъ говорять!—закричалъ онъ. Пошелъ домой, дрянь, поганышъ, собачій сынъ, а то я тебъ голову размозжу. По-о-шелъ!

Щенокъ глядълъ въ сторону и, какъ будто не слыхалъ этихъ страшныхъ словъ, которыхъ испугался бы всякій, или не придавать имъ никакого значенія. И то, что онъ такъ равподушно и невнимательно принимать сердитыя и страшныя слова, наполнило человъка чувствомъ злобы и злобу его сталало безсильной.

- Ну, и подыхай туть, собака!—сказаль онъ и рѣшительно пошель впередь. И тогда щенокъ завизжаль—жалобно, какъ погибающій, и увѣренно, что его должны услышать, какъ ребенокъ.—Ага, завизжаль! съ злобной радостью сказаль человѣкъ и такъ же быстро пошелъ назадъ, и когда подошель—щенокъ сидѣлъ молча и дрожалъ.
- Ты пойдень или пътъ?—спросилъ человъкъ и не получилъ отвъта. И вторично спросилъ то же и вторично не получилъ отвъта.

И тогда началась странная и нелъная борьба большого и сильнаго человъка, съ маленькимъ, замерзающимъ животнымъ. Человфкъ прогонялъ его домой, сердился, кричаль, топаль огромными ногами, а щенокъ глядълъ въ сторону, покорно дрожалъ отъ холода и страха и не двигался съ мъста. Человъкъ притворно пошель назадь къ дому и ласково чмокаль губами, чтобы щенокъ побъжаль за нимъ, но тоть сидъль и дрожаль, а когда человъкъ отошелъ далеко, сталъ настойчиво и жалобно визжать. Вернувшись, человъкъ ударилъ его ногой: щенокъ перевернулся, испуганно взвизгнулъ, и опять стлъ, опираясь на лапки и задрожалъ. Что-то непонятное, раздражающее и безвыходное вставало передъ человъкомъ. Онъ забылъ о товарищъ, который ждаль его, и обо всемь томъ далекомъ, что будеть сегодня ночью-и всей раздраженной мыслью отдавался глупому щенку. Не могъ онъ помириться съ тъмъ, какъ щенокъ не понимаетъ опасности, не понимаетъ словъ, не понимаетъ необходимости скоръй бъжать къ дому.

Съ дростью человъкъ поднялъ его за кожу на затылкъ и такъ отнесъ на десятокъ шаговъ ближе къ дому. Тамъ онъ осторожно положилъ его на сиъгъ и приказалъ:

- Пошелъ! Пошелъ домой!

И, не оглядываясь, зашагаль къ городу. Черевъ сотню шаговь онъ въ раздумы остановился и поглядъль назадъ. Ничего не было ин видно, ин слышно— широко и просторно было на замерзшей рѣчной глади. И осторожно, подкрадываясь, человѣкъ вернулся къ тому мѣсту, гдѣ оставиль щенка,—и съ отчаяніемъ выругался длиннымъ и печальнымъ ругательствомъ: на томъ же мѣстѣ, гдѣ его поставили, ни на иядъ ближе или дальше, сидѣлъ щенокъ и покорно дрожалъ. Человѣкъ паклонился къ нему ближе и увидѣлъ маленькіе круглые глазки, подернутые слезами, и мокрый жалкій носикъ. И все это покорно и безпадежно.

- -- Да пойдешь ты? Убью на мъстъ!—закричаль онъ и замахнулся кулакомъ. Собравъ въ глаза всю силу своей злобы и раздраженія, свиръпо округливъ ихъ, онъ секунду пристально глядълъ на щенка и рычалъ, чтобы напугать. И щенокъ глядълъ въ сторону своими заплаканными глазками и дрожалъ.
- Ну, что мнѣ съ тобой дѣлать? Что?—съ горемъ спросилъ человѣкъ.

И сидя на корточкахъ, онъ бранилъ его и жаловался, что не знаетъ, какъ быть: говорилъ о товарицъ, о дълъ, которое предстоитъ имъ сегодия ночью, и грозилъ щенку скорой и страшной смертью.

И щенокъ глядъль въ сторону и молча дрожалъ.

— А дуракть, пробковая голова,—съ отчаяніемъ крикнуль человъкъ: какть что-то противное, убійственно пенавидимое, подхватилъ маленькое тъльце, далъ ему два сильныхъ шлепка и понесъ къ дому.

И дикимъ хохотомъ разразились, встръчая его, дома, заборы и сады. Глухо и темно гоготали застывшіе сады и огороды, смѣтливо и коварно хихикали освъщенныя окна и всѣмъ холодомъ своихъ промерзиихъ бревенъ, всѣмъ таинственнымъ и грознымъ нутромъ своимъ, сурово смѣялись молчаливые и темные дома:

— Смотрите! Смотрите! Вотъ идетъ человъкъ, которому предстоитъ убійство, и несетъ паршиваго щенка. Смотрите! Смотрите на него!

И совъстно, и страшно стало человъку. Дымнымъ облакомъ окутывали его злоба и страхъ, и что-то новое, странное, чего инкогда еще не испытывалъ опъ въ своей отверженной и мучительной жизни вора: какое-то удивительное безсиліе, какая-то внутренняя слабость, когда кръпки мышцы и злобой сводится сильная рука, а сердце мягко и безсильно. Онъ ненавидълъ щенка—и осторожно несъ его злобными руками, такъ бережно и осторожно, какъ будто была это великая драгоцъность, дарованная ему прихотливой судьбой. И сурово оправдывался онъ:

— Что же я съ нимъ подълаю, если онъ не пдетъ. Въдь, нельзя же, на самомъ дълъ!

А безмолвный хохотъ все росъ и сонмомъ озлобленныхъ лицъ окружалъ человъка, которому нынче предстояло убійство, и который несъ паршиваго черненькаго щенка. Теперь не одни дома и сады смъялись надъ нимъ, смъялись и всъ люди, какихъ онъ зналъ въ жизни, смъялись всъ кражи и насилія, какія онъ совершилъ, всъ тюрьмы, побои и издъвательства, какія претериъло его старое, жилистое тъло:

— Смотрите! Смотрите! Ему красть, а онъ несеть щенка! Ему нынче красть, а онъ опоздаеть съ парпинвымъ, маленькимъ щенкомъ. Ха-ха-ха! ха-ха-ха!

Старый дуракъ! Смотрите! Смотрите на него!

И все быстръе онъ шелъ. Подавшись впередъ всъмъ туловищемъ, наклонивъ голову, какъ быкъ, готовый бодаться, онъ точно пробивался сквозь невидимые ряды невидимыхъ враговъ и, какъ знамя, несъ передъ собой таинственныя и могущественныя слова:

Да, въдь, нельзя же на самомъ дълъ! Нельзя!

И все тише, все глуше становился потаенный смъхъ невидимыхъ враговъ, и ръже стали ихъ тъсные ряды. Быть можетъ, оттого случилось это, что пушистымъ снъгомъ разсыпались тучи и бълымъ колеблющимся мостомъ, соединили небо съ землей. И медлениве пошелъ успокоенный человъкъ, а въ злобныхъ рукахъ его оживалъ полузамерзийй черненькій щенокъ. Кудато далеко, въ самую глубину маленькаго тъла загналъ морозъ пъжную теплоту жизни—и теперь она выходила оттуда пробуждающаяся, яркая, странно прекрасная въ своей непостижимой тайиъ—такая же прекрасная, какъ зарожденіе свъта и огня среди глубокой тьмы и ненастья.

# BECEHHIA OBBULAHIA

(1903)

I.

Кузнецъ Василій Васильевичъ Меркуловъ былъ строгій челов'якь, и когда по праздникамъ онъ напивался пьянъ, то не пълъ пъсенъ, не смъялся и не иградъ на гармоніи, какъ другіе, а сидълъ въ углу трактира и молча грозилъ чернымъ обожженнымъ пальцемъ. Грозилъ онъ и трактирщику за стойкой, и посътителямъ, и слугъ, подававшему водку и жареную рыбу; приходиль домой и тамъ продолжаль грозить пустой хать, такъ какъ уже давно жилъ одинъ. Въ споры и брань съ нимъ не вступали, такъ какъ отъ смѣшной угрозы онъ легко переходиль къ жестокой и кровавой дракъ; при своихъ пятидесяти годахъ былъ онь очень силень, и узловатый, черный кулакъ его падалъ на головы, какъ молотъ. И съ виду онъ былъ еще очень крипокт-худощавь, но жилисть и высокъ ростомъ; и ходилъ гордо: грудь выпиралъ впередъ, а ноги ставилъ прямо, не сгибая колфнъ, точно вымфрялъ улицу циркулемъ.

Жилъ онъ, какъ и всѣ въ Стрѣлецкой слободѣ, ни хорошо и ни плохо, и никто не думалъ о немъ и не замѣчалъ его жизни, такъ какъ у всякаго была своя трудная и часто мучительная жизнь, о которой

нужно было ежеминутно думать и заботиться. Новыхъ людей мало приходило въ слободу, заброшенную на край города, и вст обитатели ся привыкли другъ къ другу и не замѣчали, что время идеть, и не видѣли, какъ растетъ молодое и старится старое. Время отъ времени кто-нибудь умиралъ; его хоронили и деньдва тревожно переговаривались объ его неожиданной смерти, а потомъ все становилось такъ, словно никто и не умиралъ, и казалось, будто покойникъ продолжаеть еще существовать среди живыхъ, или же что здъсь совсъмъ ньтъ живыхъ, а только покойники. Жили на Стрълецкой впроголодь, но принимали это покорно и за существованіе боролись равнедушно и вядо, - какъ больные, у которыхъ нътъ аппетита, вядо и равнодушно переругиваются изъ-за лишней тарелки невкуснаго больничнаго супа.

Хата и кузница Меркулова стояли на краю слободы, тамъ, гдъ пачинался берегъ ръки Пересыханки. Берегъ быль изрыть ямами, въ которыхъ брали глину и несокъ: рѣка была мелкая, и лѣтомъ черезъ нее ѣздили вбродъ на тряскихъ, пахнущихъ дегтемъ, тълегахъ мужики изъ сосъдней деревни. Кузница Меркулова помъщалась въ вемлянкъ, и на землянку похожа была и хата, у которой кривыя окна съ радужными отъ старости стемлами дошли до самой земли. Около землянки стояли черные, закопченые столбы для ковки лошадей: и они были старые, безсильно погнувшіеся, а ихъ глубокія продольныя трещины походили на глубокія старческія морщины, проведенныя долгой и суровой жизнью. Одинъ столбъ уже два года качался. Меркуловъ, проходя мимо него пьяный, сурово грозилъ ему пальцемъ, по больше ничего не дълалъ, чтобы укрѣпить его.

Пять мфсяневъ въ году Стрфлецкая слобода ле-

жала подъ сивтомъ, и вся жизнь тогда уходила въ черныя маленькія хаты и судорожно билась тамъ, придушениая грязью, темнотой и бъдностью. Сверху все было дъвственно бъло, глухо и безжизненно, а подъ низкими потолками хатъ съ утра плакали дъти, отравленныя гиплымъ воздухомъ, ругались взрослые и кологились другь о друга, безсильные выбиться изъ тисковъ жизни. И встмъ было больно. Такъ же нехорошо и темно было въ занесенной хатъ Меркулова, и все въ ней было кривое, черное, грязное, той безнадежной грязью, которая въблась въ дерево и вещи и стала частью ихъ. Одинъ уголъ покосился и окно въ немъ стояло какъ-то нелено, бокомъ, а потолокъ былъ черный отъ коноти, и вмъсто всякихъ украшеній на стъпъбыли наклеены цвътные этикеты отъ бутылокъ: "наливка кіевская вишневая". Работы зимой было мало, и тяжелымъ сномъ проходила одинокая жизнь Меркулова среди привыхъ стънъ подъ чернымъ низкимъ потолкомъ. Онъ спалъ, сколько могъ, а когда сна не было, лежалъ и съ суровымъ недоумфніемъ и вопросомъ вглядывался въ свою жизнь. Батаными триями проходило прошлое и было оно простое и странное до ужаса, и не върилось тому, что въ немъ заключена вся жизнь его, а другой жизни нътъ и никогда не будетъ. Была жена и умерла отъ холеры, и лица ея не можетъ вспомнить Меркуловъ, какъ будто никогда не существовала она въ дъйствительности, а только приснилась. Были и дъти: одинъ сынъ долго хворалъ, измучилъ всвхъ и умеръ, другой пошелъ въ солдаты и пропалъ безъ въсти. Осталась одна дочь, Марья; она была замужемъ за пьяницей, сапожникомъ на Стрълецкой, и часто прибъгала къ Меркулову жаловаться, что мужъ бьетъ ее: была она некрасивая и злая; тонкія тубы ея дрожали отъ горя и злости, а одинъ глазъ, заплывшій спинномъ, смотръть нь узенькую педь, какъ чужей, печальный и ехидный главъ. Она кричала на всю улицу и браниза мужа: потомъ начинала бранить отца и называла его пьяцицей, и сосъдскія бабы и ребята заглядывали въ окна и двери и смъялись. И это была вся его жизнь, а другой нъть и никогда не будеть.

И онъ лежаль подъ чернымъ потолкомъ и лумаль, а на двор'я тако и покорно угасать короткій зимній день. Вы хать становичесь темно, и Меркуловы выхолиль на улину: безлюдиая и слухая, словно вымершал, она нихо лежила подъ сивтомъ и была точно опредениемъ бражизненниго тускляго неба. И между ней и этиль одиотопно-стрымь и угрюмымь небомъ быстро поростала осторожная молчалицая тьма. На колоно пак в Висилія Великаго благов Бетили къ вечерив, и изголось, что сь калелымъ протоканыйъ ударомъ на вемлю спадаеть мракъ. Когда колоколь безъ отзвука умолкать, на веей земль уже стояла покойная нъмая почь. Мимо Меркулога, по направленію къ ръкъ, протхаль на розвальняхъ мужикъ. На минуту мелькнула пошаденка, потряхивавшая головой, мужикъ съ подпитымь ворогомы, привалившійся къ передку саней, и все расилылось въ глухой тьму, и топота конытъ не слышно было, и думалось, что тамъ, куда пофхалъ мужнить, такъ же все скучно, голо и объдно, какъ и въ хать Меркулова, и стоить такая же крънкая зимняя ночь. Заложивъ руки въ карманы штановъ, опершись на одну погу и отставивъ другую, Меркуловъ сь уграмимь вопросомъ смотраль на небо, искаль на немъ прочита и не находилъ. Биль онъ высокъ и черень, и въ сиот неподрижности напоминаль одинъ изъ черныхъ столбовъ кузинцы, до самой сердцевины изъвденныхъ временемъ и жизнью.

Если случались деньги, Меркуловъ одфвался и уходиль въ городъ, въ трактиръ, "Шелковку". Тамъ онъ впивалъ въ себя яркій свъть дампъ и такой же яркій и пестрый гуль трактира, слушаль, какъ играеть органь, и сперва довольно улыбался, открывая пустыя впадины на мъстъ переднихъ зубовъ, когда-то выбитыхъ лошадью. Но скоро онъ напивался, такъ какъ быль на водку слабь, начиналь хмуриться и безпокойно двигать бровями и, поймавъ на себъ чей-нибудь взглядь, многозначительно и мрачно грозиль обожженнымъ чернымъ пальцемъ. Органъ, торопливо захлебываясь и шипя, вызваниваль трескучую польку; Меркулову казалось, что онъ не играетъ, а плюется разбитыми, скачущими звуками ненужнаго веселья, и отъ этого становилось обидно, грустно и безпокойно. Онъ грозилъ блестящимъ трубамъ и непреклонно бормоталъ:

— Не позволю, чтобы такъ играть. По какому праву? Нътъ у тебя права, чтобы такъ играть. Не позволю.

Когда въ одиннадцать часовъ трактиръ запирали, Меркуловъ, покачиваясь и опираясь руками на заборы, долго и трудно шелъ домой и передъ своей хатой останавливался въ тяжеломъ недоумъніи и гнъвъ.

Моя хата, — говориль онь, удивленно поднимая брови и пытаясь выше поднять отяжельвшія въки. — Не позволю, чтобы такъ криво стояла.

Потомъ, мотая головой на ослабъвшей шеъ, блуждая взорами по окружающему, отыскивалъ на небъто мъсто, куда смотрълъ вечеромъ, тяжело поднималъруку и грозилъ согнутымъ пальцемъ, не въ силахъотъ хмъля распрямить его.

— Не позволю, чтобы такъ все. По какому праву? И засыпалъ онъ съ угрюмо сведенными бровями и готовымъ для угрозъ пальцемъ, но хмѣльной сонъ уби-

валъ волю, и начинались тяжелыя мученія стараго тѣла. Водка жгла внутренности и желѣзными когтями рвала старос, натрудившееся сердце: Меркуловъ хрипѣлъ и задыхался, и въ хатѣ было темно, шуршали по стѣнамъ невидимые тараканы, и духъ людей, жившихъ здѣсь, страдавшихъ и умершихъ, дѣлалъ тьму живой и жутко безпокойной.

#### 11.

Началось это на третьей недфлф Великаго поста, началось неожиданно и оттого особенно радостно. Утромь Стрълецкая слобода проснулась въ дымчатомъ, пахнущемъ гарью, туманъ, мягкомъ и тепломъ, а когда туманъ разефялся, воздухъ сталь ясный и свфтлый и ни на чемъ не было твней. И словно отъ земли, отъ крышъ и домовъ отпало что-то желѣзное, что давило и сковывало, и все начало пахнуть: сивгъ, навозъ и дома. У бондаря Гусева пекли хлѣбъ, и по всей улицъ стояль домовитый, пріятный запахъ теплаго хлъба. Какъ полированные, блестьли по дорогъ широкіе следы деревянныхъ полозьевъ съ крапинками золотистаго лошадинаго навоза, кричали выползавшіе изъ хать ребята, и со звонкимъ лаемъ носились собаки за тяжелымъ вороньемъ, грузно присъдавшимъ надъ черными иятнами старыхъ помоевъ. И дышалось легко и вольно.

Такъ въ первшимости пъсколько дней стояла Стрълецкая, а потомъ солнце взошло на чистомъ и глубокомъ небъ, и снъгъ началъ плавиться съ удивительной быстротой, какъ на огиъ. Во всъхъ углубленіяхъ сбиралась пахучая снъжная вода, и бабы перестали ходить на ръку: въ садахъ и огородахъ онъ выкапывали глубокія ямки, и на днъ ихъ, среди рыхлыхъ снъжныхъ стънокъ, собиралась вода, прозрач-

ная и холодная, какъ въ ключахъ. Все меньше становилось снъга и все больше воды; тепло и радостно свътило солнце, и въ дучахъ его блестълъ и сверкалъ тающій сивжный покровь. Блистала білымь огнемь каждая капелька воды, и если стать противъ солнца, то казалось, что вся земля зажглась въ одномъ еслъинтельномъ сіяніи, и больно было отвыкшимъ отъ свъта глазамъ. А въ голубомъ небъ было спокойно и торжественно — ясно, и когда Меркуловъ изъ-подъ руки смотрълъ на него, лино его, еще пылающее жаромъ раскаленнаго горна, становилось трепетнонапряженнымъ, и въ ръдкихъ усахъ безуспъшно пряталась стыдливая улыбка. Онъ долго стоялъ на своихъ негнущихся ногахъ, смотрълъ и слушалъ и всъмъ твломъ своимъ чувствовалъ то глубокое и таинственное, что происходило въ природъ. Не мертвый, какъ зимой, а живой быль весенній воздухь: каждая частица его была пропитана солнечнымъ свътомъ, каждая частица его жила и двигалась, и казалось Меркулову, что по старому обожженному лицу его осторожно и ласково бъгають крохотные дътскіе пальчики, шевелять тонкіе волоски на бороді и въ різкомъ порыві веселья отдъляють на головъ прядь волосъ и раскачивають ее. Онъ приглаживалъ волоса шершавой рукой, а прядь опять поднималась, и въ съдинахъ ея сверкало солнце.

И все, что было вокругъ: далекое, спокойное небо, ослъпительное дрожаніе водяныхъ капель на землѣ, просторная сіяющая дальрѣки и поля, живой и ласковый воздухъ,—все было полно весеннихъ неясныхъ обѣщаній. И Меркуловъ върилъ имъ, какъ вѣрятъ веснѣ всѣ люди, молодые и старые, счастливые и несчастные. Иятидесятую веспу встрѣчалъ онъ, а была она нова и радостна, какъ первая весна его жизни. Весь Великій

пость Меркуловъ много работаль, и новое чувство покорности и тихаго ожиданія не оставляло его. Онъ покорно принималъ тяжелую работу, покорно принималь грязь, тесноту и мучительность своей жизни, и въ черную хату свою съ кривыми углами входилъ какъ въ чужую, въ которой недолго остается побыть ему. И какъ что-то новое, доселъ невиданное, изучалъ онъ черные, прокопченые потолки, паутину на углахъ, покатые полы съ прогнившими половицами, изучалъ съ серьезнымъ и глубокимъ равнодушіемъ посторонняго человѣка. Все съ тѣмъ же чувствомъ кроткой покорности и смутнаго сознанія, что нужно выполнить какой-то долгъ, Меркуловъ весь постъ не пилъ водки, не бранился и питался только чернымъ хлѣбомъ и водой. И въ воскресенье не шелъ въ трактиръ, какъ обычно, а съ сосредоточеннымъ и торжественнымъ лицомъ сидълъ около своего дома на лавочкъ, или журавлинымъ шагомъ прохаживался по Стрълецкой и смотрълъ, какъ играютъ ребята.

А дѣтей было много на Стрѣлецкой, и пельзя было понять, куда прячутся они зимой такія живыя, громкія и пеудержимыя. Какъ мухи на солнцѣ, они бѣгали, ползали, кружились, и каждый въ своей живой подвижности походилъ на троихъ, а смѣхъ ихъ былъ, какъ неумолчное жужжанье. И тутъ же вертѣлись собаки, расхаживали озабоченныя куры и на приваленкѣ грѣлись бѣлыя тощія кошки, и все это жило шумной, безнокойной и веселой жизнью. На солнечной сторонѣ подъ заборомъ уже слегка зеленѣла трава, и по ней, безъ призора, катался крохотный круглый мальчишка, едва начавшій ходить. Его уже испугала собака, потомъ воробей, онъ долго и громко плакаль, но прилетѣло откуда-то бѣлое, легонькое перышко и сѣло поблизости, шевелясь и собираясь съ силами для поваго полета.

И онъ старался пакрыть его маленькой грязной рукой и задумчиво бормоталъ:

- Голубосекь. Миленькій, Подовди, Но перышко подиялось и улетьло, и онъ онять вспоминлъ страннаго вертляваго воробья, и заплакаль. Подошла дъвочка немного побольше, чъмъ онъ, въ большихъ материнскихъ банимакахъ, наклонилась, опершись дадонями на колъни, и спросила:
  - Мишка! Ты что плачень?
  - Кусается.
  - Собака кусается?
  - Собака кусается, и птичка кусается.

Дъвочка полумала и презрительно отвътила.

— Дуракъ!

И опять Мишка остался одинь, ему хотблось всть, и домь быль странию далекь и не было возлѣ близнихь людей,—все это было такъ ужасно, что онъ поднялся, всхлипнуль и, опустившись на четвереньки—для быстроты,—поползъ, куда глаза глядятъ. Меркуловъ поднялъ его и понесъ: Мишка сразу успокоился и, покачиваясь на рукахъ сверху внизъ, серьезно и самодовольно смотрѣлъ на страшную и теперь веселую улицу и ин разу до самаго дома не взглянулъ на незнакомаго человѣка, спасшаго его.

На Страстной недълъ Меркуловъ говълъ. Во всъ дни недъли онъ неукосинтельно посъщалъ каждую церковную службу, простанвалъ ее съ начала до конца, покупалъ топенькія восковыя свъчи, гнувшіяся въ его грубыхъ рукахъ, и чувство покорности и тренетнаго ожиданія росло въ его душт. Ранпимъ утромъ, когда тъни отъ домовъ лежали еще черезъ всю улицу, опъ шелъ въ церковь, хрустя тонкимъ почнымъ ледкомъ, и по мъръ того, какъ опъ полвигался впередъ мимо сонныхъ домовъ, вокругъ него выростали такія же

темныя фигуры людей, ежившихся отъ угренняго холодка. Какъ и Меркуловъ, они несли въ церковь грѣхи и горе своей жизни, и много ихъ было, и были они бѣдно и грязно одѣты, съ темными и грубыми лицами. Они шли быстро и молча, словно боялись пролить хоть кашлю изъ глубокаго ковша своей темной жизни, и Меркуловъ, оглушенный нестройнымъ топотомъ ихъ ногъ, охваченный лихорадкой массового неудержимаго стремленія, шагаль все крупиѣе своими негнущимися, журавлиными ногами. И чѣмъ ближе къ церкви, тѣмъ быстрѣе и безпокойнѣе становились шаги илущаго. Искоса поглядывая, не обгоняеть ли кто его, Меркуловъ шумно входилъ въ притворъ, пугался гулкаго эха своихъ шаговъ по каменному звоикому нолу и робко открывалъ тяжелую безшумную дверь.

И за дверью встръчали его холодиая, торжественная тишина, подавленные вздохи и утроенное эхомъ гнусавое и непонятное чтеніе дьячка, прерываемое непонятными и долгими паузами. Смущаясь скриломъ своихъ шаговъ, Меркуловъ становился на мъсто, посреди церкви, крестился, когда всѣ крестились, падалъ на колъни, когда всѣ падали, и въ общности молитвенныхъ движеній черпалъ спокойную силу и увъренность.

Въ пятницу передъ исповъдью Меркудовъ просилъ прощенія у дочери своей, Марін Васильевны, и у мужа ея, пьяницы Тараски. Неговъвшій Тараска торопливо дошиваль сапоги, сосредоточенно шиня дратвой, но къ тестю отнесся внимательно и на его низкій поклонъ отвътиль поклономъ и показиными словами:

что жъ, папаша! Вев мы, конечно, свиньи. Что

Марья Васильевна подлада тонкія губы и со взглятомъ въ сторону неохотно отвітила кланявшемуся от цу-- Богъ простить. Простите и насъ, если въ чемъ виноваты.

Злая она была и несчастная и не прощать ей хотълось, а проклинать. Горько и обидно было ей смотрѣть на отца: что онъ такъ благообразенъ, умыть и причесанъ, а ей некогда лица сполоснуть, что онъ полонъ какимъ-то неизвѣстнымъ ей и пріятнымъ чувствомъ, и завтра его будуть поздравлять; что онъ проситъ у нея прощенія, а самъ считаеть ее пиже себя, и даже ниже пьяницы Тараски. И совсѣмъ сердито она крикнула на отца:

— Ну иди, иди! Видишь, люди работаютъ.

Ночью Меркуловъ не спалъ и нѣсколько разъ выходилъ на улицу. На всей Стрѣлецкой не было ин одного огонька, и звѣздъ было мало на весениемъ затуманенномъ небѣ: черными пританвшимися тѣиями стояли низенькіе молчаливые дома, точно раздавленные тяготой жизни. И все, на что смотрѣлъ Меркуловъ: темное небо съ рѣдкими немигающими звѣздами, пританвшіеся дома съ чутко спящими людьми, острый воздухъ весенней ночи—все было полно весеннихъ неясныхъ обѣщаній. И онъ ожидалъ—трепетно и покорно.

### III.

Въ обыкновенные дни, въ праздники и будни, двери на церковныя колокольни бываютъ заперты и туда никого не пускаютъ, по на Пасху въ теченіе всей недѣли двери стоятъ открытыми, и каждый можетъ войти и звонить, сколько хочетъ—отъ объдни до самыхъ вечеренъ. На бълой колокольнъ Василія Великаго, къ приходу котораго принадлежала Стрълецкая, толкалось въ эти дни много празднаго, разряженнаго парода: одни приходили посмотрѣть на го-

родъ съ высоты, стояли у шаткихъ деревянныхъ перилъ и грызли съмячки изъ-подъ полы, чтобъ не заругался сторожь: другіе для забавы звонили, но скоро уставали и передавали веревку и только для одного Меркулова праздничный звонъ былъ ни смфхомъ, ни забавой а дъломъ такимъ серьезнымъ и важнымъ, въ которое нужно вкладывать всю душу. Какъ и всъ, онъ надъвалъ праздинчное и веселое платье: красную рубаху, новые блестящіе сапоги, но лицо его съ ръдкой бородкой и беззубымъ ртомъ оставалось по великопестному строгимъ и замкнутымъ. Онъ не понимать, какъ можно на колокольнъ смъяться, и хмуро смотръть на скалящихъ зубы стръльцовъ, а мальчишекъ. которые шалили, плевали внизъ, перегнувшись черезъ перила и, какъ обезьяны, дазали по лъсенкамъ, часто гоняль съ колокольни и даже дралъ за уши.

Приходилъ онъ на колокольно самымъ первымъ, когда въ церкви шла еще объдия, и звонить нельзя было. Когда онъ еще только входилъ въ низкую сводчатую дверь колокольни и сразу попадаль во тьму и сухой холодъ каменныхъ переходовъ, онъ чувствовалъ себя отръшеннымъ отъ всего. что составляло его жизнь, и готовымь къ воспріятію чего-то великаго, радостнаго и таинственнаго, чего нельзя передать словами. На изогнутыхъ доманыхъ лъстницахъ было тихо той глубокой тишиной, которая конится сотии лётъ: и изъ темныхъ угловъ, запесенныхъ паутиной, отъ исщербленныхъ кирпичей, изъ черныхъ загадочныхъ проваловъ глядъло что-то старое, съдое и важно задумчивое. Было жутко слышать скрицъ собственныхъ шаговъ, и Меркуловъ переступалъ ногами осторожно и почтительно, а на промежуточныхъ площадкахъ въжанво отдыхаль, хотя усталости не чувствоваль. Выбравинись на верхъ, онъ степенно, какъ въ церкви, оглядывался, вытираль лобь платкомы и со страхомы переды ожидающимы его неизмыримымы блаженствомы застыниво осматриваль большой спокойный колоколы другіе маленькіе колокола оны не уважаль. И туть, на высоты, было тихо—живой тишиной ныжнаго весенняго воздуха и плывущихы вы яркой синевы былыхы облаковы. На краю площадки, за перилами, гды желыные листы были покрыты былымы птичьимы пометомы, ходили и ворковали голуби, и ихы ныжный любовный говоры быль громче и слышные всыхы тыхы разрозненныхы, надобдливыхы звуковы, что рождались землей и ползали по ней, безсильные подняться кы небу.

- Кончалась объдня. Какъ муравьи, поднявшіеся на заднія ножки, расходились по улицамъ прихожане, и шумной ватагой, стуча деревянными ступеньками, какъ клавишами, на колокольню взбъгали веселые стръльцы, прогоняли крикомъ пугливыхъ голубей, и кто-нибудь хватался за веревку большого спокойнаго колокола. Въ хвостъ ихъ, не торопясь и не волиуясь, какъ человъкъ привычный, входилъ звонарь Семенъ; онъ тоже былъ въ красной рубахъ, отъ него слегка пахло водкой, какъ отъ другихъ стръльцовъ, и красное лицо его съ окладистой, ярко рыжей бородой широко и благосклоино улыбалось. Онъ подмигивалъ Меркулову и говорилъ:
  - Что, кумъ, позвонимъ?
- Звоните вы, угрюмо отвѣчалъ Меркуловъ и недовольно отходилъ къ стороиѣ, жуя губами: отъ волненія у него пересохло въ горлѣ и что-то покалывало въ спинѣ. Уже нѣсколько стрѣльцовъ отмотали собѣруки и ушли, потирая загорѣвинимися ладонями, и ушелъ Семенъ, когда Меркуловъ рѣшительно оттолкиулъ стрѣльца и взялся за веревку. Онъ боялся обнаружить

свое волненіе, но руки дрожали и безудержно шевелидись губы, а большой спокойный колоколь задумчиво смотръль на него встмъ своимъ огромнымъ жерломь и теривливо ждаль. И медленно начиналь раскачиваться тяжелый желбаный языкь. Онь подавался съ важной и плавной медлительностью, подходиль все ближе къ блестицему краю колокола, почти касался его, и легкій гуль уже пробъгать по мъдному туловину. А потомъ раздавался ударъ, первый робкій, сорвавинійся ударъ, прозвучавшій неръшительно и сдабо, со странной мольбой о милости и прощеніи. И велъдъ за нимъ -второй мощный и гулкій ударъ сотрясь пространство и трепетной дрожью пронизаль каменную колокольно; и еще не умеръ онъ, какъ плавно выбъжаль за нимъ повый. И такъ шли они другъ за другомъ, инпрокіе и свободные, какъ закованные въ жельзо богатыри, которыхъ долго держали въ бездъйственной засадъ, а теперь они выбхали на съчу и желъзнымъ ураганомъ несутся на дрогнувшаго врага. По хмурился недоводьно Меркуловъ: въ могучихъ и широкихъ звукахъ онъ слышаль голосъ холодной и жестокой мъди, и не быдо въ нихъ того, что такъ нужно было его долго ж (авшему, ненасытно жаждавшему сердцу. И все кртиче тянуль онь податливую веревку.

А другіе стрѣльцы разобрали веревки отъ остальных в колоколовъ и подпяли разноголосый, пестрый звонъ, похожій на пхъ красныя, синія и желтыя рубахи, и чуткій звонарь Семенъ издалека услышаль ихъ. Онъ обходіль съ причтомъ Стрѣлецкую, былъ пемного пъянъ и очень веселі, и насмъщливо покачняєть гологой, прислушиваясь къ нестройному и точно пьяному звону.

Плянь ка, задувають-то! Чисто кота съ кошкой

вънчаютъ—говорилъ онъ исаломщику, красному отъ быстрой ходьбы и угощеній.

Меркуловъ не слышалъ и не чувствовалъ этой дикей неблагозвучности, на которую издалека отозвался Семенъ. Онъ весь ущелъ въ борьбу съ мѣдиымъ чудовищемъ и все яростиѣе колотилъ его по чернымъ бокамъ,—и случилось такъ, что вопль, человѣческій вонль прозвучаль въ голосѣ бездушной мѣди и, содрогаясь, понесся въ голубую сіяющую даль. Меркуловъ слышалъ этотъ вопль, и бурнымъ ликованіемъ наполнилась его душа.

— Ara!—сквозь стиснутые зубы промычать онъ.--Ara!

И новый воиль, безумио нечальный, полный страданіемъ, какъморе водой, огненный и страниный, какъ правла-новый человъческій воиль. Точно въ ужасъ передъ силой человѣка, заставившей говорить человъческимъ языкомъ его бездушное тѣло,-частой дрожью дрожаль синзу до верху гигантскій колоколь, и покорно плакаль о чукдой ему человъческой доль и къ небу возносиль свои мощныя мольбы и угрозы. И сами, не зная почему, стали серьезны веселые стръльцы, бросили веревки своихъ беззаботно тилилинькавшихъ кодоколовъ и хмуро, съ неудовольствіемъ на свою непонятную печаль, слушали дикій ревъ колокола и смотръли на обезумъвшаго кузнеца. Лицо его налилось кровью; встревоженный, весь дрожащій воздухъ поднималь жидкіе волосы на его головъ, и въ кръпкихъ его рукахъ молотобойца, какъ перышко, ходилъ тяжелый жельзный языкъ.

Все мучительнъй и больнъе становились человъческіе воили покореннаго колокола. Меркуловъ звонилъ руками, звонилъ сердцемъ, которое судорожно и часто ворочалось въ его груди; звонилъ всей тоской и горемь избольящейся человьческой души, одинокой и всьми забытой. Онь звониль всей своей жизнью и о всей своей темной жизии звониль онь—и все яростивы и требовательные биль онь жельзомы по мыднымы бокамы. Будто разбудить оны хотыль кого-то, кто находится вы невыдомой голубой дали и спить непробудно и не слышить, какы илачеты и стонеть земля.

Отвовись, невъдомый! гудъль и надрывался дрожащій колоколь.—Отвовись, могучій и жалостливый! Взгляни на прекрасную землю: печальна она, какъ вловица, и плачуть ея голодиня, обиженныя дъти. Каждый день всходить надъ землей солнце и въ радости совершаеть кругь свой, но весь великій свъть его не можеть размять великой тьмы, которой полно страдающее сердце человъка. Потеряна правда жизни, и во лжи задыхаются несчастныя дъти прекрасной земли. Отзовись, невъломый! Отзовись, могучій и жалостливый!

Руки кувнеца не внають устали. Все громче и громче бъеть онь по чернымъ бокамъ, и бурно рыдаетъ звенящая мъдъ:

#### — Отзовись!

Одинъ отворотиль полу поддевки, чтобы достать табаку, и такь и остался: роть его изумленно открыть, и глаза со страхомъ и надеждой слъдять за тяжело порхающимь жетъзнымь языкомь, а узкій листикъ газетной бумаги, приготовленный для цыгарки, безпомощно треплется по вътру. Другой—руками и грудью легъ на перевянный перила, глядить внизъ, но не замъчаеть инчего: ни илоскихъ крышъ, точно лежащихъ на вемль, ни блестящей на солнцъ ръки. Что-то знакомое слышить онь въ рыдающемъ голосъ колокола, знакомое и печальное: такъ плакала мать когда-то, такъ илакаль онъ самъ. И теперь ему хочется плакать.

#### - Отзовись же! Отзовись!

Въ самомъ концъ Стрълецкой прислушивается къ колоколу Семенъ. Онъ склонилъ голову на бокъ и неодобрительно покачиваетъ ею. Потомъ нагоняетъ о. Андрея и говоритъ:

— Батюшка, а батюшка! А колоколъ-то съ трещинкой. Давно уже вамъ говорилъ, а вы все не вѣрите. Послушайте!

И наклонивъ головы, они слушають, а веселое солице бьеть имъ прямо въ глаза и зажигаеть огнемъ золотой наперстный крестъ.

#### IV.

И всегда Меркуловъ не любилъ глядътъ понизу, а во всъ дни свътлой недъли онъ носилъ голову немного назадъ и смотрълъ поверхъ лбовъ. И всю недълю онъ былъ трезвъ, каждое утро отъ объденъ до вечерни звонилъ на колокольнъ Василія Великаго, а послъ вечерни или сидълъ у звонаря Семена, или на десятокъ верстъ уходилъ въ поле. И домой возвращался только ночью.

На третій день, незадолго до вечерни, на колокольню пришель Семень. Уставшій Меркуловь отдыхаль, и звониль горбатый портной Снигирь, звониль безтолково и пудно, извлекая изъ колокола нерѣшительные дребезжащіе звуки.

- Пусти-ка! сказаль Семень. Застънчиво улыбаясь, портной пустиль веревку и сталь въ сторонкъ, заложивъ руки назадъ, подъ горбъ.
- Вотъ, кумъ, послушай: я тебъ покажу, какъ надо звонить—обратился звонарь къ Меркулову.—Не по-вашему.
- Что-жъ, покажи!—высокомърно согласился Меркуловъ.

Семень забралъ между пальцевъ веревки отъ маленькихъ колоколовъ, сталъ погой на доску, приводившую въ движение средний колоколъ, и приказалъ горбатому:

- Валяй, звони: портьке да покрѣнче. За совѣсть. Слабосильный портной, улыбаясь и блѣдиѣя отъ натуги, еще раскачиваль неподатливый языкъ, когда въ рукахъ Семена уже заговорили нѣяные и мягкіе колокольчики. Они словно смѣялись какъ дѣти, терониливо бѣжали, кружились и разбѣгались, и съ ними засмѣялся теплый воздухъ, свѣтло улыбиулась старая колокольня, и невольная улыбка пропра по сухому лицу Меркулова. Яснымъ, какъ небо, весельемъ дышали гармоничные звуки и, путаясь среди ихъ звонкихъ голосовъ, какъ взрослый среди играющихъ дѣтей, мягкимъ баритономъ по дакивалъ средий колоколь.
  - Да! Да! Да!
  - -- Вотъ весело! Вотъ весело!-звенъли дъти.
- Да! Да! Да!—добродущно соглашался колоколъ. И такъ это было красиво, такъ беззлобно и свѣтло, что Меркуловъ хлоппулъ себя въ восторгъ руками по бе грамъ, и не привыкшее къ смѣху лицо его превратилось въ странный комокъ морщинъ, среди которыхъ совсѣмъ пропали черные безпокойные глаза. Семенъ метнулъ въ него косымъ пытливымъ въглядомъ и увѣренно, со строгимъ и странно холоднымъ лицомъ, бросилъ въ возлухъ такой яркій снопъ вызывающе—радостныхъ и пъвучихъ звуковъ, что по горбу слабосильнаго портного пробъжала зябкая дрожь, и внизу на илощади остановились двое прохожихъ и подняли головы кверху. И большой колоколъ, который не принуждали больше издавать дикіе страдальческіе вопли, спокойно отдыхалъ въ густыхъ и мѣрныхъ ударахъ,

горжественно илывущихъ въ голубую сіяющую даль. И такъ говорили они, веселые колокола:

-- Взгляни на прекрасную землю: радостна она, какъ молодая мать, и ликуетъ подъ солицемъ рожденное ею. Надъ далекимъ полемъ проносятся въ вышинъ наши голоса, и въ небъ имъ отвъчаетъ жаворонокъ, а на землъ блестящіе ручын. Ты слышишь ихъ хрустальный звоиъ? По межамъ, по оврагамъ бъгуть опи, и прорывають черные ходы подъ снъгомъ и каскадомъ надають вы ръку. Воть один изъ инхъ маленькіе, и жизнь ихъ короткая, отъ бугорка до ближней ямы, робко и ибжно звенять они, и много чистой радости въ ихъ нъжиомъ денеть. Воть другіе по оврагамъ, гдубокіе и бурливые, они поднимають со дна желтую глину, подмывають черный сифгъ и обломки его несуть на вольный просторъ ръки. Силой и буйной удалью звучать ихъ голоса, и громкой пъсней освободившейся вемли издалека перекликаются они. Взгляни на вемлю: прекрасна она, какъ молодая мать, и радуется подъ солнцемъ рожденное ею. Ты слышишь, какъ растетъ зеленая трава и лопаются весеннія почки? Вотъ правда жизни.

('емень кончиль. Задохнувшійся горбунь прижималь къ уродливой груди костлявые длинные нальцы и улыбался, внизу собрался народъ и тянуль головы кверху;—и нобъдоносно вскинувъ рыжую бороду, звонарь обернулся къ Меркулову. Тоть стояль на своихъ длинныхъ негнущихся погахъ бокомъ къ колоколамъ—въ нозъ непреклоннаго и гордаго протеста—и смотръть поверхъ Семеновой головы.

— Вотъ какъ по-нашему, -- сказалъ Семенъ. Здорово, кумъ?

Меркуловъ ножевалъ беззубымъ ртомъ, обвелъ взоромъ колокола, балки, на которыхъ они висѣли, презрительно съ ногъ до головы измѣрилъ горо́уна и отвътилъ:

- -- Конечно, вы мастеръ, Семенъ Савельевичъ. Однако, настоящаго звуку у васъ нътъ.
- То-то у тебя есть—покровительственно засмъялся Семенъ. Словцо баба налкой по дырявому чугуну бъетъ. Тоже!

Пость вечерии Меркуловъ не пошель домой, а остался у звонаря. Семенъ пиль водку, которую изъ непонятнаго чувства долга ежедневно покупаль ему Меркуловъ, потомъ дома инлъ чай и, когда солице уже заходило, позваль молчаливаго гостя посидъть на давочкъ. Верхъ бълой колокольни еще горълъ золотомъ весенняго заката, а винзу уже ложились прозрачныя тени, и отъкаменныхъ стень веяло холодомъ ночи. Оба молчали, оба курпли и внимательно слъдили за дымомъ махорки: и дымъ этотъ, синій, нахучій медленно волновался и таяль и рѣзче оттѣняль свъжесть и запахъ весенняго воздуха. Семенъ не любиль долго молчать, ему становилось скучно, и вяло, слово за словомъ, онъ начиналъ разсказывать что-то неинтересное о своей службъ въ церкви, о восковыхъ огаркахъ и характеръ ктитора, купца Авдунова. () колоколахъ и звонъ онъ ничего не говорилъ. Меркуловъ, чувствовавшій позади себя безмольную таинственную колокольню, хмурился и нетерпъливо ждаль момента, когда Семенъ зоговоритъ о настоящемъ, о чемъ нужно и интересно говорить. И не въ силахъ дождаться, перебивалъ звонаря.

— Хорошо вы звоинте, Семенъ Савельнчъ.

Когда Меркуловъ говорилъ съ нимъ о житейскомъ и обыкновенномъ, то называлъ его "ты" и "Семенъ", а когда разговоръ заходилъ о звонъ и колоколахъ, нереходилъ на "вы" и величалъ звонаря по отчеству.

Звоню хорошо, это вфрио,—согласился Семенъ.— Но, въдь, и то сказать: наука.

- Не всякому оно дано.
- Конечно, не всякому, подтвердилъ звонарь.— Ухо тоже надо имъть хорошее, чтобы понимать. А то такого кота пуститъ— ай папаша и мамаша.

Меркуловъ помолчалъ.

- Однако, вы меня извините, по настоящаго у васъ изту,—замътилъ онъ.
  - Звону?
  - Звону.

Семенъ улыбнулся. Онъ мало думать о томъ, какъ онъ звонить, но зналъ отъ людей, что звонъ у него хорошій и веселый; зналъ и то, что сердце у него радуется, когда онъ берется за веревку.

- О. Андрей говоритъ: когда,—говоритъ, Семенъ, ты звонишь, у меня на столъ стаканы плящутъ.
  - А душа? спросилъ Меркуловъ.
  - Что душа?
- -- Вотъ, скажемъ, у меня дочь, Марья. Марья Васильевиа. И мужъ ее ногой по пузу, а она и скинула. Это какъ же? Такъ и оставить?

Но Семену не хотѣлось продолжать скучнаго разговора о Марьѣ. И онъ тихонько засвисталъ, поднявъ кверху рыжую бороду и обводя ищущими глазами свѣтлое небо, на которомъ не умеръ еще день, но уже скоро должы были загорѣться серебряныя звѣзды. Замолчалъ и Меркуловъ и долго сидълъ такъ, сердито жуя губами. Потомъ лицо его просвѣтлѣло и сказалъ:

— Хорошо на заръ звонить, когда всъ спять. Бухнуть,—чтобы всъ съ постелей повскакали.

Семенъ пріостановиль свисть и, продолжая обыскивать глазами небо, равнодушно спросиль:

— А ты слышишь, когда къ утренъ звонять?

Нътъ.

— То-то. И никто не слышить.

Меркуловъ хотълъ возразить, но, посмотрѣвъ на Семена, на его рыжую бороду, равнодушио торчавшую кверху, сурово сказалъ:

— Прощай!

Когда Меркуловъ вышелъ за шлагбаумъ, на шоссе уже стало темиъть и звъзды, сперва большія и свътлыя, какъ серебряные изтачки, едълались острыя и яркія, и точно смотръли на землю. Отойдя версты двъ, Меркуловъ сълъ на круглый верстовой камень, торчавшій нзъ земли, и тяжело задумался—задумался безъ мыслей, безъ словъ, той глубокой и странной думой всего тъла, которан оковываеть человъка, какъ сонъ. Онъ тяжело вздыхалъ и не слышалъ своихъ вздоховъ: доставалъ табакъ, дълалъ напиросы и курилъи не замъчалъ этого. Мимо него, сонно погромыхивая, пробхада телбга; по бокамъ шоссе, въ невидимомъ полъ дремотно звенъли ручьи, отдыхавийе въ холодкъ отъ дневной сифиной работы -онъ не видълъ телъги, не слышалъ ручьевъ. И когда онъ всталъ и изумленно оглянулся, не зная, зачъмъ попаль сюда, въ его душъ уже совершалась какая-то сложная, загадочная работа, и сердцу стало легко и радостно.

"Дуракъ Сенька, даромъ что Савельнчъ!"—подумалъ онъ съ усмъшкой, бодро шагая къ городу на своихъ не гнущихся ногахъ. Онъ вспомнилъ, какъ рыдаль сегодня въ его рукахъ большой спокойный колоколъ и въ клочья раздиралъ голубую даль своимъ призывнымъ страстнымъ кличемъ—и такъ весело сдълалось ему, что онъ не выдержалъ и засмъялся одинокимъ, сухимъ смъшкомъ, странно прозвучавшимъ среди ночи и поля. Оно было здъсь; оно было въ немъ и вокругъ него, а все, что было раньше—ушло куда-то,

и его нътъ, и о немъ не нужно думать. И такъ свътло въ его головъ, какъ въ церкви на Насху, когда у каждаго горитъ въ рукахъ восковая свъчка.

— Дуракъ Сенька!-повторилъ онъ вслухъ и снова

засмъялся.

Въ субботу Меркуловъ звонилъ въ послъдній разъ, и когда Семенъ почти насильно отнялъ у него веревку, былъ блъденъ отъ усталости и волненія, и колъна его дрожали.

— Погоди, постой—беземыеление просиль онъ звонаря, осторожно двумя пальцами касаясь его плеча. —

Еще надо. Я разокъ. Потому, еще надо.

Звонарь молча, съ неодобреніемъ оттолкиуль его, и Меркуловъ жадными глазами простился съ колоколомъ и ушелъ. А въ воскресенье утромъ проснудся радостный и бодрый и долго отказывался понять, что ему некуда и незачъмъ итти. Какъ долго путешествовавшій человъкъ, у котораго въ пути было много приключеній, онъ съ любопытствомъ и пріязнью разсматривалъ кривыя ствны и черный потолокъ-и не нашель въ нихъ, чего пскалъ. Потомъ пошелъ въ кузницу, потрогалъ пальцемъ холодную золу на горнъ, зачъмъ-то плюнулъ и съ интересомъ разсматривалъ плевокъ, свернувшійся шарикомъ въ мягкомъ пеплъ. Потомъ пошелъ и попробованъ столбъ: одинъ качался. Такъ цълое утро слонялся онъ изъ хаты въ кузницу; долго ходилъ по своему чахлому садику, гдъ безпріютно торчали голые и какъ будто сухіе прутья малины, п ходиль на Стрелецкую смотреть, какъ дрались изъ-за гармонін двъ компанін пьяныхъ стръльцовъ.

А въдва часа, когда отъ бездѣлья опъ легъ спать, его разбудилъ женскій визгъ, и передъ непуганными глазами встало окровавленное и страшное лицо Марын. Она задыхалась, рвала на себѣ уже разорванное му-

жемъ платье и безсмысленно кружилась по хатъ, тыкаясь въ углы. Крику у нея уже не было, а только дикій визгъ, въ которомъ трудно было разобрать слова.

## — Ой, убилъ!

Меркуловъ кружился вмъстъ съ ней, но не могъ схватить ее: у нея была ушиблена голова, она ничего не понимала и въ дикомъ ужасъ царапалась когтями и выла. Лъвый глазъ у нея былъ выбитъ каблукомъ.

Къ вечеру Меркуловъ былъ пьянъ, подрался съ зятемъ Тараской, и ихъ обонхъ отправили въ участокъ. Тамъ ихъ бросили на асфальтовый грязный полъ, и они заснули пьянымъ мертвецкимъ сномъ, рядомъ, какъ друзья; и во снъ они скрипъли зубами и обдавали другъ друга горячимъ дыханіемъ и запахомъ перегорающей водки.

# на станции.

(1903)

Была ранняя весна, когда я пріфхаль на дачу, и на дорожкахъ еще лежалъ прошлогодній темный листъ. Со мною никого не было: я одинъ бродилъ среди пустыхъ дачъ, отражавшихъ стеклами апръльское солнце, всходилъ на обширныя свътлыя террасы и догадывался, кто будетъ здъсь жить подъ зелеными шатрами березы и дубовъ. И когда закрывалъ глаза, мнъ чудились быстрые, веселые шаги, молодая пъсня и звонкій женскій смъхъ.

И часто я ходилъ на станцію встрѣчать пассажирскіе поѣзда. Я никого не ждаль, и некому было пріѣхать ко миѣ; но я люблю этихъ желѣзныхъ гигантовъ, когда они проносятся мимо, покачивая плечами и переваливаясь на рельсахъ отъ колоссальной тяжести и силы, и уносять куда-то незнакомыхъ миѣ, но близкихъ людей. Они кажутся миѣ живыми и необыкновенными: въ ихъ быстротѣ я чувствую огромность земли и силу человѣка, и когда они кричатъ повелительно и свободно, я думаю: такъ кричатъ они и въ Америкъ, и въ Азіи, и въ огненной Африкъ.

Станція была маленькая, съ двумя короткими запасными путями, и когда уходиль нассажирскій пофядь, становилось тихо и безлюдно: лѣсъ и дучистое солице овладъвали инзенькой илатформой и пустынными путями и заливали ихъ тишниой и свътомъ. На запасномъ пути, подъ пустымъ заснувшимъ вагономъ, бродили куры, роясь около чугунныхъ колесъ, и не върилось, глядя на ихъ спокойную кропотливую работу, что есть какая-то Америка и Азія и огненная Африка... Въ недълю я узналъ ъсъхъ обитателей уголка и кланялся, какъ знакомымъ, сторожамъ въ синихъ блузахъ и молчаливымъ стрѣлочникамъ съ тусклыми лицами и блестящими на солнцѣ мѣдными рожками.

И каждый день я видъль на станцін жандарма. Это быть здоровый и кранкій малый, какт вст они, съ широкою спиною, туго обтянутымъ синимъ мундиромъ, съ огромными руками и молодымъ лицомъ, на которомь сквозь суровую начальственную важность еще проглядывала голубоглазая наивность деревни. Вначать онъ недовърчиво и мрачно обыскиваль меня глазами, дълаль недоступно строгое, безъ послабленій, лицо, и, когда проходилъ мимо, шпоры его звучали особенно разко и краснорачиво, -- но скоро привыкъ ко мить, какъ прирыкъ онъ къ этимъ столбамъ, подпирающимъ крышу илатформы, къ пустыннымъ путямъ и заброшенному вагону, подъ которымь коношатся куры. Въ такихъ тихихъ уголкахъ привычка создается быстро. И когда онъ пересталь замъчать меня, я увильль, что этому человьку скучно -скучно, какъ никому въ міръ Скучно отъ надофиней станцін, скучно отъ отсутствія мыслей, скучно отъ пожирающаго силы бездълья, скучно отъ исключительности своего положенія, гдъ-то въ пространствъ между недоступнымъ ему станціоннымь начальствомь и педостойными его назшими стужжимии. Душа его жила порушеніями норятка, з на этой крохоглой стинны инкто не нарушать поря иза, и каждый разъ, когда отходиль безъ всякихъ приключеній пассажирскій побздъ, на лицф жандарма выражалось разстройство и досада обманутаго человъка. Нъсколько минутъ въ неръшимости онъ стоялъ на мѣсть и потомъ вядою походкою шель на другой конецъ платформы—безъ опредъленной цъли. Дорогою на секунду останавливался передъ бабою, ожидавшей поъзда; но баба была, какъ баба, - и, нахмурившись, жандармъ слъдовать дальше. Потомъ онъ садился, вяло и плотно, какъ разваренный, и чувствовалось, какъ мягки и вялы подъ сукномъ мундира его бездъятельныя руки, какъ въ мучительной истомъ бездълья томится все его крънкое, созданное для работы твло. Мы скучаемъ только головою, —а овъ скучалъ весь насквозь, снизу до верху: скучала его фуражка, съ. безцъльнымъ молодечествомъ сдвинутая на бекрень, скучали шпоры и тренькали дисгармонично, враздробь, какъ глухія. Потомъ онъ начиналь зъвать. Какъ онъ зъвалъ! Ротъ его кривился, раздираясь отъ одного уха до другого, ширился, росъ, поглощалъ все лицо: казалось, еще секунда-и въ это растущее отверстіе можно будеть разсмотрѣть самыя внутренности его, набитыя кашей и жирными щами. Какъ онъ зъвалъ!

Съ посибиностью я уходиль, но долго еще подлая зъвота сводила мои скулы, и въ слезящихся глазахъ ломались и прыгали деревья.

Однажды съ почтоваго поъзда сияли безбилетнаго пассажира— и это было праздникомъ для скучающаго жандарма. Онъ подтяпулся, шпоры звякнули отчетливо и свиръпо, лицо стало сосредоточение и зло, — но счастье было непродолжительно. Нассажиръ заплатилъ деньги и, торопливо ругаясь, верпулся въ вагонъ, а сзадирастерянно и жалко тренькали металлическіе кружки, и надъними разслабленно колыхалось обезсилъвшее тъло.

И порою, когда жандармъ начиналъ зъвать, мнъ становилось за кого-то страшно.

Уже нъсколько дней около станцін возились рабочіє, расчищая мъсто, а когда я вернулся изъ города, пробывъ тамъ два дня, каменщики клали третій рядъ кирпича: для станцін воздвигалось новоє, каменное зданіє. Каменщиковъ было много, они работали быстро и ловко, и было радостно и странно смотрѣть, какъ выростала изъ земли прямая и стройная стѣна. Заливъ цементомъ одинъ рядъ, они устилали слѣдующій, подгоняя киринчи по размѣру, кладя ихъ то широкимъ, то узкимъ бокомъ, отсѣкая углы, иримѣриваясь. Они размышляли, и ходъ ихъ мыслей былъ ясенъ, ясна и ихъ задача—и это лѣлало ихъ работу интересною и пріятною для глаза. Я съ удовольствіемъ смотрѣлъ на нихъ, когла рядомъ прозвучалъ начальственный голосъ:

— Слушай, ты! Какъ тобя! Не тотъ кладешь!

Это говориль жандармь. Перегнувщись черезъ металлическую рѣшетку, которая отдъляла асфальтовую платформу отъ работающихъ, онъ показывалъ нальцемъ на кирпичъ и настанвалъ:

— Тебѣ говорю! Борода! Вонъ тотъ положь. Видишь—половинка.

Каменщикъ съ бородою, мъстами бътъвшей отъ извести, молча обернулся— лицо жандарма было строго и внушительно—молча послъдоваль глазами за его пальцемь, взялъ киришчъ, примърштъ и молча положилъ назадъ. Жандармъ строго взилянулъ на меня и отошелъ прочь, но соблазнъ интересной работы былъ сильнъе приличій: сдълавъ два круга по платформъ, онъ снова остановился противъ работающихъ въ иъсколько пебрежной и презрительной по :b. Но на лицъ его не было скуки.

Я пошель въ лъсъ, а когда возвращался назадъ черезъ станцію, быль часъ дня, рабочіе отдыхали, и было безлюдно, какъ всегда. Но у начатой стъны кто то копошился, и это быль жандармъ. Онь браль киринчи и докладываль пятый неоконченный рядъ. Мив видна была только его инпрокая, обтянутая спина, но въ ней чувствовалось напряженное размышленіе и нерфинительность. Очевидно, работа была сложиве, чъмъ онъ думаль: обманываль его и непривычный глазъ, и онъ откидывался назадъ, качалъ головою и нагибался за новымъ кирпичемъ, стуча опустившейся шашкой. Разъ онь подняль палець вверхь-классическій жесть человъка, нашедшаго ръшение задачи, въроятно, употребленный еще Архимедомъ, - и спина его выпрямилась самоувърениве и тверже. Но сейчасъ же съежилась опять въ сознанін неприличности взятой работы. Было во всей его рослой фигуръ что-то пританвшееся, какъ у дітей, когда они боятся, что ихъ поймають.

Я неосторожно чиркнулъ спичкой, закуривая папиросу,—и жандармъ испуганно оберпулся. Секунду онъ растерянно глядълъ на меня -и внезанио молодое лицо его освътилось слегка просительной, довърчивой и ласковой улыбкой. Но уже въ слъдующее мгновеніе оно стало педоступно и строго, и рука потянулась къжиденькимъ усамъ—по въ ней, въ этой самой рукъ, еще лежалъ злополучный кирпичъ. И я видълъ, какъмучительно стыдно ему и кирпича этого, и своей невольной предательской улыбки. Въроятно, онъ не умълъкраснъть—иначе опъ покраспълъ бы, какъ кирпичъ, который продолжалъ безпомощно лежать въ его рукъ.

Стъну возвели до половины, — и уже не видно, что дълають на своихъ подмосткахъ ловкіе каменщики. И опять мается по платформѣ и зъваеть жандармъ, и когда, отвернувниись, проходить мимо меня, я чувствую, что ему стыдно,—и опъ меня ненавидить. А я гляжу на его сильныя руки, вяло болтающіяся въ рукавахь, на его нестройно брякающія шпоры и повистую шашку—и мить все кажется, что это не настоящее, что въ ножнахъ совстять итть шашки, которой можно зарубить, а въ кобурть итть револьвера, которымъ можно насмерть застръчить человтка. И самый мундиръ его—тоже не настоящее, а такъ, нарочно, какой-то странный маскарадъ среди бълаго дня, предъ апръльскимъ правливымъ солицемъ, среди простыхъ работающихъ людей и хлопотливыхъ куръ, собпрающихъ зерна подъ заснувшимъ вагономъ.

Но порою... норою мит становится за кого-то страшно Ужъ очень онъ скучаетъ...

## МАРСЕЛЬЕЗА.

(1903)

Это было инчтожество: душа зайна и безстылная терпъливость рабочаго скота. Когда судьба насмъщливо и злобно бросила его въ наши черные ряды, мы смъялись, какъ сумасшедшіе: въдь бывають же такія смъшныя, такія нелъпыя ошибки. А онъ-онъ, конечно, плакалъ. Я никогда въ жизни не встръчалъ человъка, у котораго было бы такъ много слезъ и онф текли бы такъ охотно-изъ глазъ, изъ поса, изо рта. Точно губка, пропитанная водою и зажатая въ кулакъ. И въ нашихъ рядахъ я видълъ плачущихъ мужчинъ, но ихъ слезы были-огонь, отъ котораго бъжали дикіе звъри. Отъ этихъ мужественныхъ слезъ старъло лицо и молодъли глаза: какъ лава, исторгнутая изъ раскаленныхъ иъдръ земли, онъ выжигали неизгладимые слъды и хоронили подъ собою цълые города ничтожныхъ желаній и мелкихъ заботъ. А у этого, когда онъ поплачетъ, только красивлъ его носикъ, да намокалъ илаточекъ. Въроятно, онъ сущилъ его потомъ на веревочкъ, иначе откуда набраль бы онь столько платковь?

И во всѣ дии изгнанія онъ таскался къ начальникамъ, ко всѣмъ начальникамъ, какіе только были и какихъ онъ могъ придумать, кланялся, плакалъ, клялся въ своей невиновности, умолять пожалѣть его мододость, давать объщанія всю жизнь не открывать рта иначе, какъ для просьбъ и славословій. И тъ смѣялись надъ нимъ, какъ и мы, и называли его: "маленькая несчастная свинья", и кричали ему:

### — Эй ты, маленькая свинья.

И онъ послушно бъжалъ на зовъ: онъ думалъ каждый разъ услышать въсть о возвращени на родину, а они только шутили. Они знали, какъ и мы, что онъ невиновенъ, но его муками они думали напугать другихъ маленькихъ свиней.—какъ будто и такъ недостаточно трусливы онъ!

Приходилъ онъ и къ намъ, гонимый животнымъ страхомъ одиночества: но суровы и замкиуты были наши лица и тщетно онъ искалъ ключа. Теряясь, онъ называлъ насъ милыми товарищами и друзьями, а мы качали головой и говорили:

### - Смотри! Тебя услышать.

И онъ позволялъ себъ глядъть на дверь, эта маленькая свинья. Ну, развъ можно было сохранить серьезность! И мы смъялись отвыкшими отъ смъху голосами, а онъ, ободренный и утъшенный, присаживался ближе и разсказывалъ, и плакалъ о своихъ любимыхъ книжечкахъ, оставшихся на столъ, о своей мамашъ и братцахъ, о которыхъ онъ не знаетъ,—живы они или уже умерли отъ страха и тоски.

Подъ конецъ мы его выгоняли.

Когда началась голодовка, его охватиль ужась—невыразимо-комичный ужась. Въдь онъ очень любилъ покушать, бъдная свинья, и онъ очень боялся милыхъ товарищей и очень боялся начальниковъ: растерянно бродиль онъ среди насъ и часто вытиралъ илаткомъ лобъ, на которомъ выступило что-то—слезы или потъ. И неръшительно спросилъ меня:

- Вы долго будете голодать?
- Долго, сурово отвътилъ я.
- А потихоньку вы ничего не будете ъсть?
- Мамании будутъ присылать намъ пирожковъ, серьезно согласился я. Онъ недовърчиво посмотрълъ на меня, покачалъ головою и, вздохнувъ, ушелъ. А на другой день заявилъ, зеленый отъ страха, какъ попугай:
  - Милые товарищи! Я тоже буду голодать съ вами.

И быль общій отвѣть:

— Голодай одинъ.

И онъ голодалъ! Мы не върили, какъ не върите вы, мы думали, что онъ ъсть что-инбудь потихопьку, и такъ же думали налемотрщики. И когда подъ конецъ голодовки онъ заболълъ голоднымъ тифомъ, мы только пожали плечами: бъдная, маленькая свинья! Но одинъ изъ насъ, — тотъ, что никогда не смъялся, угрюмо сказаль:

— Онъ нашъ товарищъ. Пойдемъ къ нему.

Онъ бредилъ, и жалокъ, какъ вся его жизнь, былъ этотъ безсвязный бредъ. О своихъ любимыхъ книжечкахъ говорилъ онъ, о мамашѣ и братцахъ; онъ просилъ пирожковъ, — холодныхъ, какъ ледъ, вкусныхъ пирожковъ, и клялся, что невиновенъ и просилъ прощенія. И родину онъ звалъ, звалъ милую Францію, — о, будь проклято слабое сердце человѣка! Онъ душу раздиралъ этимъ зовомъ: милая Франція!

Мы всѣ были въ палатѣ, когда онъ умиралъ. Сознаніе вернулось къ нему передъ смертью, и тихо онъ лежалъ, такой маленькій, слабый, и тихо стояли мы, его товарищи. И всѣ мы, всѣ до единаго, услышали, какъ онъ сказалъ:

- Когда я умру, пойте надо мною "Марсельезу".
- Что ты говоришь!—воскликнули мы, содрогаясь отъ радости и закипающаго гнвва. И онъ повторилъ:

Когда я умру, пойте надо мною "Марсельезу".

— П впервые случилось такъ, что сухи были его глаза, а мы—мы плакали, плакали всё до единаго, и какъ огонь, отъ котораго бъгуть дикіе звъри, горъли наши слезы.

Онъ умеръ, и мы пъли натъ инмъ "Марсельезу". Молодыми и сильными голосами пъли мы великую пъсню свободы, и грозпо вторилъ намъ океанъ и на хребтахъ валовъ своихъ несъ въ милую Францію и блъдный ужасъ, и кроваво-красную падежду. И навсегда сталъ онъ знаменемъ нашимъ, это пичтожество съ тъломъ зайца и рабочаго скота—и великою душою человъка. На колъин перетъ героемъ, товарищи и друзья!

Мы пыль. На насъ смотрыли ружья, эловъще щелкали ихъ замки и острыя жала штыковъ, угрожающе тяпулись къ нашимъ сердцамъ,—и все громче, все радостиве звучала грозная пъсия, въ пъжныхъ рукахъ бойцовъ тихо колыхался черный гробъ.

Мы пъли "Марсельезу"!

.

## BEHB-TOBUTB.

(1903)

Въ тогь страшный день, когда совершилась міровая несправедливость и на Голгоев среди разбойниковъ быль расиять Інсусь Христось,—въ тоть день съ самаго ранняго утра у јерусалимскаго торговца Бенъ-Товита нестерпимо разбольлись зубы. Началось это еще накануив, съ вечера: слегка стало ломить правую челюсть, а одинъ зубъ, крайній передъ зубомъ мудрости, какъ будто немного приподнялся и, когда къ нему прикасался языкъ, давалъ легкое ощущеніе боли. Послъ ъды боль, однако, совершенно утихла и Бенъ-Товитъ совсъмъ забылъ о ней и успокоился,—онъ въ этотъ день выгодно вымѣнялъ своего стараго осла на молодого и сильнаго, былъ очень веселъ и не придалъ значенія зловѣщимъ признакамъ.

И спалъ онъ очень хорошо и кръпко, но передъ самымъ разевътомъ что-то начало тревожить его, какъ будто кто-то звалъ его но какому-то очень важному дълу, и когда Бенъ-Товитъ сердито просиулея — у него больли зубы, больли открыто и злобно, всею полнотою острой, сверлящей боли. И уже нельзя было понять, больль ли это вчеранний зубъ, или къ нему присоединились и другіе: весь ротъ и голова полны были ужа-

снымъ ощущеніемъ боли, какъ будто Бенъ-Товита заставили жевать тысячу раскаленныхъ до-красна острыхъ гвоздей. Онъ взяль въ роть воды изъ глинянаго кувшина, - на минуту ярость боли исчезла, зубы залергались и волисобразно заколыхались, и это ощущение было даже пріятно по сравненію съ предыдущимъ. Бенъ-Товить снова удегся, вспомниль про новаго ослика и подумать, какъ бы быть онъ счастливь, если бы не эти зубы, и хотыль уснуть. Но вода была теплая,- и черезъ нять минуть боль верпулась еще болъе свиръная, чьмъ прежде, и Бенъ-Товить сидълъ на постели и раскачивался, какъ маятникъ. Все лицо его сморщилось и собралось къ большому носу, а на носу, побладившиемь отъ страланій, застыла капелька холоднаго пота. Такъ, покачиваясь и стеная отъ боли, онъ встрътиль первые дучи того солица, которому суждено было видъть Голгону съ тремя крестами, и померкнуть отъ ужаса и горя.

Бенъ-Товитъ былъ добрый и хорошій человѣкъ, не любившій песираведливости, но, когда проспулась его жена, онъ, еле разжимая ротъ, наговорилъ ей мнего непріятнаго и жаловался, что его оставили одного, канъ шапала, выть и корчиться оть мученій. Жена теривливо приняла незаслуженные упреки, такъ какъ знала, что не отъ злого сердца говорятся опи, и принесла много хорошихъ лѣкарствъ: крысинаго очищеннаго помета, который нужно прикладывать къ щекъ, острой настойки на скорніонт и подлинный осколокъ камия отъ разбитой Монссемъ скрижали завъта. Оть крысинато помета стало ибсколько дучие, но не налолго, такъ же отъ настойки и каменка, но всякій разъ послъ кратковременнаго улучшенія боль возвращалась съ новой силой. И въ кратия минуты отдыха Бенъ-Товить утъщаль себя мыслыо объ осликъ и мечталь о немь, а когда становилось хуже—стональ, сердился на жену и грозиль, что разобьеть себѣ голову о камень, если не утихнеть боль. И все время ходиль изь угла въ уголъ по илоской крышѣ своего дома, стыдясь близко подходить къ наружному краю, такъ какъ вся голова его была обвязана илаткомъ, какъ уженщины. Нъсколько разъ къ нему прибъгали дъти и что-то разсказывали торопливыми голосами о Іисусѣ Назореѣ. Бенъ-Товитъ останавливался, минуту слушалъ ихъ, сморщивъ лицо, но петомъ сердито топалъ ногой и прогонялъ: онъ былъ добрый человъкъ и любилъ дътей, но теперь онъ сердился, что они пристаютъ къ нему со всякими пустяками.

Было также непріятно и то, что на улицѣ и на сосѣднихъ крышахъ собралось много народу, который ничего не дѣлаетъ и любопытно смотритъ на Бенъ-Товита, обвязаннаго платкомъ, какъ женщина. И онъ уже собирался сойти винзъ, когда жена сказала ему:

- Посмотри, вонъ ведутъ разбойниковъ. Быть можетъ, это развлечетъ тебя.
- Оставь меня, пожалуйста. Развъ ты не видишь, какъ я страдаю?—сердито отвътилъ Бенъ-Товитъ. Но въ словахъ жены звучало смутное объщаніе, что зубы могутъ пройти, и нехотя онъ подошелъ къ парапету. Склонивъ голову на бокъ, закрывъ одинъ глазъ и подпирая щеку рукою, онъ сдълалъ брезгливо-плачущее лицо и посмотрълъ внизъ.

По узенькой улицъ, поднимавшейся въ гору, безпорядочно двигалась огромная толиа, окутанная пылью и несмолкающимъ крикомъ. По серединъ ея, сгибаясь подъ тяжестью крестовъ, двигались преступники, и надъ ними вились, какъ черпые змън, бичи римскихъ солдать. Одинъ, —тотъ, что съ длинными свътлыми волосами, въ разорванномъ и окровавленномъ хитонъ, — споткнулся на брошенный подъ ноги камень и упаль. Крики слѣлались громче, и толпа, подобно разноцвѣтной морской водѣ, сомкнулась надъ упавшимъ. Бенъ-Товитъ внезапно вздрогнулъ отъ боли,—въ зубъ точно вонзилъ кто-го раскаленную иглу и повернулъ ее—застопалъ: у-у-у.—и отошелъ отъ парапета, брезгливоравнодушный и злой.

Какъ они кричать!—завистливо сказаль онъ, представляя широко открытые рты съ крѣпкими небольющими зубами, и какъ бы закричаль онъ самъ, если быль здоровъ. И отъ этого представленія боль освиръщъла, и онъ часто замоталь обвязанной головой и замычаль: м-у-у...

- Разсказывають, что Опъ исцъляль слъпыхъ,— сказала жена, не отходившая отъ парапета, и бросила камешекъ въ то мъсто, гдъ медленно двигался поднятый бичами Іисусъ.
- Ну, конечно! Пусть бы Онъ исцълилъ вотъ мою зубную боль, проинчески отвътилъ Бенъ-Товитъ и раздражительно съ горечью добавилъ:—какъ они пылятъ! Совсъмъ какъ стадо! Ихъ всъхъ нужно бы разогнать палкой! Отведи меня внизъ, Сара!

Жена оказалась права: эрфлице ифсколько развлекло Бенъ-Товита, а, быть можеть, помогъ въ концѣ концовъ крысиный пометь, и ему удалось уснуть. А когда опъ проснулся, боль почти исчезла, и только на правой челюсти вздулся небольшой флюсъ, настолько небольшой, что его едва можно было замѣтить. Жена говорила, что совсѣмъ незамѣтно, но Бенъ-Товитъ лукаво улыбался: онъ знать, какая добрая у него жена и какъ она любитъ сказать пріятное. Пришелъ сосѣдъ, кожевникъ Самуилъ, и Бенъ-Товитъ водилъ его посмотрѣть поваго ослика и съ гордостью выслушивалъ горячія похвалы себѣ и животному.

Потомъ, по просъбъ любопытной Сары, они втроемъ пошли на Голгоеу посмотрѣть на расиятыхъ. Дорогою Бенъ-Товитъ разсказывалъ Самуилу съ самаго начала, какъ вчера онъ почувствовалъ ломоту въ правой челюсти и какъ потомъ почью проснулся отъ страшной боли. Для наглядности онъ дѣлалъ страдальческое лицо, закрывалъ глаза, моталъ головой и стоналъ, а сѣдобородый Самуилъ сочувственно качалъ головою и говорилъ:

#### — Ай-ай-ай! Какъ больно!

Бенъ-Товиту поправилось одобреніе, и онъ повториль разсказъ и потомъ вернулся къ тому отдаленному времени, когда у него испортился еще только первый зубъ, внизу съ лѣвой стороны. Такъ въ оживленной бесѣдѣ они пришли на Голгофу. Солице, осужденное свѣтить міру въ этотъ страшный день, закатилось уже за отдаленные холмы и на западѣ горѣла, какъ кровавый слѣдъ, узкая, багрово-красная полоса. На фонѣ ея перазборчиво темнѣли кресты, и у подножія средняго креста смутно бѣлѣли какія-то колѣнопреклоненныя фигуры.

Народъ давно разошелся; становилось холодно, и мелькомъ взглянувъ на распятыхъ, Бенъ-Товитъ взялъ Самунла подъруку и осторожно повернулъ его къ дому. Онъ чувствовалъ себя особенно красноръчивымъ, и ему хотълось досказать о зубной боли. Такъ шли они, и Бенъ-Товитъ подъ сочувственные кивки и возгласы Самуила дълалъ страдальческое лицо, моталъ головой и искусно стоналъ,—а изъ глубокихъ ущелій, съ далекихъ обожженныхъ равнинъ поднималась черная ночь. Какъ будто хотъла она сокрыть отъ взоровъ неба великое элодъяніе земли.

# RIHAMOUN GLAH

(1904)

Курсистка. Молоденькая, такая молоденькая — совсъмъ еще дъвочка. Носъ тонкій, красивый, но по-дътски еще незаконченный: не то онъ прямой, не то съ горбинкой, не то просто вздернутый; и такія же незаконченныя, пухлыя губы, отъ которыхъ какъ будто пахнетъ шоколадными конфектами и красной карамелью. II такъ щедры, такъ пышны тонкіе волосы, густой и ласковой волной окутавшіе голову, что при взглядъ на нихъ приходятъ мысли обо всемъ самомъ хорошемъ и свътломъ, что есть на землъ: о золотомъ утръ на голубомъ морф, о весениихъ жаворонкахъ, о ландышахъ и нахучей разросшейся спрени. Безоблачное небо и спрень, огромные, безкопечные кусты спрени и жаворонки надъ ними. Или вотъ еще вспоминается что. Когда въ майскій полдень проходишь подъ цвътущими яблонями, то съ нихъ надають бъло-розовые ленестки и нъжно дожатся на плечо, на шляпу, на черный рукавъ-бъло-розовые, нъжные лепестки.

И глаза у нея были молодые, яркіе, наивно безстрастные—и, только приглядфвшись, можно было замфтить на лицф легкія тфии усталости, недофданія, безсонныхъ, позднихъ вечеровъ за разговорами въ накуренных твеных комнатках, подъ изсущающимъ огнемъ лампъ. Быть можетъ, и слезы бывали на этихъ щекахъ—какія-то особенныя, не дътскія, ядовитыя слезы, и сдержанной тревожностью дышали движенія: лицо было весело и чуть-чуть улыбалось, а нога въ маленькой, забрызганной грязью калошъ нетерпъливо притоптывала—какъ будто торопила медленную конку и гнала ее впередъ, быстръе, быстръе.

Все это усивив разсмотръть наблюдательный Митрофанъ Васильевичъ Крыловъ, пока прошла полстанцін тягучая конка. Онъ также стояль на площадкъ, противъ дъвушки, и отъ нечего делать разсматривалъ ее, слегка брезгливо и враждебно, какъ очень простую и знакомую алгебранческую формулу, которая выведена мъломъ на черной доскъ и настойчиво лъзетъ въ глаза. Вначаль ему стало весело, какъ и всякому, кто взглядываль на дъвушку, но не надолго: были причины, убивавшія всякое веселье. Возвращался онъ изъ своей гимназін, послів пятаго урока, быль утомлень и очень голодень, а вагонь быль набить биткомь и негдъ было присъсть и почитать газету. И погода была скверная, ноябрьская, и городъ быль надофвшій, скверный, и дешевая жизнь-какъ коночный билеть съ надорваннымъ угломъ. Отъ дома до гимпазін и обратно: вев дии можно сосчитать по билетамъ, а сама жизнь похожа на клубокъ, изъ котораго грязные пальцы вытягивають бумажную ленту и отрывають по билету-но дню. И уже скоро дъвушка опротивъла ему, и онъ съ радостью пересталь бы на нее смотръть, но некуда было дъвать глаза.

— Недавно изъ провинціи, — сурово отмічаль онъ.— II какого они чорта ліззуть сюда, я бы воть съ радостью удраль въ Чухлому, къ дьяволу на рога. II тоже, конечно, всякіе разговоры, убъжденія, а тесемки на юбкъ полинть не можеть. До того-ля! Обидно главное, что такая хорошенькая.

Дъвушка замътила косой взглядъ и смутилась смутилась больше, чѣмъ подагается, изъ глазъ ел исчезла улыбка, на молоденькомъ лицъ явилось выражение дътскато страха и растерянности, и лъвая рука быстро потянулась къ груди и остановилась тамъ, что-то придерживая.

Нив ты! — удивился Митрофань Васильевить, отводя глаза и дълая равиодушное учительское лицо:— это она монхъ синихъ очковъ испугалась. Думаетъ, сыщикъ: подъ кофточкой-то, должно быть, бумажонки какія-нибудь. Прежде любовныя записки на груди носили, а теперь какіе-то тамъ бюллетени. И названіе-то нелѣпое: бюллетени.

Онъ снова бросилъ осторожный взглядъ, чтобы провършть впечатлъніе, и отвернулся: курсистка во всъ глаза, какъ очарованная, глядъла на него и крънко прижимала руку къ лъвому боку. Крыловъ разсердился:

— Вотъ дурища! Разъ очки синіе, такъ непремѣнно иніюпъ. А что у человѣка отъ занятій глаза могутъ болѣть, этого она не понимаетъ. И этакая наивность, вся на виду: пожадуйте. Тоже, вѣдь, дѣло, берутся дѣлать, отечество спасають. Соску ей надо, а не отечество. Нѣтъ, не дозрѣли мы. Лассаль, напримѣръ,вотъ это голова! А то тоже: всякая козявка. Уравненія съ двумя пенэвѣстными рѣшить не умѣетъ, а туда же: финансы, политика, бумажки. Попугать бы тебя, какъ слѣдуеть—тогда узнала бы, какъ надо!

И еще не усиъть онь окончить своей мысли, какъ внезанио влохновение осънило его. Отъ ноябрьскаго темнаго неба, съ мокрыхъ и грязныхъ камней мостовой, изъ нустоты голоднаго и злого желудка пришло оно это внезанное повелительное вдохновение. Какимъ-

го презвычайно подлымь жестомь втянувъ голову въ илечи, Митрофанъ Васильевичъ придалъ своей физіономіи то особенное, хитро накостное выраженіе, какое, по его митнію, должно быть у настоящаго шпіона, и бросилъ такой косой взглядъ, что чуть не вывернулъ глаза. И доволенъ остался: дъвушка вздрогнула и затрепетала неуловимымъ трепетомъ страха, и глаза ея тревожно забъгали.

— Да, вотъ именно: а бъжать-то и некуда!—толковать ея движенія Митрофанъ Васильевичь.—Попрыгай, попрыгай, голубушка, а мы еще жарку поддадимъ.

И вдохновляясь все болье и болье, забывая о голодь, и скверной погодь, отъ творческой горделивой радости, онъ такъ искусно началъ изображать шпіона, какъ будто настоящимъ быль актеромъ или дъйствительно служиль въ сыщикахъ. Тъло неуловимо извивалось скользкими змънными изгибами, глаза сіяли предательствомъ, и правая рука, опущенная въ карманъ, сжимала надорванный билетъ такъ энергично и сурово, точно это быль не кусокъ бумажки, а револьверъ, заряженный шестью пулями, или агентская книжка. И уже не одна дъвушка, а и многіе другіе обратили на него вниманіе: толстый рыжій купець, одинъ запимавшій треть площадки, какъ-то незам'ьтно сжался, точно сразу похудълъ и отвернулся. Высокій малый въ фартукъ поверхъ драповаго нальто поморгалъ на Митрофана Васильевича кроличьими глазами и внезапно, толкнувъ дфвушку, соскочилъ и завертълся среди экипажей.

Отлично! похвалилъ себя Митрофанъ Васильевичъ, радуясь глубоко и сосредоточенно, скрытной и злой радостью желчнаго человъка. Въ отръшении отъ своей личности, въ томъ, что онъ притворялся именно такой гадостью, какъ пийонъ, и люди боялись и ненавидъли

сто было что го острое, пріятно-тревожное и захватывающее. Въ сърой пеленъ обыденщины открывались какіе-то гемные, жуткіе провалы, полные намековъ и безшумно рѣющихъ тѣней. Онъ вспомнилъ свой классъ, опротивъвщія физіономія учениковъ, ихъ синія тетрали, закананныя, грязныя, исчерканныя, полныя нельныхъ, идіотскихъ оппібокъ, отъ которыхъ скучно становится жить и перестаень любить математику, и подумаль:

— А въ сущности, очень должно быть интересное это дъло, - шијонское. Шпјонъ-то въдь тоже рискуетъ, ла еще какъ. Ой-ой какъ! Одного шпјона даже убили, разсказывалъ кто-то. Такъ и заръзали, какъ свинью.

На минуту ому стало страшно и захотълось перестать быть иниономъ, но та учительская шкура, въ которую подлежало вернуться, была такъ голодна, скучна, противна, что онъ внутренно махнулъ на нее рукой, даже идонуль, и даль лицу самое пакостное выраженіе, какое только могь. Курсистка уже не смотръла на него, по вся ея молодая фигурка, кончикъ краснаго хха, выглядывавній изъ-подъ выощихся волосъ, слегка наклонившійся впередъ корпусъ и медленно и глубоко работающая грудь выражали страшное напряжение и одну сверлящую мысль о побъгъ. () прыльяхъ, въроятно, мечтала она-о крыдьяхъ. Раза два она нерфиительно переступнала ногами, положила руку на столбикъ и слегка повела головой къ Митрофану Васильевичу но сбоку, покрасиввшей щекою почувствовала его пронизывающій взглядь, и замерла. И рука ся такъ и осталась лежать на перилахъ, и черная перчатка, прорвавшаяся на среднемъ пальцъ, слегка дрожала. И стыдно было, что всф видять прорванную перчатку и высунувшійся налець, такой маленькій, такой спротливый и робкій,-но снять руку не было силы.

Ага! --- думаль Митрофанъ Васильевичь: то-то воть! уйти-то некуда. Впередъ наука: будешь знать, какъ дъла дълать. А то словно на балъ собралась: нътъ, братъ, шалишь, не все тебъ один удовольствія. Попрыгай-ка теперь, да.

Онъ представилъ себв жизнь преслъдуемой дъвушки—и она была такая же интересная, такая же полная и разнообразная, какъ и у шпіона. И было въ ней еще что-то, чего не хватало въ жизни сыщика, какая-то обидная гордость, какая-то стройная гармонія борьбы, тайны, быстраго ужаса и быстрой мужественной радости. За ней гонятся—а развѣ нѣтъ въ этомъ особенной, огневой радости, когда кто-то злой, враждебный и опасный простираетъ къ горлу хищныя руки, нить за нитъю вьетъ убійственную веревку? Какъ бъется сердце, какъ ярка жизнь, какъ хочется жить!

Брезгливо, бокомъ, Митрофанъ Васильевичъ оглядъль свое поношенное потертое на рукавахъ пальто, вспомнилъ пуговицу, внизу вырванную съ мясомъ, представилъ себъ свое желтое кислое лицо, которое онъ такъ не любитъ, что бреетъ только разъ въ мъсяцъ, синіе очки — и съ ядовитой радостью нашелъ, что онъ дъйствительно похожъ на шиіона. Особенно пуговица: у шиіоновъ некому пришивать пуговицъ и у каждаго изъ нихъ обязательно должна быть одна такая надорванная, уныло обвисшая пуговица, на которую нельзя застегивать. И шевельнулось глухое чувство какого-то особеннаго, жуткаго, шпіонскаго одиночества и грустно стало, и все — и небо, и люди, и жизнь — расцвътилось черными, суровыми красками, стало глубоко, загадочно и содержательно.

Теперь онъ смотрълъ на все одними глазами съ дъвушкой, и ново было все. Ни разу въ жизни онъ не задумывался надъ тъмъ, что такое вечеръ и ночь—эта

ганиственная ночь, родящая мракть, прячущая людей, безмольная, неотвратимая—теперь онть видълъ ея молчаливое шествіе, удивлялся загорающимся фонарямъ, ито-то прозрѣваль въ этой борьбѣ свѣта съ мракомъ, и поражался спокойствіемъ снующей по тротуарамъ толны—неужели они не видягъ почи? Дѣвушка жално смотрѣла въ пробѣгарщія черныя отверстія еще неосвѣщенныхъ переулковъ—и онъ смотрѣлъ тѣми-же глазами и были краснорѣчивы зовущіе во тьму коррилоры. Она съ тоской глядѣла на высокіе дома, камнемъ отгоролившіе себя отъ улицы, и безпріютныхъ людей—и новыми казались оти тѣсныя громады, эти злыя крѣпости.

На остановкъ, глъ кончадась станція, Митрофану Васильевичу нужно было сходить, но дъвушка ъхада дальше, и онъ громко сказалъ кондуктору:

Позвольте мить билетъ и на эту станцію.

Почень быль доволень, что удалось найти въ кошелькъ иятачокъ, почему-то казалось ему, что у шпіоновъ бываетъ только мѣдь и старыя засаленныя и даже склеенныя бумажки — хорошими красивыми деньгами нельзя илатить шпіонамъ, иначе они похожи булутъ на обыкновенныхъ людей. И молчаливый кондукторъ тоже понимать это: такъ галливо-почтительно взялъ монету, что къ удовольствію у Митрофана Васильевича прибавилось чувство обиды и возмущенія.

-- Брезгуешь, мерзавецъ!--полумалъ онъ, наводя синіе очки, какъ пушки, на лицо кондуктора и медленно принимая билеть: а самъ, небось, здорово поворовываешь. Знаю я васъ! Жалованьишко-то маленькое, иу, а контролеръ тоже, небось, не дуракъ. Рука руку моетъ, да.

И опъ замечтался о томъ, какъ онъ выслъдить кондунгора и контролера, собереть точныя данныя и въ одинъ прекрасный день—пожалуйте въ управленіе. Вы воровать, а? Вотъ изумится-то! А онъ будетъ продолжать выслъживать другихъ кондукторовъ, будетъ искоренять воровство...

- Гдъ же эта, молоденькая? Слава Богу, еще туть.
- Хорошъ шпіонъ! добродушно упрекаетъ себя Митрофанъ Васильевичъ.—Немножко бы—и выпустилъ птичку.
- Пользуясь разсвянностью учителя, курсистка сияла съ перилъ руку въ разорванной перчаткѣ, это сдѣлало ее смѣлѣе, и на углу большой улицы, гдѣ пересѣкались коночные пути, она соскочила. Тутъ слѣзало и садилось много публики, и какая-то худощавая женщина съ огромнымъ узломъ загородила Митрофану Васильевичу выходъ. Онъ говорилъ "позвольте" и пробовалъ пролѣзать, но застрявалъ и бросался къ другой сторонѣ. Но тамъ закрывали дорогу кондукторъ и давешній рыжій купецъ. Послѣдній даже взялся обѣими руками за поручни и точно не слыхалъ, какъ учитель сперва двумя пальцами, потомъ всей рукой теребилъ его за рукавъ.
- Да пустите же—крикнулъ Митрофанъ Васильевичъ!—Кондукторъ, что это за безобразіе. Я жаловаться буду!

Они не слыхали—кротко заступился кондукторъ.— Господинъ, позвольте имъ пройти.

Купецъ, не оглядываясь, нехотя разжалъ пухлую руку, но не подвинулся, и Митрофану Васильевичу, съ трудомъ пробиравшемуся въ узкое отверстіе, почувствовалось даже, что купецъ нарочно стискиваетъ его и душитъ. Задыхаясь, онъ высвободился, прыгнулъ такъ неловко, что чуть не свалился и погрозилъ кулакомъ въ стъдъ удаляющемуся прасному огию.

Дъвушку Митрофанъ Васильевичъ настигъ въ ма-

пенькомъ глухомъ переулкъ, куда онъ завернулъ по догадкъ. Она быстро пша и оглядывалась, и когда увидъла преслъдователя, почти побъжала, наивно открывая полную свою безпомощность. Побъжалъ за ней и Митрофанъ Васильевичъ, и теперь въ темномъ незнакомомъ переулкъ, гдъ были они только двое, бъгущіе, онъ почувствовалъ себя совсъмъ необычно, какъ-то уже слишкомъ по-шийонски, даже страшно немного стало. "Нужно поскоръе кончить"—подумалъ онъ, быстро перебирая ногами и задыхаясь отъ этой пеестественной рыси, но не ръшаясь почему-то на крупный шагъ.

У подъвзда многоэтажнаго дома курсистка остановилась, и пока дергала за ручку тяжелой двери, Митрофанъ Васильевичъ нагналь ее и съ великодушной улыбкой заглянулъ въ лицо, чтобъ показать ей, что шутка кончилась, и все благонолучно. И тяжело дыша, еле продпраясь въ полуотворенную дверь, она бросила въ улыбающееся лицо:

#### — Подлецъ!

И скрылась. Сквозь стекло на площадкъ мелькнулъ еще ел силуэтъ—и все исчезло. Все еще великодушно улыбаясь, Митрофанъ Васильевичъ съ любопытствомъ потрогалъ холодиую ручку, попробовалъ пріотворить, по въ глубинъ подъъзда, подъ лъстницей, блеснулъ галунъ швейцара, и онъ медленно отошелъ. Въ нъсколькихъ шагахъ остановился и минуты двъ безъ мыслей пожималь плечами. Съ достоинствомъ поправиль очин, закинулъ голову пазадъ и подумаль:

— Какъ это глупо! Не дала слова сказать, и сейчась же ругаться. Дъвчонка, дрянь. Не могла понять, что это шутка. Для нея же стараешься, и... Очень она миж пужна со своими бумажонками. Сдълайте милость, домайте шею, сколько хотите. Теперь сидить, небось, и

разнымъ тамъ студентамъ и лохматымъ разсказываетъ, какъ за ней шпіонъ гнался. А они охаютъ. Идіоты! Я самъ университетъ окончилъ и тоже не хуже васъ. Да. Не хуже.

Послъ быстрой ходьбы ему стало жарко, и онъ раснахнулся. Но вспомиилъ, что можетъ простулиться и застегнулся, съ ненавистью дернувъ надорванную пуговицу.

— У, дьяволь!.. Да, не хуже - съ. А можетъ быть лучше. Поди-ка повози на шет восемь душъ, да еще глухую бабку, чорта—кочерыжку. Конечно, такъ оставить нельзя, нужно объяснить ей, что я окончилъ университетъ и тоже—противъ всего этого. Да гдт ее взять? Не до свъту же тутъ шататься? Слуга покорный. Я еще не объдалъ.

Онъ потоптался на мъстъ, безнадежно окинулъ глазами ряды освъщенныхъ и темныхъ оконъ и продолжалъ:

— А лохматые, небось, и рады, и върять. Дурачье. Я въдь тоже студентомъ лохматымъ былъ — вотъ какія волосища носилъ. Я и теперь стричься бы не сталъ, если бы не лъзли волосы. Лъзутъ, удивительно лъзутъ, скоро лысый буду. Не могу же я, сами посудите, вытягивать волосы, когда ихъ нътъ. Ех nihilo nihil fieri potest. Не парикъ же мнъ носить, какъ... шпіону.

Онъ закурилъ папироску и чувствовалъ, что это уже лишняя папироса: такъ горекъ и непріятенъ былъ ея дымъ.

— Войти и сказать: господа, это была шутка, просто шутка. Да изтъ, не повзрятъ. Господи! Еще набьютъ.

Митрофанъ Васильевичъ быстро отошелъ шаговъ на двадцать и остановился. Дълалось холодио. Пожимаясь въ негръющемъ пальто, онъ почувствовалъ въ

боковомъ карманѣ газету—и стало такъ горько, такъ обидно, что захотѣлось илакать. Отъ чего онъ отказался? Пришелъ бы домой, пообѣдалъ бы, чайку бы выпилъ, потомъ легъ бы на диванъ и почиталъ газетку—на душѣ такъ мирно, безоблачно: тетрадки поправлены, завтра, въ субботу у инспектора винтъ. А тамъ въ своей комнаткѣ сидитъ глухая бабушка и чулки вяжетъ—милая старушка, лобрая, внимательная, ему двъ пары носковъ связала. И ламиадка, небось, у нея горитъ—я еще за масло ругался.—А тутъ? Какой-то переулокъ. Бакой-то домъ. Какіе-то лохматые студенты... Госноди, этого еще не доставало!

Изъ освъщеннаго подътзда, громко хлопнувъ дверью, вышли два студента и ръшительно отправились въ сторону Митрофана Васильевича. Дальше — туманъ, обрывки улицъ, фонари, какія-то темныя фигуры, настойчиво загораживающія путь, длинный обозъ, морла лошади надъ самымъ ухомъ и одно поведительное невыносимое чувство страха. Опамятовался онъ гдъто на бульваръ и долго не могъ узнать мъстности. Было пустынно и тихо. Направывалъ дождь. Студентовъ не было.

Онъ выкуриль двт папиросы, одна за другой, и руки его, когда онъ зажигалъ спичку, дрожали.

— До чего добъгался? Нелостаеть только восналение легкихъ схватить, а потомъ чахотку. Слава Богу, что не догнали. А славно, кажется, гнались. Кто - то все время кричалъ: "стой . И какъ страшно было, Господи!

На бульваръ, шленая калошами, вошли три студента. Митрофанъ Васильевичъ выкатилъ на пихъ помутившеся отъ страху глаза и, не отдавая себъ отчета, сорвался со своего мъста и куда-то зашагалъ. И только пройля весь бульваръ и зарывшись въ тем-

ноту кривого и горбатаго переулка, сообразилъ, что тъхъ студентовъ было двое, что нельзя же бъгать отъ всъхъ студентовъ, какіе встръчаются па улицъ. Покружилъ по незнакомымъ переулкамъ, снова вышелъ на бульваръ и долго разыскивалъ скамью, на которой сидълъ. Нужно было почему-то състь именно на эту скамью. Тутъ, онъ думалъ, что-то очень утъшительное.

- Нужно успокоиться и смотръть на дъло трезво,— думаль онъ. Дъло вовсе не такъ плохо. Чортъ съ ней, съ дъвчонкой! Думаетъ, что шпіонъ, цу и пусть думаетъ. Знать-то она меня не знаетъ. Да и тъ двое меня не видъли. Воротникъ-то я не дуракъ—под нялъ!
- Онъ было засмѣялся отъ радости и даже ротъ раскрыль— и замеръ отъ ужасной мысли.
- -- Господи! А опа-то видъла! Въдь я нарочно цълый часъ свою рожу демонстрировалъ. Встрътитъ теперь гдъ-нибудь...

И Митрофану Васильевичу представился цѣлый рядъ ужасныхъ возможностей: онъ человѣкъ интеллигентный, любитъ науки и искусство, бываетъ въ театрѣ, на всякихъ собраніяхъ и лекціяхъ, три раза былъ въ университетѣ на защитѣ магистерской диссертаціи—и вездѣ онъ можетъ встрѣтиться съ дѣвушкой?— Она, навѣрное, никогда не бываетъ одна, такія дѣвушки никогда не бываютъ однѣ, а всегда съ цѣлой компаніей такихъ-же курсистокъ и дерзкихъ студентовъ—и что можетъ произойти, когда она покажетъ на него пальцемъ: вотъ шпіонъ!—подумать страшно.

— Необходимо снять очки и обриться—думаеть Митрофанъ Васильевичъ.—Чортъ съ ними, съ глазами, да можетъ быть, докторъ еще вретъ. Но развъ чтонибудь измънится, если снять такую бороду? Развъ это борода?

Онъ почесаль нальцами ръденькую бородку и вездъ пощупалъ тъло.

— Даже борода, какъ у людей, не растеть!—подумаль онъ съ отвращениемъ и тоской.—Но все это вздоръ. И то, что она можетъ узнать, тоже вздоръ. Пужно доказать. Нужно спокойно и логично доказать, какъ доказываютъ теоремы.

Ему представлялось собраніе лохматыхъ, и онъ нередъ ними твердо и спокойно доказываетъ. Буквы ясны и круглы, одно выраженіе идетъ за другимъ, вездѣ спокойные торжествующіе знаки равенства. "Такимъ образомъ, вы видите... что"...

Митрофанъ Васильевичъ съ достоинствомъ, строгимъ жестомъ ноправляетъ очки и презрительно усмъхается. Потомъ начинаеть доказывать—и убъждается съ холодиымъ умасомъ, что вст эти буквы и логика, и равенства - одно, а жизнь его - другое, и въ этой житин пать тогики, нать равенства, пать никакихъ доказотельствъ, что онъ Митрофанъ Васильевичъ Крыдовъ,--е шијонъ. Пусть кто-нибудь, та же дъвушка обвинить его вь шпіонств'т найдется въ его жизни что-нибудь опредъленное, яркое, убъдительное, что могъ бы онъ противупоставить этому гнусному обвиненію? Вотъ смотрить она наивно безстрашными глазами, говоритъ "шпіонъ"—и отъ этого прямого взгляда, отъ этого жестокаго слова тають, какъ оть огня, лживые призраки убъжденій, порядочности. Пустота. Митрофанъ Васильевичь молчить, но душа его полна крикомъ отчаянія и ужаса. Что это значить? Куда ушло все? На что опереться, чтобы не упасть въ эту черную п страшную пропасть?

— Мои убъжденія—бормочеть онъ. Мои убъжденія. Всъ знають. Мои убъжденія. Воть, напримъръ...

Онъ ищеть. Онъ ловить въ намяти обрывки разго-

воровъ, ищеть чего-инбудь яркаго, сильнаго, доказательнаго-и не находить ничего. Попадаются нелфиыя фразы; "Я убъжденъ, Ивановъ, что вы списали задачу Сироткина". Но развъ это убъжденія? Пробъгають отрывки газетныхъ статей, чын-то речи, какъ будто и убъдительныя, -- но гдъ то, что говориль онъ самъ, что думаль онъ самъ? Нъту. Говориль, какъ всъ, думаль, какъ всъ: и найти его собственныя слова, его собственныя мысли такъ же невозможно, какъ въ кучъ зеренъ найти такое же ничъмъ не отмъченное зерно. Съ другими счастливыми людьми случается, что они или нечаянно, не подумавши, или спьяну скажутъ что-нибуль такое разкое, что надолго останется въ памяти у другихъ; какъ-то несколько леть тому назадъ ихній учитель чистописанія, скромный старичокъ, на объдъ у директора послъ акта, напился пьянъ и закричалъ: "Требую реформы средней школы!" И произвелъ скандалъ. И до сихъ поръ всъ помиять этогъ случай и при встръчъ обязательно спрашивають у старичка: "Ну, какъ насчетъ реформы?"-и искренно считаютъ его скрытымъ радикаломъ. А онъ?-когда выпьетъ, тотчасъ же засыпаеть или плачеть и лізеть цівловаться; разъ даже съ швейцаромъ поцъловался; заговариваться не заговаривается и никогда ничего не требуетъ. Другой человъкъ бываетъ религіозный, или не религіозный, а онъ...

— Постой, а есть Богъ или нѣтъ? Не знаю, ничего не знаю. А я кто—учитель? Да и существую ли я?

Руки и ноги У Митрофана Васильевича холодъють. И на этотъ счетъ, существуетъ онъ или не существуетъ, у него нътъ твердыхъ убъжденій. Сидитъ кто-то на бульваръ и куритъ папиросу. Какія-то деревья, мокрыя, скользкія. Какой-то дождь. Какой-то фонарь мигаетъ, и по стеклу бъгутъ капли. Пусто, непонятно, страшно.

Митрофанъ Васильевичь всканиваеть и идеть.

-- Вадорь, вадорь! Нервы просто развинтились. Да и что такое убъжденія? Одно слово. Вычиталь слово, воть тебт и убъкденія. Католь, логарифмъ! Поступки, воть главное. Хорошъ шпіонъ, который...

Но и поступковъ и вту. Есть дъйствія— служебныя, семейныя и безраздичныя, а поступковъ нъту. Кто то неугомимо и настойчиво требуеть: скажите, что вы сдълали?—И окъ ищеть съ отчаяніемъ, съ тоской Какъ по клазишамъ, пробъгаеть по всъмъ прожитымъ годамъ, и каждый годъ издаеть одинъ и тотъ же пустой и деревянный звукъ - б-я-а... Ни содержанія, ни смысла. "Я убъжденъ, Пвановъ, что вы списали задачу у Сироткина". Не то, не то.

Послушайте, послушайте же, сударыня...—бормочеть Митрофанъ Васильевичь, опустивъ голову и умъренно и прилично жестикулируя.— Какъ глупо, извините, думать, что я шијонъ. Я—шијонъ! Какой вздоръ. Нозвольте, я докажу. Итакъ, мы видимъ...

Пустота. Кула же дъвалось все? Онъ знаетъ, что онъ дълалъ что-то, но что? Всъ домашніе и знакомые считають его умнымъ, добрымъ и справедливымъ человъкомъ—въдь, есть же у нихъ основанія! Ахъ, да, бабушкъ ситцу на платье купилъ, и жена еще сказала: "Слишкомъ ужъ ты добръ, Митрофанъ Васильевичъ." Но, въдь, и иннопамъ, свойственна дюбовь къ бабушкамъ, и они покупають бабушкамъ ситцу — навърное такого же чернаго съ крапинками, дрянного ситцу. А еще что? Въ баню ходилъ, мозоли сръзывали. Нътъ, не то. Карпову вмъсто двойки тройку поставилъ. "Я убъжденъ, Ивановъ. что вы списали задачу..." Вздоръ, вздоръ!

Безсознательно Митрофанъ Васильевичъ продълываетъ обратный путь отъ бульвара къ дому, гдъ скры-

лась курсистка, но не замъчаетъ этого. Чувствуетъ только, что поздно, что онъ усталъ, и ему хочется плакать, какъ Иванову, удиченному въ списываніи.

Митрофанъ Васильевичъ останавливается передъ многоэтажнымъ домомъ и съ непріятнымъ педоумъніемъ смотритъ на него.

- Какой непріятный домъ? Ахъ, да. Тотъ самый. Онъ быстро отходить отъ дома, какъ отъ начиненной бомбы, останавливается и что-то соображаеть.
- Лучше всего написать. Спокойно обдумать и написать. Имени, копечно, называть не буду. Просто: "Нъкій человъкъ, котораго вы, сударыня, приняли за шпіона..." По пунктамъ. Такъ и такъ, такъ и такъ. Дура будетъ, если не повъритъ, да.

Потентавшись у подъезда, потрогавъ исколько разъ холодную ручку, Митрофанъ Васильевичъ съ усиліемъ въ два пріема открылъ тяжелую дверь и съ решительнымъ суровымъ видомъ вощелъ. Подъ лёстницей, изъ дверей каморки показался швейцаръ, и лыцо его выражало услужливость.

- Послушайте, дружище, тугъ недавно дъвушка курсистка... въ какой померъ она прошла?
  - А вамъ на что?

Митрофанъ Васильевичъ молча стръльпулъ очками, и швейцаръ понялъ: какъ-то особенно мотнулъ головой и протянулъ руку для пожатія.

"Хамъ!"— съ ненавистью подумалъ Митрофанъ Васильевичъ и кръпко пожалъ руку, прямую и твердую, какъ доска.

- Пойдемъ ко мнъ, позвалъ швейцаръ.
- Зачъмъ же... Миъ только... по швейнаръ уже повернулъ къ своей каморкъ, и Митрофанъ Васильевичъ, поскрипывая зубами, покорно послъдоваль за инмъ., Повърилъ! сразу повърилъ!—мерзавецъ!"

Въ каморкъ было тъсно, стоялъ одинъ стулъ, и швейцаръ спокойно занялъ его.

"Хамъ! хамъ! даже състь не предлагаетъ"—съ тоской думалъ Митрофанъ Васильевичъ.— хотя въ обычномъ состояніи сидъть не только въ чужой швейцарской, но и въ собственной кухиъ считалъ ниже своего достоинства.

"Хамъ",-повторилъ онъ и добродушно спросилъ:

— Холостой?

Но швейцарь не счель нужнымъ отвътить. Окинувъ учителя съ ногъ до головы равнодушно-нахальнымъ взглядомъ, равнодушно помолчалъ и спросилъ:

- Тутъ тоже третьяго дня одинъ изъ вашихъ былъ. Блондинчикъ съ усами. Знаете?
  - Какъ же, знаю. Этакій... блондинъ.
- A мпого, должно быть, вашего брата шатается, равнодушно замътилъ швейцаръ.
- Послущайте, возмутился Митрофанъ Васильевичъ.—Я вовсе не желаю. Мнъ нужно...

По швейцаръ не обратиль вниманія и продолжаль:

- А жалованья вамъ много идетъ? Блондинчикъ сказалъ пятьдесятъ. Маловато.
- Двъсти, совралъ Митрофанъ Васильевичъ и съ влорадствомъ увидълъ на лицъ швейцара выраженіе восторга.
  - То-то, голубчикъ, —подумалъ онъ.
- Ну? Двъсти Эго я понимаю. Папироску не желасте?

Митрофанъ Васильевичъ съ благодарностью принялъ изъ нальневъ извейцара напиросу и съ тоской вспомникъ о своемъ японскомъ ящичкъ съ папиросами, о кабинетъ, о синихъ милыхъ тетрадкахъ. Тошнило. Табакъ быль Блкій, вонючій, пийонскій. Тошнило

— А быютъ васъ часто?

#### Послушайте...

- Блондинчикъ сказывалъ, что его ни разу не били. Да, поди, вретъ. Какъ можно, чтобы не били. Но ежели ръдко и съ осторожностью, чтобы безъ членовредительства, такъ оно ничего. Деньги не малыя. Върно, ваше благородіе? Швейцаръ дружески улыбнулся.
  - Миѣ нужио...
- Способности только надо имѣть и чтобы лицо подходящее. Безъ примѣть. А то видѣлъ я одного, вся рожа на сторонѣ и глаза нѣту. Развѣ такой годится, сами посудите! Всю рожу такъ и свернуло, какъ отъ вѣтру, и глаза нѣтъ, одна дырка. Вотъ у васъ...
- Да послушайте!—тихо закричалъ Митрофанъ Ва сильевичъ.—Мнъ некогда. Мнъ еще нужно!

Неохотно оставляя интересную тему, швейцаръ подробиње разспросилъ, какова на видъ дъвушка, и сказалъ:

— Знаю. Часто ходить. № 7, Иванова. Зачѣмъ папиросу на полъ бросаешь? Вонъ печка. Мети тутъ за вами.

II послъднее, что доносилось до слуха учителя, было:

- Шентрапа, понимаешь?
- Хамъ!—мысленно отвътилъ Митрофанъ Васильевичъ и быстро зашагалъ по переулку, отыскивая глазами извозчика. Домой, скоръе домой! Господи, какъ опъ раньше объ этомъ не вспомнилъ,—что значитъ растерянность. Въдь, у него есть дневникъ, а въдневникъ давно когда-то, еще студентомъ перваго курса, онъ записалъ что-то очень либеральное, очень смълое и свободное и даже красивое. Онъ живо помнитъ и вечеръ тотъ, и свою комнатку, и разсыпанлый

табакъ на столъ, и то чувство гордости, упоенія, восторга, съ какимъ набрасывалъ онъ эпергичныя, твердыя строки. Вырвать странички и послать — и все тутъ. Она увидитъ, она пойметъ, она умиая и благородная дъвушка. Какъ хорошо! Какъ хочется ъсть.

Въ передней Митрофана Васильевича встрътила обезпокоенная жена:

Гдъ ты быль? Что съ тобой? Отчего ты такой?

И посившно сбрасывая пальто на ходу, онъ кричаль:

— Съ вами и не такой будеши! Полонъ домъ народу, а пуговицу пришить некому. Чортъ васъ знаетъ, что вы тутъ дълаете! Сто разъ говорилъ: пришить. Безобразіе, распущенность!

И зашагалъ въ кабинетъ.

- А объдать?
- Потомъ. Не лъзь! Не ходи за мной.

Было много книгъ, много тетрадей, по дневникъ пе попадался. Попалась связка ученическихъ тетрадей за первый годъ его учительства, сохраненная, какъ воспоминаніе,—къ чорту. Сидя на полу, онъ выкидывалъ изъ нижияго отдъленія шкапа бумаги, книги, тетради, отчаявался и вздыхалъ, сердился на застывшіе тугіе пальцы—и наконець! Воть онъ голубенькій, немного засаленный переплеть, еще не установившійся старательный почеркъ, засохиніе цвъты, старый кисловатый запахъ духовъ—какъ онъ былъ молодъ!

Митрофанъ Васильевичъ сълъ къ столу и долго перелистывалъ дневникъ, но желаемое мъсто не находилось. По серединъ между страницами былъ перерывъ, и торчали коротенькіе тщательные обръзки. И онъ вспомиилъ: пять лътъ тому назадъ, когда у Антона Антоныча былъ обыскъ, онъ оченъ испугался, выръзаль изъ дневника всъ компрометирующія его

страницы и сжегъ. Нечего искать—ихъ иътъ — онъ сгоръли.

Понуривъ голову, закрывъ лицо руками, онъ долго, безъ движенія, сидіяль надъ опустошеннымъ дневинкомъ. Горіза одна только свізча — лампы онъ не успізя зажечь — въ комнаті было непривычно темно, и отъ черныхъ безформенныхъ креселъ візяло холодомъ, заброшенностью, скукой. Далеко, въ тізхъ комнатахъ, играли дізти, кричали и смізялись: въ столовой звенізли чайной посудой, ходили, разговаривали— а тутъ было безмолвно, какъ на кладбищъ. Если бы заглянулъ сюда художникъ, почувствовать бы эту холодную, угрюмую темноту, увидізть бы на полу груду разбросанныхъ бумагъ и книгъ, темную фигуру человізка съ закрытымъ лицомъ въ безнадежной тосків склонившагося надъ столомъ,—онъ написать бы картину и назваль бы ее: "Самоубійца".

— Но въдь, можно вспомнить,—съ мольбой думаетъ Митрофанъ Васильевичъ. — Можно вспомнить. Иусть сгоръда бумага, но, въдь, то, что было, оно осталось гдъ-то. Оно есть, оно существуеть, нужно только вспомнить.

И онъ вспоминаеть все пенужное: и формать страницы, и почеркъ, и даже запятыя и точки, по то нужное и дорогое, то любимое, свътлое, оправдывающее, оно погибло навсегда. Опо жило и умерло, какъ умирають люди, какъ умираеть все. Безслъдно исчезло оно въ огромпой пустотъ, и никто не знаеть о немъ, никто о немъ не помиитъ, и ни въ чьей душть не осталось отъ него слъда. Если бы онъ сталъ на колъци, илакалъ, умолялъ вернуть его къ жизни, грозилъ, скрежеталъ зубами — огромпая, безначальная нустота осталась бы безгласной, ибо никогда не отдастъ она того, что разъ попало въ ея руки. Развъ

когда-нибудь слевы и рыданія могли вернуть къ живни умершаго, убитаго? Нътъ прощенія, нътъ пощады, нътъ возврата— таковъ законъ жестокой смерти.

Оно умерло, оно убито. Подлый убійца! Самъ своими руками сжегъ дучніе цвъты, что, быть можеть, разь въ жизни въ тихую святую ночь распустились въ безплодной, нищенской душѣ. Къ кому пойти, если самъ себѣ не другъ? Бѣдные погибшіе цвѣты! Быть можетъ, не ярки были они, и не было въ нихъ силы и красоты творческой мысли, но они были лучшимъ, что родила душа, и теперь ихъ пѣтъ и никогда не зацвѣтутъ они снова. Нътъ прощенія, нѣтъ нощады, нѣтъ возврата—таковъ законъ жестокой смерти.

— Что же это? Позвольте,—шепчеть безсмысленно Митрофанъ Васильевичъ.—Я убъдился, что вы, Пвановъ, списали... Нътъ. Вздоръ. Нужно жену. Маша! Маша!

Пришла Марія Пвановна. Лицо у нея круглое, доброе, не завитые, по-домашнему, волосы кажутся жилкими и безцвѣтными. Въ рукахъ у нея работа—дѣтское платьице.

- Что, Митроша, объзать сказать? Перестоялось все.
  - Нътъ, погоди. Мнъ нужно поговорить.

Марія Ивановна обезпокоенно откладываеть работу и заплядываеть мужу въ лицо. Тотъ отворачивается и говорить:

#### — Сядь.

Марія Пвановна съла, оправила платье, сложила руки на кольняхъ и ариготовилась слушать. И какъ всегла бывало въ этихъ слушаяхъ, еще со школьной скамьи, лицо ся сразу приняло выраженіе безтолковости и готовности все перепутать,

Я саушаю — сказала она и еще разъ оправила платье.

Но Митрофанъ Васильевичъ молчалъ, и изумленно вглядывался въ лицо жены. Чужое опо было и незнакомое, какъ лицо новаго ученика, поступившаго въ классъ; и странно было думать, что эта женщина—его жена, какая-то Марья Ивановна, Маша. И новая мысль ворвалась въ его взбудораженный мозгъ, и шопотомъ, дрогнувшимъ голосомъ онъ сказалъ:

- Ты знаешь, Маша. Я—шпіонъ.
- Что?
- Шпіонъ, понимаешь, да.

Марія Ивановна вся какъ-то осъдаеть, какъ проколотое тъсто и, всилеснувъ тихо руками, произносить:

— Такъ я и знала, несчастная, Господи Ты Боже мой!

Подскочивъ къ женъ, Митрофанъ Васильевичъ машетъ кулакомъ у самаго ея лица, съ трудомъ удерживается отъ желанія ударить и кричитъ такъ громко, что въ столовой перестаетъ звенъть посуда, и во всемъ домъ становится тихо...

— Дура. Дурища! Такъ и знала. Господи! Да какъ же ты могла знать? Двънадцать лътъ! Двънадцать лътъ! Господи! Жена—другъ, всъ мысли—деньги, все...

Становится къ печкъ и плачеть. Марія Ивановна еще не сообразила, отчего онъ плачеть: оттого ли, что онъ шпіонъ, или оттого, что не шпіонъ, но ей жалко мужа и обидно за ругань, она плачеть сама и говорить:

— Ну воть. Сейчасъ же и ругаться. Всегда я виповата. Толкомъ ничего не скажеть, а я виповата. Если дура, такъ зачъмъ женился на дуръ, браль бы умную.

Не оборачиваясь, прильнувъ лоомь къ холодной

кафлъ, Митрофанъ Васильевичъ шепчетъ, захлебываясь:

- Такъ и знала! Господи! Двънадцать лътъ. Уже если и жена, и та, такъ, значитъ, и вправду шпіопъ. Такъ и знала! Дура, дурища.
- Да что ты въ самомъ дътъ, я только и слышу: дура, дура,—равсердилась Марія Ивоновна.—Сами выкидывають, а тутъ за нихъ отвъчай.

Митрофанъ Васильевичъ яростно обернулся:

- Что выкидывають? Что же, я шиюнъ? Ну! Говори, шийонъ я или нътъ?
  - А я почемъ знаю? Можетъ и шпіонъ.

Гори ненавистью и гитьюмъ, оба обиженные, оба несчастные, они долго и безсмысленно бранились, въ чемъ-то другь друга упрекали, илакали, призывали Бога, нока не охватила обоихъ глупая тяжелая усталость и равподушіе. И тогда съ полнымъ спокойствіемъ, совершенно забывъ только что разыгравшуюся ссору, они съли рядомъ и заговорили, и спова зазвеньна въ столовой чайная посуда, и спова забъгали и зашумъли дъти. Конфузясь и избъгая нъкоторыхъ подробностей, Мигрофанъ Васильевичь передалъженъ псторію съ курсисткой и свои опасенія насчетъ случайной встрѣчи.

- Эка! беззаботно воскликнула Марія Ивановна.— А я думала, что. Стонть безноконться. Обрился, сияль очки, воть тебъ и все. А въ гимназін на урокъ можно и очки надъвать.
  - Ты думаешь? Да развѣ это борода?
- -- Ну ужъ это ты оставь. Говори, что хочешь, а бороду оставь. Всегда говорина, что хорошая, и сейчасъ скажу.

Мигрофань Васильевить кеноминать, что гимназиегы зовуть его "кожломь", и совсѣмъ развеселился. Если бы не было хорошей бороды, не звали бы "козломъ", это върно. И въ радости кръпко поцъловать жену и даже, шутя, пощекоталъ за ухомъ бородой.

Часовь въ двънадцать, гогда весь домъ угомонился, и жена легла спать, Митрофанъ Васильевичь принесъ въ кабинетъ зеркало, теплой воды и мыльинцу, и сълъ бриться. Пришлось кромъ ламны зажечь двъ свъчи, и было немного стыдно, и отъ яркаго свъта безпокойно, но онъ смотръдъ только на ту частъ лица, которой касалась бритва, и полбороды сиять благонолучно. Но потомъ нечаянно взглянулъ себть въ глаза и остановился. И прежде было тихо, а теперь наступила такая глухая и мертвая тишина, какъ будто раньше вся комната полна была крику и разговоровъ. Когда ночью человъкъ одинъ остается передъ зеркаломъ, ему всегда бываетъ немножко жутко и странно отъ мысли, что онъ видить себя. И Митрофану Васильевичу стало жутко и съ суровымъ любонытствомъ, какъ посторонній, онъ подумаль: "такъ воть ты какой!"

Дряблое лицо уже пожилого человъка съ морщинами, слъдами сошедшихъ угрей и бълой сухой кожей. На переносъъ красная полоска отъ очковъ, безцвътные моргающіе глаза; одна щека обрита и блеститъ лоснящейся кожей, другая покрыта мыльной пъной — такъ, въроятно, и шпіоны совершаютъ свой туалеть, когда идутъ на работу. Что-то безнадежно плоское, сърое, застывшее—не лицо живого человъка, а маска снятая съ покойника. Ни шпіонъ, ни тотъ, кого шпіоны преслъдуютъ.

— Такъ вотъ ты какой!—бормочетъ Митрофанъ Васильевичъ, и то лицо, въ зеркалѣ, странно шевелитъ губами и принимаетъ выраженіе кислоты, растерянности и трусливой злобы. Кто далъ ему это лицо? Кто смѣлъ дать такое лицо?

По щекъ, борозди мы тыцую пъну, скатывается слеза. Стиснувъ зубы, Митрофанъ Васильевичъ бреетъ щеку, потомъ задумывается, намыливаетъ усы — и снимаетъ ихъ. И снова ильдитъ. Завтра надъ этимъ лицомъ будутъ смъяться. А когла-то, давно, другимъ оно было.

Ръшительно сжавъ бритву. Митрофанъ Васильевичъ запрокидываетъ голову — и осторожно, тупой стороной бритвы два раза проводить по шет. Хорошо бы убить себя—да развъ онъ можетъ?

— Трусъ, подлець! говорить онъ громко и равнодушно. Но лицо въ зеркалъ шевелитъ губами и остается илоскимъ и сърымъ. Да, его можно ударить, можно наплевать въ него, а оно останется все такоеже, и только глаза заморгаютъ чаще. Завтра надъ иимъ будутъ смъяться—товарищи, ученики. И женаона тоже будетъ смъяться.

Ему хочется притти въ отчаније, заплакать, ударить зеркало, что-инбудь сдълать — но на душт пусто и мертво, и хочется спать. "Должно быть, оттого, что долго на воздухт былъ", —думаеть онъ и зъваетъ. И тотъ, въ зеркалъ, тоже зъваетъ.

Убираеть бритвенный приборъ, тушить ламиу и свъчи и, шаркая туфлями, идетъ въ спальню. И скоро засынаеть, уткнувшись въ подушку бритымъ лицомъ, надъ которымъ завтра будуть смъяться всъ: товарищи, жена—и онъ самъ.

## XPUCTIAHE.

(1905)

За окнами падаль мокрый, ноябрьскій снъгъ: а въ зданін суда было тепло, оживленно и весело для тыхъ кто привыкъ ежедневио, по службъ, посъщать этотъ большой домъ, встръчать знакомыя лица, раскрывать все ту же чернильницу и макать въ нее все тоже перо. Передъглазами, какъ въ театръ, разыгрывались драмыонь такъ и назывались "судебныя драмы", — и пріятно видъть было и публику и слушать живой шумъ въ корридорахъ и играть самому. Весело было въ буфеть; тамъ уже зажгли электричество, и много вкусныхъ закусокъ стояло на стойкъ. Пили, разговаривали, ълн. Если встръчались пасмурныя лица, то и это было хорошо: такъ пужно въ жизни и особенно тамъ, гдъ изо дия въ день разыгрываются "судебныя драмы". Вонъ въ той комнатъ застрълился какъ-то подсудимый; вотъ солдать съ ружьемъ; гдв-то бренчать кандалы. Весело, тепло, уютно.

Во второмъ уголовномъ отдѣленіи много публики,— слушается большое дѣло. Всѣ уже на своихъ мѣстахъ, присяжные засѣдатели, защитники, судып репортеръ, пока одинъ, приготовилъ бумагу, узенькіе листики, и всѣмъ любуется. Предсѣдатель, обрюзгшій, толстый человѣкъ, съ сѣдыми усами, быстро, привычнымъ голосомъ перекликаетъ свидѣтелей:

- Ефимовъ! Какъ ваше имя, отчество?
- Ефимъ Петровичъ Ефимовъ.

- Согласкы принять присягу?
- Согласенъ.
- Отойдите къ сторонкъ. Карасевъ!
- Андрей Егорычъ... Согласенъ.
- Отойдите къ... Блументаль!..

Довольно большая кучка свидьтелей, человыхь вы двалцать, быстро перемыщается слыва направо. На вопросы предсыдателя одни отвычають громко и скоро, съ готовностью, и сами догадливо отходять къ стороны: другихъ вопросы застаеть врасилохъ, они недоумыло молчать и оглядываются, не зная, къ нимъ относится названная фамилія или туть есть другой человыкъ съ такой же фамиліей. Свидьтели положительные ожидали вопроса полностью и отвычали полно, не торопясь, обдуманно: къ сторонь они отходили лишь послы приназванія предсыдателя и съ другими не смышивались.

Подсудимый, молодой человѣкъ въ высокомъ воротничкъ, обвинявшійся въ растратѣ и мошенничествѣ, торопливо крутиль усики и глядѣлъ внизъ, что-то соображая: при нѣкоторыхъ фамиліяхъ онъ оборачивался, брезгливо оглядывалъ вызваннаго и снова съ удвоенной торошливостью крутилъ усы и соображалъ. Защитникъ, тоже еще молодой человѣкъ, зѣвалъ въ руку и гибко потягивалеяь, съ удовольствіемъ глядя въ окно, за которымъ вяло онускались большіе, мокрые хлонья. Онъ хорошо выспался сегодия и только что позавтракалъ въ оуфетъ: горячую ветчину съ горошкомъ.

Оставалось только человъкъ шесть не вызванныхъ, когда предсъдатель съ разбъта наткнулся на неожиданность:

- ('огласны принять присягу? Отойдите...
- Нътъ.

Какъ человъкъ, въ темнотъ набъжавшій на дерево и сильно ударившійся лбомъ, предсъдатель на мигъ

потеряль нить своихъ вопросовъ и остановился. Въ кучкъ свидътелей онъ попытался найти отвътившую такъ опредъленно и ръзко—голосъ былъ женскій,—но всъ женщины казались одинаковы и одинаково почтительно и готовно глядъли на него. Посмотрълъ въ списокъ.

— Пелагея Васильева Караулова! вы согласны принять присягу? повториль опъ вопросъ и выжидательно уставился на женщинъ.

— Нътъ.

Теперь онъ видить ее. Женщина среднихъ лътъ, довольно красивая, черноволосая, стоитъ сзади другихъ. Несмотря на шляпку и модное платье съ грушеобразными рукавами и большимъ, нелъпымъ напускомъ на груди, она не кажется ни богатой, ни образованной. Въ ушахъ у нея цыганскія серьги большими дутыми кольцами; въ рукахъ, сложенныхъ на животъ, она держитъ небольшую сумочку. Отвъчая, она двигаетъ только ртомъ; все лицо и кольца въ ушахъ и руки съ сумочкой остаются неподвижны.

- Да вы православная?
- Православная.
- Отчего же вы не хотите присягать?

Свидътельница смотрить ему въ глаза и молчитъ. Стоявшіе впереди ея разступились, и теперь вся она на виду со своей сумочкой и тонкими желтоватыми руками.

- Быть можеть, вы принадлежите къ какой-нибудь секть, не признающей присяги? Да вы не бойтесь, говорите,—вамъ ничего за это не будетъ. Судъ приметь во внимание ваши объяснения.
  - Нѣтъ.
  - Не сектантка?
  - Нѣтъ.
  - -- Такъ вотъ что, свидътельница: вы, можетъ,

опасаетесь, что въ показаніяхъ вашихъ можетъ встрътиться что-либо непріятное... неудобное для васъ, лично,—понимаете? Такъ на такіе вопросы, по закону вы имъ́ете право не отвъчать,—понимаете? Теперь согласны?

#### - Нътъ

Голосъ молодой, моложе лица, и звучить опредъленно и ясно: въроятно, онъ хорошъ въ пъніи. Пожавъ илечами предсъдатель взглядомь призываеть ближе къ себъ члена суда съ лѣвой стороны и шепчется съ нимъ. Тоть отвѣчаеть также шопотомъ:

Тутъ есть что-то непормальное. Не беременна ли она?

— Ну, ужь скъкете? При чемътутъ беременность? Да и незамътно совсъмъ... Свидътельница Караулова! судъ желаетъ знать, на какомъ основанін вы отказываетесь принять присягу. Въдь не можемъ же мы такъ, ни съ того, ни съ сего, освободить васъ отъ присяги. Отвъчайте! Вы слышите или нътъ?

свидътельница то-то коротко отвичеть, но такъ тихо, что пичего пельза кадоварать.

— Суду ничего не слышно. Пожалуйста, громче!.. Свидътельница откашливается и очень громко говорить:..

### — Я проститутка...

Защитникъ, тихонько постукивавшій погой въ тактъ какимъ-то своимъ мыслямъ, останавливается и пристально гладить на свидътельницу. "Нужно бы зажечь электричество" ... думаєть онъ, и, точно догадавшись о его желаніи, судебный приставъ нажимаєть одну кнопку, другую. Публика, присяжные засъдатели и свидътели поднимають голови и смотрять на всимхиувшія дампочки: только судьи, привыкшіе къ эффекту

внезаннаго освъщенія, остаются равнодушны. Теперь совсъмъ пріятно: свътло и снъгь за окнами потемнълъ. Уютно. Одинъ изъ присяжныхъ засъдателей, старикъ, оглядываетъ Караулову и говоритъ сосъду:

— Съ сумочкой...

Тотъ молча киваетъ головой.

- Ну, такъ что же, что проститутка? говорить предсъдатель, и слово "проститутка" произносить такъ же привычно, какъ произносить онъ другія пе совсъмъ обыкновенныя слова: "убійца", "грабитель", "жертва". Въдь вы же христіанка?
- Нътъ, я не христіанка. Когда бы была хри стіанка, такимъ бы дъломъ не занималась.

Положеніе получается довольно нельное. Нахмурившись, предсъдатель совъщается съ членомъ суда нальво и хочетъ говорить; но вспоминаетъ про существованіе члена суда направо, который все время улыбался, и спрашиваетъ его согласія. Та же улыбка и кивокъ головы.

— Свидътельница Караулова! судъ постановилъ разъяснить вамъ вашу ошибку. На томъ основаніц, что вы занимаетесь проституціей, вы не считаете себя христіанкой и отказываетесь отъ принятія присяги, къ которой обязуеть насъ законъ. Но это ошибка,—вы понимаете? Каковы бы ни были ваши занятія, это дѣло вашей совъсти, и мы въ это дѣло мѣшаться не можемъ; а на принадлежность вашу къ извѣстному религіозному культу опи вліять не могуть. Вы понимаете? Можно даже быть разбойникомъ или грабителемъ и въ тоже время считатеся христіаниномъ или евреемъ или могометаниномъ. Вотъ всѣ мы здѣсь, товарищъ прокурора, г.г. присяжные засѣдатели, занимаемся разнымъ дѣломъ: кто служитъ, кто торгуетъ, и это пе мѣшаетъ намъ быть христіанами.

Членъ сула съ лъвой стороны шепчеть:

- Теперь вы хватили... Разбойникъ—а потомъ товарищъ прокурора!... И потомъ торгуетъ,—кто торгуетъ? Точно туть лавочка, а не судъ. Нельзя, неловко!...
- Такъ вотъ, говоритъ протяжно предсъдатель, отворачиваясь отъ члена,—свидътельница Караулова, занятія тутъ не при чемъ. Вы исполняете извъстные религіозные обряды: ходите въ церковь... Вы ходите въ церковь?
  - Нътъ.
  - Нѣтъ? Почему же?
  - Какъ же я такая пойду въ церковь?
  - Но у исповади и у св. причастія бываете?
  - Нътъ.

Свидътельница отвъчаеть не громко, но внятно. Руки ея съ сумочкой застыли на животъ и въ ушахъ еле замътно кольшатся золотыя кольца. Отъ свъта ли электричества или отъ волненія, она слегка порозовъла и кажется моложе. При каждомъ новомъ "нѣтъ" въ публикъ съ улыбкой переглядываются: одинъ въ заднихъ рядахъ, по виду рэмесленникъ, худой, съ общинанной бородкой и кадыкомъ на вытянутой тонкой иеъ, радостно шепчетъ для всеобщаго свъдънія:

- Воть такъ загвоздила!
- Ну, а Богу-то вы молитесь, конечно?
- -- Нътъ. Прежде молилась, а теперь бросила.

Членъ суда настойчиво шепчетъ:

да вы свидътельницъ спросите! Олъ въдь тоже изъ такихъ... Спросите, согласны онъ?

Предсъдатель неохотно береть списокъ и говорить:

- Свидътельница Пустошкина! ваши занятія, если не ошибаюсь...
- Проститутка!.. быстро, почти весело отвъчаетъ свидътельница, молоденькая дъвушка, также въ иглянкъ

и модномъ платъъ. Ейтоже правится въ судъ, и раза два она уже переглянулась съ защитникомъ; тотъ подумалъ: "Хорошенькая была бы горпичная, мпого бы на чай получала"...

- Вы согласны принять присягу?
- Согласна.
- Ну, вотъ видите, Караулова! Ваша подруга согласна принять присягу. А вы, свидътельница Кравченко, вы тоже... вы согласны?
- Согласна! густымъ контральто, почти басомъ отвъчаетъ толстая, съ двумя подбородками, Кравченко.
- Ну, вотъ видите, и еще!.. Всъ согласны. Ну, такъ какъ же?

Караулова молчитъ.

- Не согласны?
- Нѣтъ.

Пустошкина дружески улыбается ей. Караулова отвѣчаетъ легкой улыбкой и снова становится серьезна. Судъ совѣщается, и предсѣдатель, сдѣлавъ любезное, нѣсколько религіозное лицо, обращается къ священнику, который наготовѣ, въ ожиданіи присяги, стоитъ у аналоя и молча слушаеть.

— Батюшка! въ виду упрямства свидътельницы, не возьмете ли на себя трудъ убъдить ее, что она христіанка? Свидътельница, подойдите ближе!

Караулова, не снимая рукъ съ живота, дълаетъ два шага впередъ. Священнику неловко: покраснъвъ, онъ шепчетъ что-то предсъдателю.

— Нътъ ужъ, батюшка, нельзя ли тутъ?.. А то я боюсь, какъ бы и тъ не заартачились.

Иоправивъ наперсный крестъ и покраситвъ еще больше, священникъ очень тихо говоритъ:

— Сударыня, ваши чувства дѣлають вамъ честь, но едва ли христіанскія чувства...

- -- Я и говорю: какая я христіанка?
- Священникъ безпомощно взглядываеть на предсъдателя; тотъ говорить:
- ('видътельница, вы слушайте батюшку: онъ вамъ объяснить.
- -- Вст мы, сударыня, гртыны передъ Господомъ, кто мыслью, кто словомъ, а кто и дъломъ, и Ему Многомилостивому принадлежитъ судъ надъ совъстью нашей. Смиренно, съ кротостью, подобно богоизбраннику Іову, должны мы принимать вст испытанія, какія возлагаеть на насъ Господь, памятуя, что безъ води Его ин одинъ волосъ не упадетъ съ головы нашей. Какъ бы ни великъ былъ вашъ гртъхъ, сударыня, самоосужденіе, самовольное отлученіе себя отъ Церкви составляеть гртъхъ еще болте тяжкій, какъ покусительство на премъненіе води Божіей. Быть можетъ, гртъхъ вашъ посланъ вамъ во испытаніе, какъ посылаетъ Господь болтени и потерю имущества; вы же, въ гордынѣ ванией...
- Пу, ужъ какая, батюшка, гордыня при нашемъ-то дълъ!
- ...предръщаете судъ Христовъ и дерзновенно отрекаетесь отъ общенія со св. Православной Церковью. Вы знаете Символъ въры?
  - Нътъ.
  - Но вы въруете въ Господа нашего Інсуса Христа?
  - Какъ же, върую.
- Всякій истинно върующій во Христа тѣмъ самымъ пріемлетъ имя христіанина...
- Свидътельница! вы понимаете: нужно только върить во Христа... подтверждаеть предсъдатель.
- Итть!—ртинтельно отвтиаетъ Караулова.—Такъ что же изъ того, что я втрю, когда я такая? Когда бъ

я была христіанка, я не была бы такая. Я и Богу-то не молюсь.

- Это правда... подтвердила свидътельница Пустошкина. Она никогда не молится. Къ намъ въ домъ домъ у насъ хорошій, пятнадцатирублевый икону привозили, такъ она на другую половину ушла. Ужъ мы какъ ее уговаривали, такъ нътъ. Ужъ такая она, извините! Ей самой, г. судья, отъ характера своего не легко.
- Господь нашъ Іисусъ Христосъ, продолжалъ священникъ, взглянувъ на предсъдателя,—простилъ блудницу, когда она покаялась...
  - Такъ она покаялась; а я развъ каялась?
- Но наступить часъ душевнаго просвътлънія, и вы покаетесь.
- Нътъ. Развъ когда старая буду или помирать начну, тогда покаюсь, да ужъ это какое покаяніе? Гръшила, гръшила, а потомъ взяла да въ одну минуту и покаялась. Нътъ ужъ, дъло конченное.
- Какое уже тогда покаяніе! басомъ подтвердила внимательно слушавшая Кравченко.—Пѣла, пѣла пѣсни да пиво пила, да мужчинъ принимала, а тамъ, хвать, и покаялась. Кому такое покаяніе нужно? Нѣтъ уже, дѣло конченное.

Она подвинулась и жирными, короткими пальцами сняда съ плеча Карауловой ниточку, та не шевельнулась. "Хорошо онъ, должно быть, поютъ вмъстъ дуютомъ", подумаль защитникъ: "у этой грудь, какъ кузнечные мъха. Съ тоскою поютъ. Гдф этотъ домъ, что-то я не помню".

Предсъдатель развелъ руками и, снова сдълавъ любезное и религіозное лицо, отпустилъ священника:

— Извините, батюшка!.. Такое упрямство! Извините, что побезпокоили.

Священникъ поклонился и сталъ на свое мъсто, у аналоя, и руки, поправлявния наперсный крестъ, слегка дрожали. Въ публикъ шентались, и ремесленникъ, у котораго бородка за это время какъ будто еще болъе поръдъла, тянулъ шею всюду, гдъ шенчутся, и счастливо улыбался. "Вотъ такъ загвоздила!" громко шенталъ онъ, встрътивъ чей-нибудь взглядъ. Подсудимый, недовольный задержкой, брезгливо смотрълъ на Караулову, поспъщно крутилъ усики и что-то соображалъ.

Судъ совъщался.

- Ну, что же дълать? Въдь это же идіотка! гнъвно говориль предсъдатель.—Ее люди въ царство небесно тащатъ, а она...
- -- Но моему митнію, сказаль члень суда,—нужно бы освидътельствовать ея умственныя способности. Въ средніе въка судь приговариваль къ сожженію женщинь, которыя въ сущности были истеричками, а не въдьмами.
- -- Ну, вы опять за свое! Тогда нужно раньше освидътельствовать прокурора: вы посмотрите, что онъ выдълываеть!

Товарищъ прокурора, молодой человъкъ, въ высокомъ воротничкъ и съ усиками, вообще странно похоийй на обвиняемаго, уже давно старался привлечь на себя вниманіе суда. Онъ ервалъ на стулъ, привставалъ, почти ложился грудью на пюпитръ, качалъ головою, улыбался и всѣмъ тѣломъ подавался впередъ, къ предсѣдателю, когда тотъ случайно взглядывалъ на него. Очевидно было, что онъ что-то знаетъ и нетерпъливо хочетъ сказать.

- Вамъ что угодно, г. прокуроръ? Только, пожалуйста, покороче!
  - Позвольте мит... И не ожидая отвъта, товарищъ

прокурора выпрямился и стремительно спросиль Караулову:

- Обвиняемая, виновать, свидътельница, какъ васъ зовуть?
  - Груша.
- Это будеть... это будеть Аграфена, Агриппина. Имя христіанское. Слъдовательно, вась крестили. И когда крестили, назвали Аграфеной. Слъдовательно...
  - Нътъ. Когда крестили, такъ назвали Пелагеей.
- Но вы же сейчасъ при свидътеляхъ сказали что васъ зовутъ Грушей?
  - Ну да, Грушей. А крестили Пелагеей.
  - Но вы же...

Предсъдатель перебилъ:

- Г. прокуроръ! она и въ спискъ значится Пелагеей. Вы поглядите!
- Тогда я ничего не имъю... Онъ стремительно раздвинулъ фалды сюртука и сълъ, бросивъ строгій взглядъ на обвиняемаго и защитника.

Караулова ждала. Получалось что-то нелѣпое. Въ публикъ говоръ становился громче, и судебный приставъ уже нъсколько разъ строго оглядывался на залъ и поднималъ палецъ. Не то падалъ престижъ суда, не то просто становилось весело.

— Тише тамъ! крикнулъ предсъдатель. — Г. приставъ! если кто будетъ разговаривать, то удалите его изъ зала.

Поднялся присяжный засъдатель, высокій, костлявый старикъ, въ долгополомъ сюртукъ, по виду старообрядецъ, и обратился къ предсъдателю:

- Можно мнѣ ее спросить?.. Караулова, вы давно занимаетесь блудомъ?
  - Восемь лѣтъ.
  - А до того чтмъ занимались?

- Вь горинчныхъ служила.
- А кто обольстиль? Сынокъ или хозяннъ?
- Хозяннъ.
  - А много далъ?
- Деньгами лесять рублей да серебряную брошку, да отръзъ кашемиру на платье. У нихъ свой магазинъ въ рядахъ.
  - Стоило изъ-за этого идти!
  - Молода была, глупа. Сама знаю, что мало.
  - Дъти были?
  - Одинъ былъ.
  - Куда дѣвала?
  - Въ воспитательномъ померъ.
  - А больна была?
  - Была.

Старикъ сухо отвернулся и сълъ, и уже силя, сказалъ:

- II вирямь, какая ты христіанка! За десять рублей душу діаволу продала, тёло опоганила:
- -— Бываетъ, старички и больше даютъ! вступилась за подругу Пустошкина. -- Намедни у насъ тоже старичокъ одинъ былъ, степенный, въ родъ, какъ вы...

Въ публикъ засмъялись.

- Свидътельница, молчите, —васъ не спрацивають! строго остановилъ предсъдатель. —Вы кончили? А вамъ что угодно, г. присяжный засъдатель? Тоже спросить?
- Да ужсь тозвольте и мив слово вставить, когда на то двло пошло... тонкимь, почти двтскимь голоскомь сказаль необыкновенно большой и толстый купень, весь состоящій изъ шаровъ и полушарій: круглый животь, женская округлая грудь, надутыя, какъ укупидона, щеки и стянутыя къ центру кружочкомъ розовыя губы.—Воть что, Караулова, или какъ тебя тамъ, ты съ Богомъ считайся, какъ хочешь, а на землю

свои обязанности исполняй. Воть ты пынче присягу отказываещься принимать: "не христіанка я"; а завтра воровать по этой же причинь пойдешь, либо кого изъ гостей соннымъ зельемъ опошнь,—васъ на это станетъ. Согръшила, ну и кайся, на то церкви поставлены; а отъ въры не отступайся, нотому что, ежели вашъ братъ да еще отъ въры отступится, тогда хуть на свътъ не живи.

— Что жъ, можетъ, и красть буду... Сказано, что **не христ**іанка.

Купецъ качнулъ головой, сълъ и, подавшись туловищемъ къ сосъду, громко сказалъ:

- Вотъ попадется такая баба, такъ всѣ руки объ нее обломаешь, а съ мѣста не сдвинешь.
- Они и толстые которые, г. судья, не всв честные бывають... вступилась Пустошкина.—Намедни къ намъ одинъ толстый пришелъ, въ родв ихъ, напилъ, набезобразилъ, нагулялъ, а потомъ въ заднюю дверку хотълъ уйти,—спасибо, застрялъ. "Я, говоритъ, воскомъ и свъчами торгую и не желаю, чтобы святыя деньги на такое поганое дъло ишли", а самъ-то пьянъ распьянехонекъ. А по-моему...
  - Молчите, свидътельница!
- Просто они жуликъ, больше ничего. Вотъ тебъ и толстые!
- Молчите, свидътельница, а то я прикажу васъ вывести. Вамъ что еще угодно, г. прокуроръ.
- Позвольте мнъ... Свидътельница Караулова, я понялъ, что это у васъ кличка Груша, а зовутъ васъ все-таки Пелагеей. Слъдовательно, васъ крестили; а если васъ крестили, по установленному обряду, то вы христіанка, какъ это и значится, навърное, въ вашемъ метрическомъ свидътельствъ. Таннство крещенія, какъ

извѣстно, составляетъ сущность христіанскаго ученія... Прокуроръ, овладѣвая темой, становился все строже.

- · Сейчасъ заговорить о паспортъ... шепнулъ предсъдатель и перебыть прокурора:—Свидътельница, вы понимаете: разъ васъ крестили, вы, значитъ, христіанка. Вы согласны?
  - Нътъ.
  - Ну, вотъ видите, прокуроръ, она не согласна.

Становилось досадно. Пустяки, бабье вздорное упрямство тормазило все дъдо, и вмъсто плавнаго, отчетливаго, стройнаго постукиванія судебнаго аппарата получалась недъная безтолковинна. И къ обычному тайному мужскому презрѣнію къ женщинѣ примѣшивалось чувство обиды: какъ она ни скромничаетъ, а выходить, какъ булто она дучше всъхъ, дучше судей, дучше присяжныхъ засъдателей и публики. Электричество горитъ, и все такъ хороню, а она упрямится. И никто уже не смъстся, а ремесленникъ съ выщипанной бородкой внезапно вналъ въ тоску и говорить: "Воть я тебя гвоздануль бы разокъ, такъ сразу бы поняла!" Сосъдъ, не глядя, отвъчаеть: "А тебъ бы, братець, все кулакомь; ты ей докажи!"- "Молчите, господинь, вы этого не понимаете, а кулакъ тоже отъ Господа данъ". — "А бороду гдъ вышипали?" — "Гдъ бы ни выщинали, а выщипали"... Судебный приставъ шипить, разговоры смодкають и всь съ любопытствомъ смотрять на совъщающихся судей.

- Послушайте, Левъ Аркадынчъ, вѣдь это Богъ знаетъ что такое! возмущается членъ суда Это не судъ, а сумасшедшій домъ какой-то. Что, мы судимь ее, что ли, пли она насъ судить? Благодарю покорно за такое удовольствіе!
- Да вы-то что? Что жъ я нарочно, по вашему? покраситать предстатель.—Вы поглядите на эту, на

толстую, на Кравченко, —въдь она глазами ее ъсть. Въдь онъ тутъ новую ересь объявять, а я отписывайся! Благодарю васъ покоривйше! И не могу же я отказывать, разъ уже позволили... Вамъ угодно что-инбудь сказать, г. присяжный засъдатель? Только, пожалуйста, покороче, —мы и такъ потеряли уже полчаса.

Молодой человъкъ необыкновенно интеллигентнаго, даже одухотвореннаго вида; волосы у него были большіе, пушистые, какъ у поэта или молодого пона; кисть руки тонкая, сухая, и говориль онь съ легкимъ усиліемъ, точно его словамъ трудно было преодолъть сопротивленіе воздуха. Во время переговоровъ съ Карауловой онъ страдальчески морщился, и теперь вътихомъ голосъ его слышится страданіе.

- Это очень печально, то, что вы говорите, свидътельница, и я глубоко сочувствую вамъ; но помните же, что нельзя такъ умалять сущность христіанства, сводя его къ понятію гръха и добродътели, хожденію въцерковь и обрядамъ. Сущность христіанства въ мистической близости съ Богомъ...
- Виноватъ... перебилъ предсѣдатель.—Караулова, вы понимаете, что значитъ мистическій?
  - Нътъ.
- Г. присяжный засъдатель! опа не понимаетъ слова "мистическій". Выражайтесь, пожайлуста, проще: вы видите, на какой она, къ сожалънію, низкой ступени развитія.
- Ликъ Христовъ вотъ основаніе и точка. Небо раскрылось послѣ обрѣзанія, и нѣтъ ни грѣха, ни добродѣтели, ни богатства. Прерывистый, задыхающійся шепотъ вотъ эмбріонъ всѣхъ сфинксовъ...
- Г. присяжный засъдатель! я тоже пичего не по нимаю. Нельзя ли проще?
  - -- Проще я не могу... грустно сказаль засъдатель.-

Мистическое требуетъ особаго языка... Однимъ словомъ,—нужна близость къ Богу.

- Караулова, вы понимаете? Нужна только близость къ Богу и больше ничего.
- Нътъ. Какая ужъ тутъ близость при такомъ дъдъ! Я и лампадки въ комнатъ не держу. Другія держатъ, а я не держу.
- Намедии, басомъ сказала Кравченко,—гость пива мнъ въ ламиадку выдилъ. Я ему говорю: "Сукинъ ты сыпъ, а еще лысый". А онъ говоритъ: "Молчи, говоритъ, мурзикъ, -свътъ Христовъ и во тъмъ сіяетъ". Такъ и сказалъ.
- Свидътельница Кравченко! прошу безъ анекдотовъ! Вамъ еще что нужно, свидътель?

Свидътель, частный приставъ въ парадномъ мундиръ, щелкаетъ шпорами.

- Ваше превосходительство! разръшите миъ уединиться со свидътельницей.
  - Это зачъмъ еще?
- Относительно присяги, ваше превосходительство. Я въ ихнемъ участкъ, гдъ ихній домъ... Я живо, ваше превосходительство... Она присягу сейчасъ приметъ.
- Нътъ, сказала Караулова, немного поблъднъвъ и не глядя на пристава. Тотъ повернулъ голову, грудь съ орденами оставляя суду.
  - Изтъ, примете!
  - Иътъ.
  - Посмотримъ...
  - Посмотрите...
- Довольно, довольно!.. сердито крикнулъ предсъдатель.- А вы, г. приставъ, идите на свое мъсто: мы пока въ вашихъ услугахъ не нуждаемся.

Щелкиувъ инюрами, приставъ съ достоинствомъ отходитъ. Въ публикъ угрюмый шопотъ и рагзоворы

Ремесленникъ, расположение котораго снова перешло на сторону Карауловой, говоритъ: "Ну, теперь держись, баба! Зубки-то начистятъ, — какъ самоваръ заблестятъ". — "Ну, это вы слишкомъ!" — "Слишкомъ! Молчите, господинъ: вы этого дъла не понимаете, а я вотъ какъ понимаю!" — "Бороду-то гдъ выщинали?" — "Гдъ ни выщинали, а вищинали: а вы вотъ скажите, есть тутъ буфетъ для третьяго класса? Надо чирикнуть за упокой души рабы Божьей Пелагеи".

— Тише, тамъ! крикнулъ предсъдатель. -Г. судебный приставъ! примите мъры!

Судебный приставъ на ципочкахъ пдетъ въ мѣста для публики, но при его приближеніи всѣ смолкаютъ, и также на ципочкахъ онъ возвращается обратно. Репортеръ съ жадностью исписываетъ узенькіе листки, но на лицѣ его отчаяніе: онъ предвидитъ, что цензура ни въ какомъ случаѣ не пропуститъ написаннаго.

- Какъ хотите, а нужно кончить! говоритъ членъ суда.—Получается скандалъ.
- Пожалуй, что... Ну, что еще вамъ нужно, г. защитникъ? Все уже выяснено. Садитесь!

Изящно выгнувъ шею и талію, обтянутую чернымъ фракомъ, защитникъ говоритъ:

— Но разъ было предоставлено слово г. товарищу прокурора...

Такъ и вамъ нужно? съ безнадежной процієй покачалъ головой предсъдатель.—Ну, хорошо, говорите, если такъ ужъ хочется, только, пожайлуста, покороче!

Защитникъ поворачивается къ присяжнымъ засъдателямъ:

— Остроумныя упражненія г. товарища прокурора и частнаго пристава въ богословін... начинаетъ онъ медленно.

— Г. защитникъ! строго перебиваетъ предсъдатель. — Прошу безъ личностей!

Защитникъ поворачивается къ суду и кланяется- Слушаю-съ.

Затымъ снова поворачивается къ присяжнымъ, окидываетъ ихъ свътлымъ и открытымъ взоромъ и внезанно, глубоко задумывается, опустивъ голову. Объруки его подняты на высоту груди, глаза кръпко закрыты, брови сморщены и весь онъ имъетъ видъ не то смертельно влюбленнаго, не то собирающагося чихнуть. И присяжные и публика смотрятъ на него събольшимъ интересомъ, ожидая, что изъ этого можетъ выйти, и только судьи, привывшіе къ его ораторскимъ пріемамъ, остаются равнодушны. Изъ состоянія задумчивости защитникъ выходить очень медленно, по частямъ: сперва упали безсильно руки, потомъ слегка пріоткрылись глаза, потомъ медленно приподнялась голова, и только тогда, словно противъ его воли, изъ устъ выпали проникновенныя слова:

— Гг. судьи и гг. присяжные засъдатели!

И дальше онъ говоритъ совстмь необыкновенно: то шенчеть, но такъ, что вст слышать, то громко кричить, то снова задумывается и остолоенто, какъ въ каталенсін, смотритъ на кого-нибудь изъ присяжныхъ засъдателей, пока тотъ не замигаеть и не отведетъ глазъ.

— Гг. судьи и гг. присяжные засъдатели! Вы слышали только сейчасъ многозначительный діалогъ между свидътельницей Карауловой и г. частнымъ приставомъи значеніе его для васъ не представляетъ загадки. Принявъ во вниманіе тъ обширныя средства воздъйствія, какими располагаетъ наша администрація, и съ другой стороны—ея неуклонное стремленіе къ возвращенію заблудшихся въ лоно православія... — Г. защитникъ, что же это такое! возмущается предсъдатель.—Я не могу позволить, чтобы вы осуждали здъсь установленныя закономъ власти. Я лишу васъ слова.

Товарищъ прокурора говоритъ скромно, но стремительно:

— Я просилъ бы занести слова г. защитника въ протоколъ.

He обращая вниманія на прокурора, защитникъ снова кланяется суду:

— Слушаю-съ. Я хотълъ только сказать, гг. присяжные засъдатели, что г-жа Караулова, насколько я ее понимаю, не отступится отъ своихъ взглядовъ даже въ томъ, невозможномъ, впрочемъ, у насъ случаъ, если бы ей угрожали костромъ или инквизиціонными пытками. Въ лицъ г-жи Карауловой мы видимъ, гг. присяжные засъдатели, перевернутый, такъ сказать, типъ христіанской мученицы, которая во имя Христа какъ бы отрекается отъ Христа, говоря "нътъ", въ сущности говоритъ "да!".

Какой-то большой и красивый обравъ смутно и притягательно блеснулъ въ головъ адвоката: пальцы его похолодъли, и взволнованнымъ голосомъ, въ которомъ ораторскаго искусства было только наполовину, онъ продолжаетъ:

— Она христіанка. Она христіанка, и я докажу вамъ это, гг. присяжные засъдатели! Показанія свидътельницъ, г-жъ Пустошкиной и Кравченко и признанія самой Карауловой парисовали намъ полную картину того, какимъ путемъ пришла она къ этому мучительному положенію. Неопытная, наивная дъвушка, быть можетъ, только что оторванная отъ деревни, отъ ея невинныхъ радостей, она попадаетъ въ руки грязнаго сластолюбца и, къ ужасу своему, убъждается, что она беременна. Родивъ гдъ-нибудь въ сараъ, она...

- Нельзя ли покороче, г. защитникъ! Намъ извъстно съ самаго начала, что г-жа Караулова занимается проституціей. Гг. присяжные засъдатели не дъти и сами прекрасно знаютъ, какъ это дълается. Вернитесь къ христіанству. И потомъ она не крестьянка, а мъщанка г. Воронежа.
- Слушаю-съ, г. предсъдатель, хотя я думаю, что и у мъщанъ есть сври невинныя радости. Такъ вотъ-съ. Въ душъ своей г-жа Караулова носить идеаль человъка, какимъ онъ должень быть по Христу, дъйствительность же, съ ея благообразными старичками, наливающими пиво въ лампадку, съ ея пьянымъ угаромъ, оскорбленіями, быть можеть, побоями, -разрушаеть и оскверняеть этоть чистый образь. И въ этой трагической коллизіи разрывается на части дуща г-жи Карауловой. Гг. присяжные засъдатели! Вы видъли ее здъсь спокойною, чуть ли не удыбающейся, но знаете ли вы, сколько горькихъ слезъ пролили эти глаза въ ночной тишинъ, сколько острыхъ иглъ жгучаго раскаянія и скорон воизилось въ это изстрадавшееся сердце! Развъ ей не хочется, какъ другимъ порядочнымъ женщинамъ, пойти въ церковь, къ исповъди, къ причастію-въ бъломъ, прекрасномъ платьъ причастницы, а не въ этой позорной формъ гръха и преступленія? Быть можеть, въ ночныхъ грезахъ своихъ она уже не разъ на колъняхъ ползала къ этимъ каменнымъ ступенямъ, лобызала ихт жаркимъ лобзаніемъ, чувствуя себя недостойной войти въ святилище... И это не христіанка! Кто же тогда достоинъ имени христіанина? Развъ въ этихъ слезахъ не заключается тотъ высокій актъ покаянія, который блудницу превратиль въ Магдалину, эту святую, столь высоко чтимую...
- Нътъ! перебила Караулова.—Неправда это. И не илакала я вовсе и не каялась. Какое же это покаяніе, когда то же самое дълаешь? Вотъ вы посмотрите...

Она открыла сумочку, вынула носовой платокъ и за нимъ портмоне. Положивъ на ладонь два серебряныхъ рубля и мелочь, она протянула ее къ защитнику и потомъ къ суду. Одна монетка соскользнула съ руки, покружилась по бетонному, натертому полу и легла возлъ пюпитра защитника. Но пикто не нагнулся ее поднять.

— За что воть я эти деньги получила? За это, за самое. А платье воть это, а шляпка, а серьги—все за это, за самое. Раздънь меня до самаго голаго тъла, такъ ничего моего не найдешь. Да и тъло-то не мое— на три года впередъ продано, а то, можетъ, и на всю жизнь,—жизнь-то наша короткая. А въ животъ у меня что?—Портвейнъ да пиво, да шоколадъ, гость вчера угощалъ,—выходитъ, что и животъ не мой. Нътъ у меня ни стыда, ни совъсти: прикажете голой раздъться, раздънусь; прикажете на крестъ наплевать, наплюю.

Кравченко заплакала. Слезы у нея не точились, а бъжали быстрыми, нарастающими капельками и, какъ на подносъ, падали на неестественно выдвинутую грудь. Она ихъ вытирала, но не у глазъ, а вокругъ рта и на подбородкъ, гдъ было щекотно.

— А то воть третьяго дня меня съ однимъ гостемъ вънчали, такъ, для шутки, конечно: вмъсто вънцовъ надъ головой ночныя вазы держали, вмъсто свъчекъ нивныя бутылки донышками кверху, а за попа другой гость былъ, надълъ мою юбку наизнанку, такъ и ходилъ. А она—Караулова показала на плачущую Кравченко—за мать мнъ была, плакала, разливалась, какъ будто въ серьезъ. Она поплакать-то любитъ. А я смъялась,—въдь и правда, очень смъшно было. И къ церкви я равнодушна, и даже мимо старалась не ходить, не люблю. Вотъ тоже говорили тутъ "молиться",—а у меня и словъ такихъ нътъ, чтобы молиться. Всякія слова

знаю, даже такія, какихъ, глядишь, и вы не знаете, несмотря на то, что вы мужчины: а настоящихъ не знаю. Да о чемъ и молиться-то? Того свъта я не боюсь, хуже не будеть; а на этомъ свътъ молитвою много не слълаешь. Молилась я, чтобы не рожать, -родила. Молилась, чтобы ребенокъ при мнъ жилъ, —а пришлось въ воспитательный отдать. Молилась, чтобы хоть тамъ пожиль, -а онь взяль да и померь. Мало ли о чемь молилась, когда поглупъе была, да спасибо добрымъ людямъ, отучили. Студентъ отучилъ. Вотъ тоже, какъ вы, началь говорить и о дътствъ моемь и о прочемь, и до того меня доветь, что заплакала я и взмолилась. Господи, да унеси Ты меня отсюда! А студентъ говорить: "Воть теперь ты человъкомъ стала, и могу я теперь съ тобою любовное занятіе имъть" Отучиль. Конечно, я на него не сержусь: каждому пріятиве съ честною цъловаться, чъмъ съ такой, какъ я или вотъ она: но только мнъ-то отъ молитвы да отъ слезъ прибыли никакой. Нътъ уже, какая я христіанка, гг. судьи, зачъмъ пустое говорить? Есть я Груша цыганка, такою меня и берите.

Караулова вздохнула слегка, качнула головой, блеснувъ золотыми обручами серегъ, и просто добавила:

- Двугривенный я тутъ уронила, —поднять можно? Всъ молчали и глядъли, пока Караулова, перегнувшись, поднимала монету со скользкаго пола.
- -- Ну, а вы-то, съ горечью обратился предсъдатель къ Пустошкиной и Кравченко,—вы-то согласны принять присягу?
- Мы-то согласны... отвътила Кравченко плача.— А она нътъ!
- Г. предсъдатель! поднялся прокуроръ, строгій и величественный.—Въ виду того, что многіе случаи, сообщенные здъсь свидътельницей Карауловой, вполиъ

подходять подъ понятіе кощунства, я, какъ представитель прокурорскаго надзора, желаль бы знать, не помнить ли она имень?..

— Ну, какое тамъ кощуяство! отвътила Караулова.—Просто пьяны были. Да и не помню я,—развъ всъхъ упомнишь?

Судьи долго и безплодно совъщаются, подзывають даже къ себъ прокурора и убъдительно, въ два голоса, шенчуть ему. Наконецъ, постановляють: "Допросить свидътельницу Караулову, въ виду ея нехристіанскихъ убъжденій, безъ присяги".

Остальные свидътели тъсной кучкой двинулись къ аналою, гдъ ждетъ ихъ облачившійся священникъ съ крестомъ. Приставъ громко говоритъ:

— Прошу встать!

Всѣ встаютъ и оборачиваются къ аналою. Теперь Карауловой видны однѣ только спины и затылки: плѣшивые, волосатые, круглые, плоскіе, остроконечные.

Священникъ говорить:

— Поднимите руки!

Всѣ подняли руки.

— Повторяйте за мною, говоритъ онъ однимъ голосомъ и другимъ продолжаетъ:—Объщаюсь и клянусь...

Толпа разрозненно гудитъ, выдѣляя густое, еще полное слезъ, контральто Кравченко.

- Объщаюсь и клянусь...
- Передъ Всемогущимъ Богомъ и св. Его Евангеліемъ...
- Передъ Всемогущимъ Богомъ... и святымъ... Его... Евангеліемъ...

Все наладилось и идеть, какъ слѣдуеть: стройно. легко, пріятно. Во все время присяги и цѣлованія креста Караулова стоить неподвижно и смотрить въ одну точку: въ спину предсѣдателя.

Свидътелей удалили, кромъ Карауловой.

- Свидътельница! судъ освободилъ васъ отъ присяги, но помните, что вы должны показывать одну только правду, по чистой совъсти. Объщаете?
- Нътъ... Какая у меня совъсть? Я жъ говорила, что нътъ у меня никакой совъсти.
- Ну, что же намъ съ вами дълать? разводитъ руками предсъдатель.—Ну, правду-то, понимаете, правду говорить будете?
  - Скажу, что знаю.

Черезъ полчаса, въ образцовомъ порядкъ и тишинъ, совершается судъ. Правильно чередуются вопросы и отвъты: прокуроръ что-то записываетъ; репортеръ съ дъловымъ и безстрастнымъ лицомъ рисуетъ на бумажкъ какіе-то замысловатые орнаменты. Обвиняемый даетъ продолжительныя и очень подробныя объясненія. Руки онъ заложилъ за спину, слегка покачивается взадъ и впередъ и часто взглядываетъ на потолокъ.

...—Что же касается квитанціи изъ городского ломбарда на заложенный велосипедъ, то происхожденіе ея таково. 13-го марта прошедшаго года я зашелъ въ велосипедный магазинъ Мархлевскаго...

... Что же касается якобы монхъ кутежей въ означенномъ домѣ терпимости и того, будто я размѣнивалъ тамъ сторублевую бумажку, то былъ я тамъ всего четыре раза: 21 декабря, 7 января, 25 того же января и 1 февраля, и три раза деньги платилъ за меня мой товарищъ Протасовъ. Относительно же четвертаго раза, когда я платилъ лично, я прошу разрѣшенія представить суду потребованный мною тогда же счетъ, изъ коего видно. что общая сумма издержекъ, включая сюда...

Горитъ электричество. За окнами тьма. Весело, тепло, уютно.

# Изданія товарищества "ЗНАНІЕ" (Спб., Невскій, 92).

1	
Списокъ отъ 20 февраля 1906 г.	Цвна.
Сборникъ т-ва "Знаніе": Кинга І	l р. к.
» » Книга II	p
12 177	. " = »
	> >
» » Канга IV	2 2
» » Книга V	. > 5
» » Кинга VI	> >
« » , Книга VII	» — »
<ul> <li>» Книга VIII</li></ul>	· — «
» » Книга IX. Печатается	> — »
> > Кинга X. Печатается	» »
"Нижегородскій сборникъ"	» — »
М. Горькій. Разсказы, Томъ I	» »
М. Горьній. Разскавы, Томъ П.	, >
М. Горьній. Разскавы. Томъ Ш.	» »
М. Горьній. Разсказы. Томъ IV	» — »
М. Горьній. Разсказы. Томъ V.	
M. FODERIM. HECCH. TOME VI.	
М. Горькій. Мащано. Драм. эскнять въ 4 акт. Только съ перепл 1	
М. Горькій. На дий Картины.	- 60 -
Л. Андреевъ. Разскавы. Томъ I	. » — »
Л. Андреевь. Разсказы. Томъ П.	» »
<b>Л.</b> Андреевъ. Мелкіе разсказы. Томъ III	
Синталецъ. Разсказы. Томъ І.	» — »
Е. Чириновъ. Разсказы. Томъ І	. > >
Е. Чириновъ. Разсказъм. Томъ П	. > >
<b>Е.</b> Чириновъ. Разсказы. Томъ III	. > — >
Е. Чириновъ Пьесы. Томъ IV	» — »
Мв. Бунинъ. Томъ І. Разсказы	
Мв. Бунинъ. Томъ II. Стихотворенія	» — »
Н. Телешовь Разсказы Томъ І	. » — »
А. Серафимовичъ. Разсказы. Томъ І	» — »
	» — »
А. Купринъ. Разсказы Томъ П.	· - >
С. Юшкевичъ. Разскавы, Томъ І	l » »
С. Юшневичь. Разсказы. Томъ П.	> >
С. Юшневичь. Разсказы. Томъ Ш. Печатается	» »
С. Гусовъ-Оренбургскій. Равсказы Томъ І	· •
Н. Гаринь. Двтетво Тёмы	
Н. Гаринъ. Гимназисты.	1 " _ "
Н Гаринъ. Студенты Н. Гаринъ. По Корев, Маньчжурін и Ляод. полуострову	
и. гаринь. по сорев, маньчжури и люд. полуострову	. 60
Н. Гаринъ. Корейскія сказки	» 00 »
А. Яблоновскій. Разсказы, Томъ I.	L » »
С. Елеонскій, Разсказы. Томъ І.	» — <b>)</b>
С. Елпатьевскій. Разсказы. Томъ Г.	>
С. Елпатьевскій. Разсказы. Томъ П.	) - P
С. Елпатьевскій. Равсказы о прошломъ. Томъ Ш	1 » — »
С. Найденовъ. Шьесы. Томъ І	» — »
Д. Айзмань. Разсказы. Томъ I	· - »

# Изданія товарищества "ЗНАНІЕ" (Спб., Невскій. 9?).

Списокъ отъ 20 февраля 1906 г.	Ц	в на
Эсхиль. Скованный Прометей		3 x
Софокль. Эдинъ-царь		0 x
Софонль. Эдинъ въ Колонъ		. 4 »
Софонль. Антигона		4 s
Эвриция Метея		» 4() 3
Эврипидь. Ипполнтъ Эсхиль, Сефонль и Эвригидь. Трагедін. Росквилюстр. взд. <i>Печатаєтел</i> .	_ :	× 40 ×
Эсхиать. Софонат и Зврасиль Трагелін. Роск -иллюстр изд. Печатиется.		» X
Гёте Фаустъ	2	·> ×
Байронь. Манфредъ		» 40 »
Байронъ. Мянфредъ. Байронъ. Каинъ. Иечатается	- :	» »
Лгопарди. Разговоры. Печатается	:	» 3
Леопарди. Мысли. Печатается	:	» — »
Шелли Собраніе сочиненій Томъ І.	9	· )
Шелли. » » Точъ П	2	» · - >
Шелли. > Томъ Ш. Печатается		
Шелли. Освобожденный Прометей	:	» : 0 »
Шелли. Ченчи. Иечатается	:	> — 3
	2 :	» — »
Лонгфелло. Прень о Гайзвать. Дешевое паданіе	-	. 8 ×
Т. Шевченко, Кобзарь, Нечатается.	1 :	» — s
Красинскій. Придіонъ		o 6 s
Импе Мадачь. Человъческая трагелія	:	» 50 s
Гауптманъ. Роза Берндтъ		o 50 m
Бьернсонъ. Перчатка	-	40 )
3 Золя. Углекопы. Изд. 3-е	1	, — »
Эриманъ-Шатріанъ. Гаспаръ Фиксъ		5 Fr 3
П. Милюковъ. Изъ исторіи русской интеллигенців. Изд. 2-е	1	. 5()
Н. Рубанинъ. Этюды о русской читающей публикъ. Печатается		- 7
А. Петрищевь, Замътки учителя	1	, — »
М ртваго. Не по торному пути	}	5()
Андреевичь. Опыть философіи русской литературы	1	- 20
Бенетовъ. Популярныя левнів и рычи. Нечатается. Рилль. Введеніе въ философію. Нечатается	_	7
Рилль. Введение въ философію. Печатастся		· ·
Штёррингъ. Психопатологія въ примъненія въ психологія.	1	. 60 .
Вундть. Введеніе въ философію. Печатается		v — 2
Паульсень. Общеобразовательная школа будущаго		40
Майрь. Статистика и обществовъдъніе	6	2 — د
Ленлериъ. Воспитание и общество въ Англия	3	
Гюйо. Исторія и критика совр. англ. ученій о правственности	5	3
Гюйо. Происхождение иден о времени. Мораль Эпикура		
Гюйо. Задачи современной эстетики. Очеркъ моради	2	
Гюйо. Воспитаніе и наслёдственность	i	50
Гюйо. Стихи философа		, :
Гюйо. Искусство съ соціологической точки зужнія	-11	~
Моррисъ. Искусство. Съ иллюстраціями. Печатаеття.		
Мутерь. Исторія живописи (отт среднихъ въковт). Том І.		()
Мутеръ. То же сочиненіе. Томъ II		()
тутеръ. 10 же сочинение. Томъ Ш.	2	:
Мутерь. Исторія живописи въ ХІХ вад	17	> - :

# Изданія товарищества "ЗПАНІЕ" (Спб., Невскій, 92).

Списокъ отъ 20 февраля 1906 г.	Ц	ћна.
Нинольсий. Латнія повядки натуралиста	2 >	x
<b>Клейнъ.</b> Астрономическіе вечера. Изд. третье	2 >	>
<b>Клейнъ</b> . Прошлое, настоящее и будущее вселенной. Ивд. <i>второе</i>	<b> </b> >	50 >
Юнгъ. Солиде. Изд. второв	1 >	50 >
Тиндаль. Звукъ. Изд. второе.	>	50 >
Клейнъ. Чудеса вемного шара. Печатается	- >	- >
Боммели. Исторія землн. Печатается.	- >	3
Гетчинсонъ. Вымершія чудовища	1 >	20 »
Гетчинсонь. Животныя протимых геологич. эпохъ. Печатается	. >	~ >
Григорьевь. Краткій курсь химін. Изд. 3-е	- >	80 >
Освальдъ. Школа химін. Печатается.	- >>	_ »
Левассерь. Народное образование въ цивиливованныхъ странахъ	3 >	»
Фальборнъ и Чарнолускій. Народное образованіе въ Россіи	. »	50 ,
» » Вн <b>ъшкольно</b> е образованіе	>	>
Фальборнъ и Чарнолусий. Справочныя изданія по народному образова-		
нію: Поступило въ продажу 20 книжекъ. Подробности см.		
на стр		
Фальборнъ и Чарнолускій. Россійскія партіи, союзы и лиги		
Сеньобось. Полит. исторія соврем. Европы, 2 т. Изд. третье 3	>	>
Гиббинсь и Сатуринь. Исторія современной Англін	>	20 >
Инсаровь. Современная Франція	>	50 »
Нурти. Исторія народи. ваконодат. и демократін въ Швейцарін 1	>	- ,
Зомбарть. Идеады соціальной политики	>	<b>4</b> 0 »
Каутскій. Колоніальная политика въ прошломъ и настоящемъ		
Л. В. Новгородцевъ. Германія и ея политическая жизнь		
Вандервельде. Притягательная сила городовъ		
Вигуру. Рабочіе союзы въ Стверной Америка	. »	50 ×
Люнсембургъ. Промышленное развитие Польши	- 3	50 3
Финляндія	3	50 3
Гуго. Новайшін теченія въ англійскомъ городскомъ хозяйства		
Гобсонь. Общественные идеалы Дж. Рёскида		
Дрейфусъ. Пять лётъ моей жизни		
Штраусъ. Вольтеръ	×	>

#### ПЕЧАТАЕТСЯ

#### **ПЕШЕВАЯ БИБЛІОТЕКА ТОВАРИЩЕСТВА** "З Н А Н І Е":

1.	M.	Γ	орькій.	Пѣсня	0	соколъ.
				Пѣсня	0	буревѣстникѣ
				Легенл	a	о Марко

2. М. Горькій, Человѣкъ. 3. М. Горьній. Макаръ Чудра.

4. М. Горькій. О Чижъ, который лгалъ, и о Дятлъ, любителъ истины.

5. М. Горькій. Емельянъ Пиляй.

6. М. Горькій. Дъдъ Архипъ и Ленька.

7. М. Горьній. Челкашъ.

8. М. Горьній, Старуха Изергиль. 9. М. Горьній. Однажды осенью. 10. М. Горькій. Мой спутникъ.

11. М. Горькій. Діло съ застежками.

12. М. Горьній. На плотахъ.

13. М. Горькій. Болесь. 14. М. Горькій. Тоска.

15. М. Горькій. Коноваловъ.

16. М. Горькій. Ханъ и его сынъ. 17. М. Горьній. Супруги Орловы.

18. М. Горькій. Бывшіе люди.

19. М. Горькій. Озорникъ.

20. **М. Горькій.** Варенька Олесова. 21. **М. Горькій.** Товарищи.

22. М. Горькій. Въ степи. 23. М. Горькій. Мальва.

24. М. Горькій. Ярмарка въ Голтвъ.

25. М. Горьній. Зазубрина. 26. М. Горьній, Скуки ради.

27. М. Горьній. Каинъ и Артемъ.

28. М. Горьній. Дружки.

29. М. Горькій. Проходимецъ. 30. М. Горьній. Кирилка.

31. М. Горьній. Васька Красный. 32. М. Горьній. Двадцать шесть и одна.

33. М. Горькій. Разсказъ Филиппа Васильевича.

34. М. Горькій. Тюрьма.

35. М. Горькій. Трое.

41. Скиталецъ. Стихотворенія. Книга І. 42. Скиталецъ. Стихотворенія. Книга II.

43. Сниталецъ. Сквозь строй,

44. Скиталецъ. За тюремной стъной.

45. Скиталецъ. Октава. 46. Скиталецъ. Ранняя объдня.

47. Скиталецъ. Полевой сулъ.

#### ПЕЧАТАЕТСЯ

### дешевая библютека товарищества "Знаніе":

51. Л. Андреевъ. Набатъ. 52. Л. Андреевъ. Ангелочекъ.
53. Л. Андреевъ. Молчаніе. 54. Л. Андреевъ. Валя. 55. Л. Андреевъ. На ръкъ.
56. Л. Андреевъ. Въ подвалъ, 57. Л. Андреевъ. Петька на дачъ. 58. Л. Андреевъ. У окна,
59. Л. Андреевъ. Жили-были. 60. Л. Андреевъ. Въ темную даль.
61. С. Гусевъ-Оренбургскій. Омётъ, 62. С. Гусевъ Оренбургскій. Конокрадъ. 63. С. Гусевъ-Оренбургскій. Миша. 64. С. Гусевъ Оренбургскій. Послѣдній часъ. 65. С. Гусевъ Оренбургскій. На родину. 66. С. Гусевъ-Оренбургскій. Сквозь преграды.
67. С. Гусевъ Оренбургскій. Кахетинка. 68. С. Гусевъ-Оренбургскій. Бъдный приходъ. 69. С. Гусевъ-Оренбургскій. Злой духъ. 70. С. Гусевъ-Ореибургскій. Жалоба.
71. А. Серафимовичъ. Въ камышахт. 72. А. Серафимовичъ. Месть. 73. А. Серафимовичъ. На льдинѣ. 74. А. Серафимовичъ. Степные люди 75. А. Серафимовичъ. Ночью. 76. А. Серафимовичъ. Сцѣпшикъ. 77. А. Серафимовичъ. На заводѣ. 78. А. Серафимовичъ. Подъ землей, 79. А. Серафимовичъ. Подъ уклонъ.
81. А. Нупринъ. Дознаніе. 82. Н. Телешовъ. Пѣснь о трехъ юнощахъ. 83. Н. Телешовъ. Противъ обычая. 84. Н. Телешовъ. Домой. 85. Н. Телешовъ. Хлѣбъ-соль. 86. С. Елпатьевскій. Спирька. 87. С. Елпатьевскій. Пожалѣй меня.
88. С. Елпатьевскій. Присяжнымъ засъдателемъ 89. Ив. Бунинъ. Стихотворенія. 90. Н. Бальмонтъ Стихотворенія.
91. С. Юшкевичъ. Невинные, 92. С. Юшкевичъ. Убійца. 93. С. Юшкевичъ. Кабатчикъ Гейманъ, 94. С. Юшкевичъ. Ита Гайне, 95. С. Юшкевичъ. Человъкъ, 96. С. Юшкевичъ. Евреи—

и другія книги.

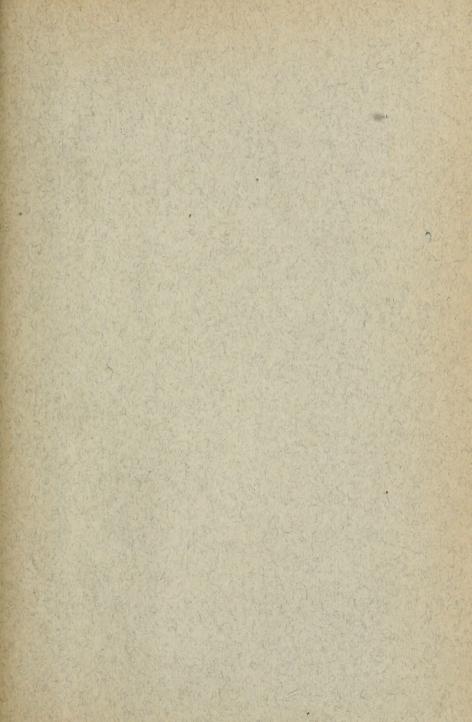
#### Въ товариществъ "ЗНАНІЕ" поступили въ продажу:

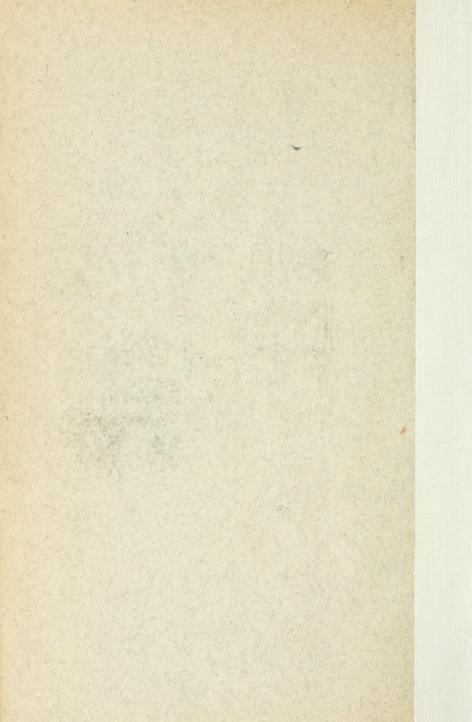
1.	Эсхилъ. СКОВАННЫЙ ПРОМЕТЕЙ	<u> </u>	o. :	30	К
2.	Софонлъ. ЭДИПЪ ЦАРЬ	_ ;	>	40	>
3.	Софоклъ. ЭДИПЪ ВЪ КОЛОНЪ			40	>
4.	Софонлъ. АНТИГОНА		>	40	>
5.	Эврипидъ. МЕДЕЯ	:	>	40	D
6.					
	Примичаніе: Всё шесть трагедій переведены съ греческаго Д. С. Мережковскимь. Въ стихахъ При каждой—портретъ автора.				
7	Байронъ. МАНФРЕДЪ	_	5	40	**
8.					
9.					
	Лонгфелло. ПъСНЬ О ГАМАВАТъ	2	<i>≥</i>	_	2
	еводъ И. А. Бунина. Въ стихахъ. Роскошно иллю-				
	ированное изданіе: около 400 рисунковъ въ тексть;				
	ретъ Лонгфелло и 22 большихъ рисунка на отдъль-				
	ныхъ таблинахъ.				
11.	Лонгфелло. ПБСНЬ О ГАЙАВАТЪ		٥	80	),
Деи текс	иёвое изданіе: тотъ-же переводъ, тѣ-же 400 рис. въ ктѣ, 22 таблицы и портретъ Лонгфелло; только бумага и форматъ другіе.				
10	A			0.6	
13.	Красинскій. ИРИДІОНЪ				
14.				20	
15	Золя. УГЛЕКОПЫ				
16.			71		
10.	П. И. Вейнберга, съ примъчаніями переводчика.	2	,		
17	Имре Мадачъ. ЧЕЛОВЪЧЕСКАЯ ТРАГЕДІЯ			5,1	,
	Т. Шевченко. КОБЗАРЪ				

Выписывающіе изъ скласа товаращества «ЗПАШЕ» га пересылку пе платять. Просять обращаться исключи нельно по авресу. Понтора т-ва «ЗНАНІЕ». Спо., Певскій, 92.









PG 3452 M45 Andreev, Leonid Nikolaevic Melkie razskazy

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

